



Маленько мое,
мое уединение

*Мне с жизнью моей
Была вручена
Святая трагедия века...*

Чистяков



ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ



*Судьба
мне подарила
Русь*

чз.

39778

КЕМЕРОВО
“СИБИРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ”

1998

(7) Академическая
библиотека УГУ
Сибирь
КБЗ. №

ББК 84.3/2 Рос.-Рус

Ф 33

Составление
Махаловой Т.И.

Послесловие
Прокушева Ю.Л.

Оформление
Кравчука В.П.



ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Русь. Россия.

Русины. Россы. Россияне. Русские.

В этих звуках есть что-то от рассвета, от вольного степного ветра, от шума тайги с посвистом птиц, от веселого всплеска волны на реках и озерах, от рокота синих морей и океанов.

В этих сладостных звуках есть что-то от истока - истока жизни, нарастающего и бегущего то в солнечных просветах, то в туманных дебрях истории. И в тумане том на грани времен скорее угадываются, чем видятся, островерхие шеломы первых богатырей. Глянут из тумана васильковые очи северянки, блеснет темный лукавый зрачок южной красавицы.

В этом далеке еще все изначально и молодо. Юный народ еще благодарно поклоняется солнцу, высокому дереву, глубокой реке. Но ужсе в парное лоно земли брошено ячменное зерно, ужсе сорван белый хмель и найден душистый мед, ужсе в дымном котле варится свадебная брага, ужсе складывается русская песня...

Русь... Россия...

Каким измерением измерять ее? Мерить ли великими людьми - мудрецами, героями, бунтарями, поэтами и художниками? На это не хватит одной жизни. Мерить ли по векам, по нашествиям ли врагов ее, по датам ли ее побед? На это мало и ста жизней. Мерить ли ее великими реками, реками-работягами с городами и селами, что лепятся к ним, как грозья к виноградной лозе? Мерить

ли народами, заселяющими ее земли? Если каждый народ выделит по сто рассказчиков, то все вместе они не воссоздадут сущности ее. Как охватить ее единым взглядом? А если мерить ее поясами времени, то насчитаем одиннадцать поясов, и это значит, что за одни сутки Россия встречает одиннадцать рассветов и справляется одиннадцать новогодних праздников.

Да, она огромна и неизмерима.

Но постигнуть ее можно даже в малом. Для этого нужно памятью и сердцем вернуться к той земле, которая накормила тебя первым хлебом, напоила первой ключевой водой. Где было все изначально и молодо. Для меня такая земля - это небольшая сибирская деревня Марьевка.

Родная земля, она и кормилица, и почища, она и пятачка, и воспитательница, она и раскрытая книга природы. Родная земля - это первая школа мужества, находчивости, пытливости.

Марьевка - деревня небольшая, но знаменитая. В годы гражданской войны она первая в Сибири поднялась на Колчака. Здесь еще живы поротые шомполами. Неграмотная, она начала с букваря и дошла до высшей математики. Из нее вышли партийные работники, инженеры, техники, шахтеры, строители Кузнецка и Магнитки. Ее сыны храбро сражались на фронтах Отечественной войны. Шестьдесят ее сынов, молодых и сильных, уже никогда не увидят родного поля. А и было - то в ней всего сто дворов.

Пока из Москвы добираешься до Марьевки, проезжаешь почти половину России - минуешь десятки крупных городов, заводов и комбинатов. А между ними на

придорожных откосах, убегая за косогорье, вьются тропинки, проселочные дороги изовутк другим марьевкам.

Русь... Россия... Россия Советская... Россия социалистическая... Это все она, но всякий раз другая. Каждое из ее названий - это новый исторический этап, новый подвиг. После Гражданской войны люди на Западе не верили, что она поднимется. Но Россия поднялась и стала Советской. В первые годы Отечественной войны, занимая наши города и села, фашисты думали, что с Россией покончено. Они даже не догадывались, что во время отступления наших армий действовал закон пружины: она сжималась и набирала силы. И чем больше сжималась, тем сильней становилась.

Я люблю мою Россию. Люблю не только за воспоминания детства с речкой в золотых песках, с озерами в кувшинках, с лугами в травах и цветах. Люблю не только за память юности с первым свиданием и первым поцелуем, но и за то, что она, добрая и требовательная, научила меня труду: научила пахать землю, косить траву, ковать железо, управлять самолетом и строить самолеты. Она учит меня быть ее поэтом.

У России великая история. Но это не только предмет гордости, а и обязанность быть достойным ее.





Стихотворения



Честні і робіт
нашого дні,
що відкриваєт.
Світ дару відкриває,
їго погані чиє?

Честні, що
і не від хвіл
її? Де
да ми орен
честні, честні
і срібло зібіт,
честні хвіл
честні

Честні, честні
і срібло зібіт,
честні хвіл
как ми не
дебіт
дебіт
дебіт

По главной сути
Жизнь проста:
Ее уста...
Его уста...

Она проста
По доброй сути,
Пусть только грудь
Прильнет ко груди.

Весь смысл ее
И мудр и прост,
Как стебелька
Весенний рост.

А кровь солдат?
А боль солдатки?
А стронций
В куще облаков?

То все ошибки,
Все накладки
И заблуждения
Веков.

А жизни суть,
Она проста:
Ее уста...
Его уста...

На родине моей
Повыпали снега,
Бушует ветер в рощах голых.
На родине моей,
Должно, шумит пурга
И печи топятся в притихших селах.

Приветом детства
Встала предо мной
С годами позабытая картина:
Горит луна,
И смутно под луной
Поблескивает снежная равнина.

Отбушевав,
Снега притихли - спят.
Среди снегов, запорошивших вербу,
Полозья одинокие скрипят,
Как будто жалуются небу.

Сместились все
В сознании моем:
Как будто брежу дальними огнями
И в полушибке стареньком своем
Шагаю за скринучими санями.

Вновь мерзну,
А дорога далека,
Сугробам белым нет конца и краю.
На родине моей
Повыпали снега,
Я их люблю,
За что - и сам не знаю.

С тех пор,
Как тобою поклялся,
С тех дней,
Как я принял твой путь,
Всю жизнь я,
Отчизна, боялся
В надеждах
Тебя обмануть.

Но странно:
Когда полыхала,
Когда обагренной была,
Ты жертвы других
Принимала,
Но жертвы моей
Не брала.

Когда погибали герои
По зову огня и крови,
Я жизнь свою
Выставил к строю,
Ты жизнь мне вернула:
Живи!

Когда,
Не умея скупиться,
Пришел я
По воле судьбы
Любовью своей поступиться,
Любовь ты вернула:
Люби!

Когда ты
Жила созиданьем,
Восторгом, что бил через край,

Пришел я к тебе
Со страданьем,
Ты тихо сказала:
Страдай!

Когда ж,
На себя негодуя
За то, что
Погиб не в бою,
С последнею песней
Приду я,
Ты примешь ли
Песню мою?

С ТОБОЙ, РОССИЯ

Велик твой путь,
И ноша нелегка,
Дробится камень
Под твоей стопою.
Мне кажется,
Что прожил я века,
И все живу,
И все иду
С тобою.

Когда аркан
Над головой свистел
И шум пиров
Катился по улусам,
Другой бы постарел
И поседел,
А я русел,
Я становился
Русым.

Всевластьем силы
И всевластьем тьмы
Я в прежней жизни
Был сто раз унижен.
Другой бы не превысил
И травы,
А я все рос,
Я становился
Выше.

И кровь была
Дешевле, чем вино.
Той кровью,
Безрассудно пролитою,
Другой

Ожесточился бы давно,
А я добрел
Твою добротою.

По грозам,
По ветрам
Да по снегам
Я заучил
Твои степные песни.
Да, я ровесник
Всем твоим векам
И Революции твоей
Ровесник.

Мы стали
И моложе
И новей,
Но в добром свете
Красных пятилучий
Твоя дорога
Стала только круче,
Моя задача -
Только тяжелей.

Кто на горе,
Тот раньше
Солнце встретит,
Кто средь друзей,
Тот силой не шути,
Кто впереди шагает,
Тот в ответе
За все ошибки
На крутом пути.

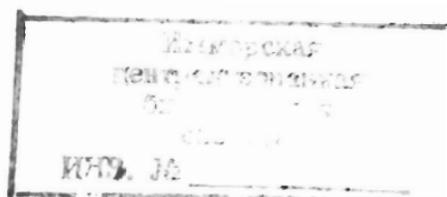
А мудрый в дружбе
О друзьях печется,
А кто в борьбе,

Тот сил не тратит зря.
Ведь океан великий
Лишь качнется,
Как всюду
Закачаются
Моря.

Дробится камень
Под твоей стопой...
И пусть не первым,
Пусть не самым лучшим
Я был с тобой
В твоем
Давно минувшем,
Дай и в грядущем
Мне побывать
С тобой.

Ни в благодушии ленивом,
Ни в блеске славы,
Ни в тени -
Поэт не может быть счастливым
В тревожные для мира дни.

Беря пророческую лиру,
Одно он помнит
Из всего,
Что все несовершенство мира
Лежит на совести его.



СОВЕСТЬ

Упадет голова -
 Не на плаху,
 На стол упадет,
 И уже зашумят,
 Загалдят,
 Завздыхают.
 Дескать, этот устал,
 Он уже не дойдет...
 Между тем
 Голова отдыхает.

В темноте головы моей
 Тихая всходит луна,
 Всходит, светит она,
 Как волшебное око.
 Вот и ночь сметена,
 Вот и жизнь мне видна,
 А по ней
 Голубая дорога.

И по той,
 Голубой,
 Как бывало,
 Спешит налегке,
 Пыль метя подолом,
 Пригибая березки,
 Моя мама...
 О, мама!
 В мужском пиджаке,
 Что когда - то старшой
 Посыпал ей из Томска.

Через тысячи верст,
 Через реки,
 Откосы и рвы
 Моя мама идет,

Из могилы восставши,
До Москвы,
До косматой моей головы,
Под веселый шумок
На ладони упавшей.

Моя мама идет
Приласкать,
Поругать,
Побранить,
Прошуметь надо мной
Вековыми лесами.
Только мама
Не может уже говорить,
Мама что-то кричит мне
Большими глазами.

Что ты, мама?
Зачем ты надела
Тот старый пиджак?
Ах, не то говорю!
Раз из тьмы непроглядной
Вышла ты,
Значит, делаю что-то не так,
Значит, что-то
Со мною неладно.

Счастья нет.
Да и что оно!
Мне бы хватило его,
Порасчетливей будь я
Да будь терпеливей.
Горько мне оттого,
Что еще никого
На земле я
Не сделал
Счастливей.

Никого!
 Ни тебя
 За большую твою доброту,
 И ни тех, что любил я
 Любовью земною,
 И ни тех, что несли мне
 Свою красоту,
 И ни ту,
 Что мне стала
 Женою.

Никого!
 А ведь сердце веселое
 Миру я нес,
 И душой не кривил,
 И ходил только прямо.
 Ну, а если я мир
 Не избавил от слез,
 Не избавил родных,
 То зачем же я,
 Мама?..

А стихи!..
 Что стихи?!
 Нынче многие
 Пишут стихи,
 Пишут слишком легко,
 Пишут слишком уж складно...
 Слышишь, мама,
 В Сибири поют петухи,
 А тебе далеко
 Возвращаться
 Обратно...

Упадет голова -
 Не на плаху,
 На тихую грусть...

И пока отиумят,
Отгалдят,
Отвздыхают, -
Нагрущусь,
Настыжусь,
Во весь рост поднимусь,
Отряхнусь
И опять зашагаю!

Имел бы я
Всевечий ум пророка,
Я б заглянул
В грядущие года:
Куда меня,
Взметенная высоко,
Пригонит жизни
Быстрая волна?

Имел бы я
Магические призмы,
Я подсмотрел бы
Вопреки годам,
Что даст мне мир,
В который был я призван,
И что я сам
За это миру дам.

Хотя б на миг
Из тех далеких далей
Единый миг
Приблизился ко мне.
Чтобы понять,
Зачем меня призвали,
Что должен я
Исполнить на земле.

Душа родная,
Что с тобой ?!
Наш горький век -
Не век Перикла,
Наш горький век -
Все время бой.
Ты ужаснулась
И притихла.
Душа родная,
Что с тобой?!

Душа родная,
Будь собой!
Не заблуждай себя
Минувшим.
В минувшем был
Все тот же бой
И боль была.
Так перед лучшим,
Душа родная,
Будь собой!

КОРНИ

Сибиряк,
Я рос в лесном kraю,
Где текут Иртыш, и Обь, и Лена...
Знаю родословную свою
Только до четвертого колена.

Что за ним -
Не слышал ничего я.
Прадед был,
И - помню из преданий -
Он ходил по Волге с бечевою
От верховья
К Астрахани дальней.

В некий час
Не Волга ли внущила
Прадедовой силе богатырской,
Чтоб она, не мешкая, спешила
К вольным рекам
Стороны сибирской.

Он простился с лямкою тугою
И проехал полземного шара...
По утрам над мрачною тайгою
Полыхали зори, как пожары.

Говорят,
В дороге лошадь пала.
И тогда, в тоске о горизонте,
По-бурлацки сорок верст без мала
Вез телегу
Прадед мой Левонтий.

А потом,
Суровый и могучий.
Горький пот смахнув с лица устало,
Он взошел на марьевские кручи

И сказал: “Судьба!”
Да так и стало.

Род суровый!
Люди - непоседы,
По тайге любившие скитаться,
О мои решительные деды, -
Знатоки земли и рудознатцы!

Их нога ступала,
Где от века
Не вила гнезда себе орлица.
Говорят, во всех сибирских реках
Отражались их степные лица.

Жены-горевухи голосили,
А они, прощаясь в поле с рожью,
Что-то про судьбу свою басили
И опять пускались в бездорожье.

Соки от корней
Идут к отросткам:
Выступая старшим на подмогу,
Мой отец совсем еще подростком
Строить стал сибирскую дорогу.

Говорят,
Что строил образцово,
Строил так, что на дороге сына
До сих пор стоят мосты отцовы,
Презирая водные быстрины.

Сибиряк,
Я тоже с малолетства
Закалял себя в пути суровом,
Потому что получил в наследство
Страсть к труду
И страсть к дорогам новым.

Высокой дружбой
Похвалюсь.
Мои друзья -
Поэты, зодчие,
Но все сильнее
К вам тянусь,
Мои товарищи
Рабочие.

Хвалюсь, -
Добра моя строка!
Но мысль одна
Бросает в холод:
Не разучилась бы рука
Держать при этом
Серп и молот.

СЛЕПОЙ

Людей не видя пред собой,
Не замечая в сквере лавочки,
По улице идет слепой,
Потрагивая землю палочкой.

Его толкнут,
Пройдут вперед,
И тотчас, торопясь вмешаться,
Какой-то зрячий призовет
Быть чуткими
И не толкаться.

Но слышу голос я его,
Негромкий в человечьем гуде:
- Толкайтесь... Это ничего...
Я буду знать,
Что рядом - люди.

О Русь моя!..
 Огонь и дым,
 Законы вкривь и вкось.
 О, сколько именем твоим
 Страдальческим клялось!

От Мономаховой зари
 Тобой - сочи пойди -
 Клялись цари и лжецари,
 Вожди и лжевожди.

Ручьи кровавые лились,
 Потоки слов лились.
 Все, все - и левые клялись,
 И правые клялись.

Быть справедливой
 Власть клялась,
 Не своевольничать в приказе.
 О, скольких возвышала власть,
 О, скольких разрушала власть
 И опрокидывала наземь!

У ложных клятв
 Бескрыл полет,
 Народ - всему судья.
 Лишь клятва Ленина живет,
 Лишь клятва Ленина ведет,
 Все клятвы перейдя.

Народ,
 Извечный, как земля,
 Кто б ни играл судьбой,
 Все вековые векселя
 Оплачены тобой.

Не подомнет тебя напасть,
Не пошатнешься ты,
Пока над властью
Будет власть
Твоей земной мечты.

ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ

“Мама,
Милая мамочка! “ -
Много дней повторял.
Хлеб давали по карточкам,
Я же их потерял.

Тридцать лет,
Как упрямо
Не роднюсь с той порой,
Десять лет моя мама
Спит в могиле сырой.

Мама,
Милая мамочка,
С горя сердцем остыл,
Когда хлебные карточки
В старой книге открыл.

Пересохли жаркие ручьи,
Отпылали, отшумели страсти...
Возвратясь от доменной печи,
Охнул, слег и...
Умер старый мастер.

Не было сединки в бороде,
Даже грудь, по слухам, не болела,
Просто у него в большом труде
От железа кровь отяжелела.

И зимой
По стуже ледяной,
Знойным летом, в мареве белесом,
Взятое из недр земли родной,
Поездами шло к нему железо.

Дань земли,
Что брал он, велика:
Из ручьев горячих,
Бивших в створы,
Огненная вышла бы река,
А из руд
Могли б сложиться горы.

И теперь
За все, что в недрах брал,
Что в огне горячем переделал,
Он земле в уплату отдавал
Маленькое сухонькое тело.

Никому,
Кто знал его давно,
Не казалась малой эта плата.
Сухонькое, легкое, оно
Стоило того,
Что было взято.

Я жил - не заметил
Ни дня,
Ни причину,
Что первую мне
Прописала морщину.

Я жил - не заметил,
Пора спохватиться,
Что было мне двадцать,
Что стало мне тридцать.

Я жил - не заметил;
Заметив, не плачу,
Что много утратил,
Что больше утрачу.

Желанному счастью
Шагая навстречу,
Я, может быть,
Встретив его,
Не замечу.

Прощай, село!
Я сын твоих полей.
Мне мил простор твоих зеленых пашен.
В прощальный час торжественно налей
Свой дикий хмель в приподнятую чашу.

В твоих чертах
Суровый признак есть.
И пусть я рос, по - детски мало нежась, -
В моей груди все время будет цвесь
Твоих лесов невянущая свежесть.

Мою страну
Не обойти в года.
Есть много мест,
Прославленных другими,
Но никому я счастья не отдам
Нести твое немеркнущее имя.

Промчится время - много, много лет,
Посмотрят люди, спросят мимоходом:
- Откуда он? -
И скажут им в ответ:
- Он - марьевский
И поступью и родом.

За что я мучусь,
Непонятно,
С печатью Каина на лбу?
Какие солнечные пятна
Влияют на мою судьбу?

В каких высотах,
Сферах света,
В каком космическом краю
Прошла безвестная планета
И затенила жизнь мою?

А было просто,
Было ясно.
Теперь же слышу
В строе строф
Какой - то отзвук
Своевластный
Каких - то звездных
Катастроф.

В душе
И скута и смятенье.
Вот так в тоске
Из - под стрехи
При каждом
Солнечном затменье
Кричат тревожно
Петухи.

Задолго
До премудрой силы,
Летящей от земных границ,
Моя душа уже ловила
Поток космических
Частиц.

Поток, рожденный
В мире дальнем,
Он пробивал
Извечный мрак,
А мы с душой моей
Не знаем:
Что ж больно так?
Что ж горько так?

Не знаем мы,
Куда нам деться
От непонятной
Муки сей...
Какая власть
Миров над сердцем,
А власть Земли
Еще сильней!

По воле,
По страсти,
По власти отца,
По кротости матери бедной
Достались мне
Крепкие руки бойца
И сердце
Сестры милосердной.

Мне с веком моим,
Поседевшим в бою,
Нетрудно в суровости спеться.
И все ж когда бью,
То как будто бы бью
Свое обнаженное сердце.

Быть строгим велит
Атакующий класс,
Но доброе солнце над нами.
Оплакал друзей я...
Припомнил и вас,
Погибших слепыми врагами.

Не я ли о братстве
Во трубы трубил, -
Лихую предвида годину...
Мне сердце давали
Для полной любви,
А любит оно в половину.

Все сердце любви
Я отдать не могу,
Какой бы она ни явилась.
Оставил я место, на горе врагу,
Чтоб ненависть
Там поместилась.

Неверная злоба,
Как маска, черна
На мудром лице человека.
Мне с жизнью моей
Была вручена
Святая трагедия века.

Наше время такое;
Живем от борьбы
До борьбы.
Мы не знаем покоя, -
То в поту,
То в крови наши лбы.

Ну а если
Нам до ста
Не придется дожить,
Значит, было не просто
В мире
Первыми быть.

Отдам народу
Сердце,
Руки,
Но только пусть не говорят,
Что я слуга народа...
Слуги
Всегда с хозяином хитрят.

Не бойтесь гневных,
Бойтесь добреньких;
Не бойтесь скорбных,
Бойтесь скорбненьких.

Несчастненькие
Им под стать.
Всегда с глазами смутно - красными,
Чтоб никому не помогать,
Они прикинутся несчастными.

Заметив
Слезный блеск в зрачках,
Не доверяйте им
Ни чуточку...
Я, попадавший к ним на удочку,
Порвал все губы
На крючках.

И Бог
И черт -
Они все время в паре:
Талант с бездарностью
Не развести.
На каждого из нас
Есть свой Булгарин,
Готовый доглядеть
И донести.

Где лев,
Там и шакал,
Шакаля, ищет
Отброшенную кость
В густой траве.
Порою лев
Не доедает пищи,
И потому шакал
Всегда при льве.

Прошла пора
Булгаринских доносов,
Но жив Булгарин,
Хоть и не в чести.
Поэт, будь строг:
Не оставляй отбросов,
Пусть он, шакал,
Подохнет без кости!

Мой знакомый,
Захмелевши, тужит:
Говорит,
Что человек
Стал хуже.

Говорит,
Что против жизни прежней,
Той, еще не брошенной в разбег,
Человек стал
Несравненно грешней,
Стал порочней
Новый человек.

Морщась,
Заключает он устало:
- Страха божьего
В душе не стало.

Страх ему?!

Да пропади он прахом!
Средь людей,
Не знающих оков,
Праведность,
Внушаемая страхом,
Во сто крат
Позорнее грехов.

Так легко
Дойти до разделенья:
Бог - одним,
Другим - товарищ Ленин.

А ведь помню,
До большой удачи
В службе,

В дружбе
И в других делах,
До машины,
До богатой дачи
Был ему не нужен
Божий страх.

Видно, хочет он,
Чтоб божьи страхи
Выполняли роль
Цепной собаки.

Вот попробуй
И душу вырази,
Если ночью
И ночь не впрок,
У соседа
На строгой привязи
Плачом плачет
Малый щенок.

Отучают его
От радостей,
Приучают
В страхе ночей
К дикой злости,
К волчьей зубастости,
А щенок не поймет
Зачем.

Ты на злость
Его не натаскивай,
Ржавой цепью
Его не бей.
Я ведь знаю щенка,
Он ласковый,
Ищет дружбы
У всех людей.

Мой Варяг,
Это, брат, собачище,
Да и то не бывал
В цепях.
У меня собаки
В товарищах,
И щенки у меня
В друзьях.

Ночь холодная
Пасть развязила.
Ты не плачь, щенок, -
Сам реву...
Я убью твоего хозяина.
Цепь железную
Разорву.

Я понимаю нетерпенье
От жизни
Ждущих
Больших благ.
Что было жизнью поколенья,
То для эпохи
Только шаг.

Солдатам на войне,
Считавшим
Последним фронтом
Каждый фронт,
Перед рывком
К земле припавшим,
Казался близким горизонт.

Всё вынесли:
Борьбу,
Лишенья,
А мир, от всех утрат седой,
Он все еще несовершенен,
Он все еще кипит враждой.

Себя
Кому же неохота
Приходом счастья наградить!
Еще не кончена работа,
Еще душа полна заботы,
Но срок -
И надо уходить...

Живых
Живое нетерпенье
Так близко
И понятно так.

Что было жизнью поколенья,
То для эпохи
Только шаг.

И мы живем,
Уже забывши,
Трудами тех,
Кого уж нет.
Так от звезды,
Давно погибшей,
Еще идет к нам
Теплый свет.

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Они судьбу не выбирали,
Судьба их выбрала сама
За блеск таланта и ума,
В момент, когда они сгорали.

В их гордой жизни без кривуль
Страшит непонятая блажь их.
Увы, ни собственных, ни вражьих
Поэты не боялись пуль.

Они весь мир
Объять могли.
В них удивительно,
Как чудо,
Высот надземных амплитуда:
От бога
До - щекой земли.

Они в судьбе своей большой
Непостижимые в размахе,
Глубокой думой -
Патриархи,
Гусары сердцем и душой.

Они у смерти на виду
Бывали пагубно охочи
Ходить по краю дня и ночи,
Чтоб видеть солнце
И звезду.

Как необъятное объять,
Затмить вражду
Своей судьбою?..
Вам, дальним,
Занятым собою,
Поэтов русских не понять.

Как в чаще,
В юности тревожной,
Не глядя слишком далеко,
О жизни думается сложно,
А совершается легко.

Зато теперь,
Как в старой роще,
Просторней стало и видней.
О жизни думается проще,
А совершается трудней.

Мы постареем.
Может статься,
Мы слишком рано поседеем,
Но мы,
По совести признаться,
Претензий к жизни не имеем.

С отцами
Не были мы в ссоре,
Что приняли от них не рай.
Мы жили.
Радости и горя -
Всего нам было через край.

О сколько нужно сил весенних,
Чтоб оказалось по нутру
При всех тяжелых потрясеньях
Стоять на мировом ветру!

Через соленые моря
Людской крови,
И слез,
И пота
Мы путь прошли от букваря
До межпланетного полета.

И пусть нас недруги корят.
И пусть пророчат нам забвенье.
Мы жили.
В поздних поколеньях
Еще о нас поговорят.

Рожью
В клочьях тумана
Дремлет чуб мой, редея...
Не смущайся,
Что рано
Невозвратно седею.

В зное
Буйные всходы
Урожая не дарят,
Меня старят не годы -
Мысли горькие старят.

Если соков потребных
Стебельку не напиться,
Вместо зернышек хлебных
Черный куколь родится.

НЕДРУГАМ

Все вами сделано,
Чтоб я
Успел на этот мир обидеться,
Чтоб, не любя, сгубил себя
И не успел
С любимой свидеться.

Чтоб силой попусту иссяк,
Чтоб давний радовался враг,
С которым
Доброй силой мерялся,
Чтоб я и в дружбе
И в друзьях,
Себе на горе,
Разуверился.

Чтоб я
Душою сник и свял
В игре словами пустозвонными,
Чтоб я
В час битвы не стоял
Под справедливыми
Знаменами.

Смешные!
Можно ли,
Чтоб я
Ушел от самого себя!

СЕРДЦА

Все испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займет наш враг,
Займет, сводя все те же счеты,
Займет, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

ЗАМЕТЫ

Различий нет,
А есть года,
Есть возраст -
Разница лишь в этом.
Наружностью
Земля - планета,
А в глубине
Она - звезда.

Себе сказал
И говорю другим,
Всем говорю
С упорством постоянным:
Язык любви
Не может быть нагим,
Язык борьбы
Не должен быть туманным.

Заботясь о своем
Довольно добром даре,
Он сберегал себя,
Как скрипку Страдивари,
Но, избежав все зло,
Все страхи мук,
Он начал издавать
Фальшивый звук.

Что пользы
Вечно малым пробавляться:
Бояться жить
И умереть бояться!

Поколенья...
Мы двух поколений поэты.
Кто зажегся вперед,
Тот вперед отгорит.

Мы с тобой -
Как ступени летящей ракеты:
Оторвется одна,
А другая вперед полетит.

Все выскажу,
Ни перед кем не струшу,
Не отступлю
Ни перед какими лицами.
Невысказанный гнев
Убивает душу -
Не становитесь
Самоубийцами!

Пусть недруги бранят,
Трудись, не споря.
Они тебя гранят,
Себе на горе.

КРИТИКИ

Один ругал меня
 Так круто,
 Что круче
 Даже не бывать,
 Другой хвалил,
 Но так,
 Как будто
 Хотел кому - то
 Продавать.

Поэзии
 Приписанный к векам,
 К бессмертью слов,
 Когда меня карают,
 Как Будда,
 Я не мщу своим врагам -
 Они с годами.
 Сами умирают.

Мне дорог смех,
 Но все же различай
 Веселье глупости
 И мудрости печаль.

До всенародного признанья
 Пути заведомо трудны.
 Поэт обязан
 Жить в изгнанье
 Хотя б
 От собственной жены.

Изо всего того,
Чем люди дышат,
Что не дает
Качнуться и упасть,
Есть красота.
Она из благ всех выше,
А выше красоты
Лишь страсть.

Что сказать мне
О двадцатом веке?
Я скажу,
Что людям не везет.
Льется кровь,
И в каждом человеке
Стало меньше крови -
Вот и все!

Писатель некий
Предался врагу,
Сбежав от нас,
Ведет себя болтливо.
Предательство
Не ново на веку.
Еще один предатель -
Эко диво!

Известный спор
 Меж школами и школками
 Закончу я,
 В сознанье правоты.
 Хоть наши Музы
 И ходили голыми,
 Поэзия не терпит наготы.

Хочешь ведать,
 Как писалось?
 На душе
 За жизнь мою
 Все скапелось,
 Все слежалось.
 Отколю -
 И выдаю.

Вам, девушки,
 К семье идущим,
 Желал бы я
 Из благ земных -
 Детей, не слишком озорных,
 Мужей, не очень много пьющих.

Любит совесть?
 Нам не в новость
 Доброта людей таких.
 Негодяи любят совесть,
 Когда совесть -
 У других.

Что пчела
Врага карает,
Трутня не касается.
Трутень мед не собирает -
Вот и не кусается!

Есть в дружбе
Доброе ядро,
Прекрасно слово - друг,
Но дружба -
Это не бюро
Приятельских услуг.

Кто любит счастье,
Тот сладости добьется.
Была бы власть,
А подхалим найдется.

Она,
Умевшая любить,
Так равнодушно обнимает.
Она еще не понимает:
Меня забыть -
Несчастной быть.

Родник струился
 Во всю прыть,
 И я, как полагается,
 Напившись,
 Кран хотел закрыть,
 А кран
 Не закрывается...

До того,
 Когда с юга
 Примчались гонцы,
 Я скворечник приладил
 На дереве...
 Прилетели скворцы,
 Поселились скворцы,
 О, спасибо, скворцы,
 За доверие!

БЕРЕЗА

Стоит в бересте
 Под еловою кроной,
 Как в курной избе
 Золотая икона.

Приди поклониться -
 И боль отболится.

В глазах еще белым-бело...
 По северу кочуя,
 Я видел лебедя крыло,
 Я видел лебедя крыло...,
 Им подметали в чуме.

И на мусоре цветы
Красотой своей гордятся.
На руинах красоты
Злые гении родятся.

Скажу вам:
Человеку без затей -
Без юмора и умирать трудней,
Поскольку он,
Раздумывая косно,
Воспринимает
Слишком все серьезно..

Не все вам выдарили,
Не весь раскрылся вам:
Лишь хворост выгорел,
Пора гореть дровам.

Ко мне приходит Муза чаще в дом,
Когда сижу за письменным столом,
А вот когда при ней дремлю устало,
На молодых заглядываться стала.

Не заметил,
Где прдорог,
Где тепло оставил.
Первый снег на душу лег,
Лег и не растаял...

У крайностей
Один венок,
Один у них венец;
Дурак бывает одинок,
И одинок мудрец.

Все движется,
Но в новый мир чудес,
Пока спешат наука и прогресс
Через завалы страха, лжи и фальши,
Невежество подоспевает раньше.

Душа томилась
По живой природе.
Скосил траву я
В нашем огороде,
Сметал стожишко.
На ольховый стяж
Ворона села -
И уже пейзаж!

Он говорит
И страстно и глубоко,
Но странно видеть
Сытого пророка.

Я ваших сочувствий
Не слушаю,
Что из носу кровь потекла.
Борьба - это самое лучшее,
Что жизнь
Подарить мне смогла.

Берегите меня
До последнего дня,
Берегите меня
До последнего часа,
Берегите меня,
Как цыгане коня,
Чтобы гикнуть потом
И умчаться.

К чему скрывать,
Что я влюблен,
Когда раскрыта
Сердца карта.
Все тайны вылетели вон
Сквозь дырку
Моего инфаркта.

Не юлил он, как слуга,
Не сидел молчальником.
Славный малый был,
Пока
Сам не стал начальником.

ОМУЛЬ

Было некогда вдоволь
Осетра и плотвицы...
Ну а где теперь омуль?
Говорят, за границей...

И в любви,
И в почете
Для высоких обедов
Он летит в самолете
Вроде модных поэтов.

Омулька
Из Байкала
При еде и закуске
В наше время не стало
Даже...
Даже в Иркутске!

Лишаем обрастая,
Не нуждаясь в промочке,
Глухо плачет пустая
Омулевая бочка.

У многих народов -
Нашли чем порадовать! -
Стоят во главе
Генералы дюжие,
Привыкшие
Только командовать
И легко браться
За оружие...

Народы тянутся
К миру и счастью,
Хотят коммунизм
Увидеть воочию...
И надо,
Чтоб над штыками
И властью
Стояли рабочие.

Что живешь,
Что в битвах не погас,
Жизнь свою
Сомненьями не мучай.
Люди умирают
Только раз,
Береги себя
На этот случай.

Так построй
Земную жизнь свою,
Так живи в ней
Помыслами всеми,
Чтобы в смерти
Встал ты вровень с теми,
Беззаветно павшими
В бою.

Если что случится -
Да хранись от зла! -
Уходя в больницу,
Сделай все дела.

Чтобы сердце грелось,
Нежность торопи.
Если не успелось,
Объяснись в любви.

Поступись в гордыне,
Снizойди до птиц.
Семечками дыни
Угости синиц.

Плюнь на все бумаги,
Пылью не тряси.
Сироте - собаке
Кости отнеси.

Выходя из дома,
Брось поклон земной
Всем, всему живому,
Бывшему с тобой.

Если жив останешься,
В этом не раскаешься.

Когда мороз
И снег идет,
Земле тепла недостает,
Но странно мне иное:
В тот самый час,
Как бы назло,
Уходит от Земли тепло
В пространство мировое...

Земля
Среди других планет
Добра,
Как истинный поэт.

Я ночь люблю за то,
Что в тишине,
Когда другие спят,
В постелях нежась,
Все звуки дня,
Гудевшие во мне,
Приобретают чистоту
И свежесть.

Я ночь люблю
За темноту ее,
Когда ни звезд
И ни луны при этом;
Люблю ее за то,
Что в жажде света
Сильней горит
Сознание мое.

Слова - дрова.
Нас греет речь,
Нас мыслей обжигает пламя.
Душа пытливая, как печь,
Все время топится словами.

И сырость слов,
И сырость дров
Один и тот же грех имеют:
Трещат,
Дымят,
Но мало греют
И душу в непогодь,
И кров.

Слова
Бывают
Хороши,
Но дым от них
Такого рода,
Как будто у живой души
Забиты сажей дымоходы.

И потому я,
Как родня,
Двумя приветствую руками
Во имя доброго огня
Союз поэтов
С печниками.

ГУСИ

В те дни,
Когда горят леса
Огнем нежарким увяданья,
Когда разбудит небеса
Гусей отлетных гоготанье,
Когда гортанный дикий звук
Внизу гусынь встревожит важных, -
Тогда
Стада
Гусей домашних,
Волнуясь,
Сходятся на луг.

Здесь на лугу,
Как в смутном веке,
Они шумят,
Они галдят
И машут крыльями в разбеге,
Как будто тоже полетят.

Но сытым небо не дается...
И, пошумев какой - то срок,
Идут домой.
И раздается
Гусынь довольный гоготок.

НЕЧТО О СОБАКЕ

Мой Джек,
Тебя я не учу,
И ты не будешь
Прирученным.
Мой милый Джек,
Я не хочу,
Чтоб слыл ты
Псом псевдоученым.

В Москву не рвись,
Живи, брат, тут,
Главенствуй
В деревенской драке,
Мой честный Джек,
В Москве живут
Высокомерные собаки.

А у иных
Забитый вид.
Там даже маленькая моська,
Выслуживаясь, норовит
Нести хозяину
Авоську.

Там руки лижут,
Не любя,
Там и любя
Тебя замучат.
С постельной сучкою тебя
Консолидации научат.

Научат
На тахте лежать
И, приобщив к манере тонкой,
Тебя научат подражать
Неврастенической
Болонке.

Ах, Джек мой,
При твоем уме,
При стати
Ты уже с изъянцем.
Не мною,
А в чужой семье
Ты назван Джеком -
Иностраницем.

Я рад,
Что сложная судьба
Тебя не трогает
Ни крошки.
Уже у пятого столба
На это все
Ты поднял ножку.

ЕЩЕ О ЗОЛУШКЕ

Поэту, сравнившему себя с Золушкой

Когда неряха моет пол
Истории наследия,
Уже захлюстив свой подол,
Страшно ее усердие.

За чистоту его борясь,
Казалось бы, неистово,
Она лишь переносит грязь
На половицы чистые.

Сегодня бал -
Скорей, скорей!
Бездумная головушка,
Так захотелось в сказку ей,
Что притворилась Золушкой.

Сегодня бал,
И что скрывать,
На бал успела модница,
А пол за нею домывать
Придется домработнице.

Сегодня бал.
На ножках лак.
Там - юный принц заметь ее! -
Забудет Золушка башмак
Размера сорок третьего.

По мне,
Пусть ходит на балы,
И потому тем более
Не доверяйте ей полы
В следах и крови и золы.
Оставленных Историей.

КРАСИВЫМ

Люблю красивых...
Жизнь их,
Быт их,
Глаза,
Улыбку,
Добрый смех
Воспринимаю
Как открытье,
Наиглавнейшее из всех.

В них все;
И ум,
И обаянье,
И гордый жест,
И поступь их -
Мне явится
Как оправданье
Всех мук моих,
Всех слез моих.

Зачем
Прекрасными чертами
Так полно
Каждый наделен?
Красивые,
Они за нами
Пришли
Из будущих времен.

Гордиться?
Чем?
Стихом?
Едва ли!
Уж лучше нищему - сумой.
Меня словами награждали
Все говорившие со мной.
Я строчкой этой,
Мыслью этой
Лишь занятое отдаю.
Ты,
Он,
Весь мир
И вся планета
Работали на мысль мою.
Любовью,
Счастьем,
Строчкой,
Книгой
Дань отдаю другим творцам,
И даже ненавистью дикой
Я весь обязан подлецам.
Я весь в долгах,
Куда ни сунусь,
Повсюду забрано вперед.
Минули
Отрочество,
Юность,
Приходит зрелость...
Долг растет!

И в жизни,
И в теории
Привыкли повторять,
Что колесо истории
Не повернется вспять.

Будь так,
Как говорится,
Но не о том же речь,
А речь идет о спицах -
Их надо поберечь.

Ну что же, друзья-палладины,
Все чаще, трусливым на страх,
Взрываются старые мины
На наших железных сердцах.

Все чаще мы требуем капель
На чистом спирту пополам,
Все чаще отточенный сжалпель
Гуляет по нашим телам.

Мне жизнь моя -
Не темный лес,
Но странно иногда до жути,
Как будто с голубых небес
Спустился я на парашюте,

Как будто жил в других мирах
И все, что вижу, - неизвестность,
Как будто где-то в дальних снах
Я смутно видел эту местность.

И здесь,
Отмеченный судьбой,
Любуюсь травою в росах,
Березами за городьбой,
Кукушками на тех березах.

Живу,
Влюблуюсь
И дивлюсь,
Что, разлучая с небесами,
Судьба мне подарила Русь
С ее полями и лесами.

И это все
День ото дня
Люблю все искренней и пылче,
Но скептики твердят,
Что я
Годами жизни ограничен.

- Да, да! - твердят. -
Как ни ликуй! -
И я кричу в листве плакучей:
- Кукушка, друг, перекукий
Мне молодость -
На всякий случай.

ПРИТЧА

- Там, на горе,
Построен будет храм, -
Сказал Строитель,
Показал на камень. -
Возьмешь его обеими руками
И понесешь,
И к сроку будешь там.

Счастливый тем,
Что я,
А не другой
Был в ранний час
Строителем замечен,
Я камень приподнял над головой
И, пригибаясь,
Опустил на плечи.

Понес его на горные места,
Сбивая с трав предутренние росы,
И не заметил сам,
Когда устал
И как решил,
Решил я камень сбросить.

И бросил бы.
И сел на камень тот.
Но, трудный путь усталостью итожа,
Спросил себя:
“А кто же понесет
Его наверх?
Когда не я,
То кто же?!”

Любовь мне -
Как блескание
Звезды над миром зла.
Любовь мне -
Как призвание
На добрые дела.

Чтоб мир
Отмылся дочиста,
Душа тревогу бьет.
Любовь мне -
Как пророчество,
Зовущее вперед.

Любовь -
Как жажда истины,
Как право есть и пить.
Я, может быть,
Единственный,
Умеющий любить.

Лицо тоскою выбелю,
Приду к тебе
тебя
Любить, как перед гибелю,
До слез,
До забытья,
До бреда,
До сожжения
В судьбе, а не в игре,
До чуда воскрешения
На утренней заре...

Молодая береза совсем не белая,
Белой береза бывает зреяя.
Та не рябина, что днями поздними
Птиц не поманит красными гроздьями.
Та не девушка, не красавица,
Если никто на нее не зарится.

РУССКАЯ СКАЗКА

До жалости,
До огорченья
Меня волнует
С детских дней
Таинственное обращенье
Людей в животных
И зверей.

Мороз по коже,
Дыбом волосы,
Когда, уставя умный взгляд,
Они в беде заговорят
Тоскливым
Человечьим голосом.

Когда в лягушку
Камень бросят.
Она - о боль моя и грусть! -
“Не убивай меня, - попросит, -
Тебе я в жизни пригожусь...”

Но вот
Копытом конь забил,
Заговорил, измаян бегом:
“Я был когда - то человеком,
Я тоже девушку любил.
Меня оборотил Кащей... “

Что сказка?
Вымысел и шутка.
Но станет пасмурно и жутко
От этих колдовских речей.
А вдруг
И я уже другой,
Какой-нибудь зверино - птичий,
И в этом жалостном обличье
Неузнаваемый тобой ?!

Взмолюсь
И попрошу возврата
К тому, как жил.
Страдал, любил...
Не убивай меня!
Когда - то
Я тоже человеком был.

Влюбленных шумно
Легок воз.
Зато любовь влюбленных тиха -
Как горе горькое без слез,
Как боль, болящая без крика.

Таюсь.
Молчу.
Боюсь наскучить.
Иным признанье - трын-трава.
Меня же долго будут мучить
В груди застрявшие слова.

Иной споет
И отпоется.
А у меня гудит душа,
И сердце тяжелее бьется,
Готовое для мятежа.

КОРШУН

Однажды
Обманул я коршуна,
На редкость резко просвистав,
И коршун закружил встревоженно,
Косые крылья распластав.

Сбивая с толку птицу дикую,
Еще призывнее, как мог,
Стонал и плакал коршунихаю
Нехитрый травянной манок.

С ответным криком,
Полным страсти,
В бесплодных поисках ее,
В любви
Забывший об опасности,
Он падал на мое ружье.

Оно
Навстречу было взброшено...
И все ж я птицу не убил.
Любовь священна.
Даже коршуна
Не трону
В час его любви.

ПОГОНЯ

Вперед!
 Призывая
 В долины и горы,
 Мне жизнь обещала
 Отраду земную.
 Лети же, мой поезд,
 Лети же, мой скорый,
 Лети же вперед,
 Полустанки минуя!

Пускай же в разбеге,
 Пускай же в разгоне
 Колесная тяжесть
 Земли не коснется.
 Пускай же в сердцах
 О летучем драконе
 Забытая всеми
 Легенда проснется.

Как старцы
 Красавицу
 Долго скрывали,
 Скрывая, сулили ей
 Ласк неопасных.
 Как вместо нее
 Хитрецы выдавали
 Влюбленному чуду
 Старух безобразных.

Меня не обманут!
 Увижу ль воочию,
 Как в синем тумане
 Следы твои канут,
 Развею туманы...
 Но даже и ночью
 Тебя не подменят,
 Меня не обманут!

Сорву с великанов
Таежные скальны
И, если они
Не засветят при этом.
Вершину Белухи
И Чуйские альпы
Заставлю гореть
Фосфорическим светом.

Куда б ни ушла ты,
Моя молодая,
Везде я сумею
Пройти и прорыться.
Тебе и в горах
Голубого Алтая
Нигде,
Никогда
От меня
Не укрыться!

Как случилось,
Не заметил,
Что в тебя я так влюбился,
Как случилось,
Что, целуя,
Оторваться не могу!..

Как случилось, дорогая,
Что ты стала всех дороже,
Как случилось, что другая
Потеряла красоту!..

Если сердце ошибется,
Пусть его любовь накажет,
Но не верю я, чтоб сердце
Ошибалось хоть на миг...

Если разум ошибается,
Пусть его затмит измена,
Но не верю я, чтоб разум
Был плохим поводырем.

Почему, как Прометея,
И меня ты приковала,
Неужели я похитил
Пламень сердца твоего?!

Еще недавно нам вдвоем
Так хорошо и складно пелось.
Но вот гляжу в лицо твое
И думаю:
Куда все делось?

Но память прошлое хранит,
Душа моя к тебе стремится...
Так, вздрогнув,
Все еще летит
Убитая в полете птица.

ОСЕННИЕ СТРОКИ

В глухи,
В тиши лесной,
Напомнив неудачу,
Ты плачешь надо мной,
А я еще не плачу.

Пророчишь мне беду,
Гнетешь тоской - неси, мол!
Ты равная в ряду,
Ты для меня не символ.

Тобой любуюсь я
И торжествую, зная:
Ты осень не моя,
Ты осень проходная.

Ты листвьев намела,
Зажгла березок свечи.
Ты, осень, мне мила,
Как путевая встреча.

Как ту не позабыть,
Которую от скуки
Успел я полюбить
В последний час разлуки.

Любя ее черты,
Шепчу ей: "Дорогая,
Судьба моя - не ты...
Мне суждена другая".

Всё слова, слова,
Всё речи, речи!..
От родимых пашен вдалеке,
Я давно не выходил навстречу
И лицо не подставлял пурге.

Море жизни,
За вину ль какую
Я прибит к бумажным берегам?
Трижды замерзавший,
Я тоскую
По ветрам,
Тоскую по снегам.

Я тоскую по крутым морозам,
Я тоскую по гремучим грозам,
По тревоге:
Быть или не быть?
Я - такой.
Нужны мне испытанья,
Мне нужны тревоги и страданья.
Я без них
Не научился жить.

Всё слова
И всё речей водица
Вместо снега, леса и зари...
Городскому,
Мне все чаще снится
Белый снег,
И снятся снегири.

Ветер ходит метелицей,
Ветер воет пургой,
Как на чертовой мельнице,
Хлещет белой мукой.

Я шагаю к единственной,
Пробиваясь плечом;
Я сегодня воинственный,
Мне пурга ни почем.

Среди ревностью мучимых,
Средь не знавших средин,
Среди смелых и влюбчивых
Я, такой, не один.

Может, ветер, как веником,
Разметая пути,
Дует в спину соперника,
Помогая идти.

В нетерпенье неистовом,
Все вперед и вперед,
Я беру, словно приступом,
За суметом сумет.

Ветер ходит метелицей,
Ветер воет пургой,
Как на чертовой мельнице,
Хлещет белой мукой.

Я не знаю сам,
Что делаю...
Красота твоя, -
Спроси ее.
Ослепили
Груди белые,
До безумия красивые.

Ослепили
Белой жаждою.
Друг от друга
С необидою
Отвернулись,
Будто каждая
Красоте другой
Завидует.

Я не знаю сам,
Что делаю...
И быть может,
Не по праву я
То целую эту, левую,
То целую эту, правую...

Иду,
Кладу упрямый шаг.
Мне горю уступать не хочется.
Ночь ухватилась за пиджак,
Упала наземь
И волочится.

Мне от нее не убежать.
Не только ночь руками черными -
И ветер хочет удержать
Слезами,
Вздохами притворными.

Все о тебе,
Все за тебя!
Под ветками заиндевелыми,
Тобою память бередя,
Блестят сугробов
Груди белые.

Иду по ним.
Не сворочу.
Я поступью неудержимою
Не красоту твою топчу, -
Топчу твою повадку лживую.

ВЕСНОЙ

Во мне,
И почему - бог весть,
Когда весна еще в начале,
Есть что-то смутное и есть
Какой-то холодок печали.

Но мысли сердце обожгут
И боль сильнее обозначат...
Почудится, что где-то ждут
И, не дождавшись, тихо плачут.

Все, что любил,
Все, что хотел,
Коснется вдруг сердечных граней,
Как груз незавершенных дел
И неисполненных желаний.

И ничего
Не отложить,
Ни от чего
Не отрешиться.
Мне время это пережить -
Как будто заново родиться.

Все в памяти,
И все - живое,
И обо всем душа болит.
Иду ли по лесу, где хвоя,
Как море южное, шумит;

На пень ли старый там присяду,
Качнется ль надо мной сосна, -
Все чудится, что где-то рядом
И берег тот,
И та волна.

И ты,
Чье повторяю имя,
Почудишься невдалеке.
Волна к волне...
И ты меж ними
Качаешься, как в гамаке.

Все дорого,
Все сердцу близко!
И если дрогнет мокрый куст,
Мне кажутся лесные брызги
Солоноватыми на вкус.

Мне о том слагать бы оды,
Что за свой короткий век
Я купался в синих водах
Двадцати сибирских рек.

Были реки и речонки,
И на каждой - чуть прилгу -
По заплаканной девчонке
Оставлял на берегу.

Полюбил я реки края
За раздолье и простор,
Начиная с речки Яя,
Что течет с Кузнецких гор.

Я не знаю, счастья полный,
На Пышме иль на Оби
Набегающие волны
Мне напели о любви.

И сегодня погружен я
В мысли, чувства той поры,
До сих пор заворожен я
Островами Ангары.

Там росла тогда малина,
Вился белый хмель в кустах.
Валентина, Валентина,
Расскажи мне, Валентина,
Что теперь на островах?

Дымок свивается в колечки...
Должно быть, начал я стареть,
И потому, присев у печки,
На огонек люблю смотреть.

Горят сосновые поленья,
Дрожит на них огонь,
И мне
Далекой юности виденья
Являются на том огне.

Трещат дрова.
При каждом звуке
За огненною белизной
Я вижу, как ломает руки
Любовь, покинутая мной.

Почудится:
Огня извины
Ей молодое тело жгут.
И станет на душе тоскливо,
Как будто вызван я на суд.

Гляжу,
Уставясь без улыбки,
В лицо косматого судьи
И вижу все свои ошибки,
Все заблуждения свои...

Но вот
И печь отрозовела,
Кудряшек дымчатых не вьет...
И все, что мучило, -
Сгорело,
А что не мучило -
Живет.

Твердишь ты,
Что расстаться нам пора,
Что ты в своих надеждах обманулась,
Что вся моя любовь к тебе -
Игра.
Не слишком ли игра подзатянулась?

Игра в любовь,
Я знаю, не к добру,
Игра в любовь коротенького срока.
Семь лучших лет потратить на игру,
Семь лучших лет!
Не слишком ли жестоко?

Старею я,
Люблю тебя одну.
Седею я до времени, до срока.
Семь лучших лет отдать за седину,
Семь лучших лет!
Не слишком ли жестоко?

Молчи!
Ты ссоришься со мной,
Не ведая пока,
Что хлещешь по себе самой,
А ты во мне - хрупка!

Как умру,
Мое забудь ты имя,
После ласк
В полночной тишине
С лучшими, чем я...
Да, да, с другими
Говорить не надо обо мне.

Жены о мужьях,
Чтоб стыд утишить,
Нежно говорят, других любя.
Мне,
Когда случалось это слышать,
Больно было так,
Как за себя.

Если спросят,
Что так мало жил я,
Ты в своем ответе не тай
То, что я страдания чужие
Принимал все время
Как свои.

Звереют жены,
Дети плачут,
Мужья жестоко пьют со зла.
Как пьянство выросло!
А значит,
Несправедливость возросла.

Не затем я
Горячее сердце ковал,
Не затем я покоя
Ему не давал,
Не затем я поил его
Горькой травой,
Чтобы стало оно
Для кого-то забавой...

Я надеждой,
Как молотом,
По сердцу бил,
Я ковал свое сердце
Для вечной любви,
Чтобы билось не пульсом,
А праздничным звоном,
Чтобы знали, что значит
Быть сердцу влюбленным,
Чтоб Звездана,
Тоскуя в краях неземных,
Услыхала бы набаты
Моих позывных...

Вот зачем
Я ковал свое сердце!

Как хорошо,
Что за крутыми
За гребнями
Далеких гор
Меня, забытого другими,
Ты вспоминаешь
До сих пор!

О, вспоминай!
В строках послушных
О нежных чувствах
Святословь.
Люби меня!
Средь равнодушных
Мне так нужна
Твоя любовь!

Бывало часто,
С жизнью споря,
Слабел я, горе затаив,
Мне чудились
В минуты горя
Цыганские глаза твои.

И было в них
Так много света,
Огня, как в золотом вине.
Как хорошо,
Что где-то, где-то
Ты вспоминаешь
Обо мне!

Когда судьба с тобой меня свела -
Наивно легкомысленной, как дети,
Я спрашивал: откуда ты взяла
Неведомые мне привычки эти?

Ты голову, робея, подняла, -
Слова твои, - сказала ты, - как плети!
Но кто повинен в том, что на рассвете
Я не тебя впервые обняла.

Мне стало жаль твоих печальных глаз
И твоего покинутого друга -
Ведь каждый день и каждый новый час
Своей любовью мы творим друг друга.

Когда - нибудь по странности твоей
Другой узнает о любви моей.

Ты шепчешь,
Что в моей груди
И неуютно, и морозно,
Я душу распахну - входи,
Входи, пока еще не поздно.

Когда войдешь, робея, ты
Не испугайся темноты,
Но сердце отыщи живое
И подними над головою.

Когда, забытое давно,
В руке засветится оно,
Когда заискрится, -
по аду, -
Неси как вечную лампаду.

Смешная, не твоим ногам
Спускаться по его кругам
Все ниже, через круг запретный
Туда, где пляшет пламя Этны.

Ты вянешь на моей груди,
В которой тоже были весны.
Я душу распахну - входи,
Входи, пока еще не поздно.

Когда люблю,
Побочных мыслей нет,
Сама любовь мне кажется великой,
Лиши ею я возвышен и согрет.

Когда пишу -
Мне строчки застят свет,
Войди любовь,
Мой взор и не заметит,
Мне в этот миг во тьме кромешной светит
Печальный отблеск позабытых лет.

Это, милые,
Не дискуссия
О довременной седине.
Старость - вроде бы
Как экскурсия
По какой-то чужой стране.

Жизнь чужая,
Чужая радуга.
Милых женщин чужой наряд.
Только знаешь,
Что все ненадолго,
Все навыслуш
И все впогляд.

К поседевшему
В русской грамоте
Иностранныя жизнь не льнет.
Что-то вдруг ударит по памяти,
Болью по сердцу резанет.

Вот стою
У чужого дома я,
Растерявшийся, как в беде.
А страна-то, гляди, знакомая
До подсолнушки
На гряде.

Ах, зачем я
Блуждаю в давности,
Своеволю в себе разлад?
Если жил без оглядки,
К старости
Не оглядывайся назад.

Если жил
Не боясь и не труся,
Не ищи себя в старине.
Старость - вроде бы
Как экскурсия
По давно знакомой стране.

Любовь - восторг,
Любовь - печаль,
Любовь всем бедствиям родня.
Увы, не радости ее,
А беды пали на меня.
Из десяти, затмивших свет,
Я, сирый, принял девять бед,
Да и десятой половину
Понес, в пути не оброня.

Потом,
Когда остатки их
Любовь бросала на других:
На джинов, на творцов и прочих,
Опять не обойден был я.
Мне снова, будто был я вол,
Досталась половина зол.
Что было делать? Взял я эти,
Ни в чем Аллаха не виня.
А люди в страхе от любви
Мученья бросили свои.
Я подобрал людские муки,
Устало голову клоня.

Награда есть ли?
Не видна.
Всем людям Бог налил вина.
А у меня бушует в чаше
Угар кровавого огня.
О, Навои, не прекословь,
Все благо, что дает любовь:
Любовь - тоска,
Любовь - мученье,
Любовь - копье,
Но и броня.

Из-за причины
Непонятной
Бывает в чуткости ко лжи
Грубее кожи сыромятной
Изнанка черствая души.

В желаньях
Ставшая невнятной,
Она, пригретая в лучах,
Осталась жизнью недомятой
И недомытой в щелочах.

Отзывчив
Долго душу мявший,
И если в жизни что не так,
Подобно выделанной замше
Душа сжимается в кулак.

РЕКВИЕМ

"Я устал сражаться с химерами".
Ж.-П. Марат

Пусть!..
Мы друг друга разлюбили.
Но жизнь мою, любовь мою
Не торопись толкать к могиле,
И так - качаюсь на краю.
Мне было трудно, но упрямо
Я долго ждал судьбы иной...
Не вышло.
Пусть из темной ямы
Повеет смертной тишиной.
Я, в счастье веривший глубоко,
Себя от счастья отрешил -
Уйду из жизни без упрека,
Довольный тем уже, что жил.
Все унесу:
Свои страданья,
Виной которых - я и ты,
Неутоленные желанья
И оскорблённые мечты.
Все унесу, как добрый гений,
Привыкший к тяжести земной -
Всю горечь многих заблуждений
Ты можешь склонить со мной.
И не жалей! В потере - малость!
Не мучь себя и не вини.
Свою коротенькую жалость
Со мною вместе склони.
Забудь могилу - будь же стойкой!
Когда-нибудь, ломая твердь,
Вблизи ее начнется стройка
И ты приедешь... поглядеть,
Как эскаватор полной горстью,

Легко разворонив ногост,
Мои изломанные кости
Швырнет на глинистый откос,
Тогда, выдерживая почерк, -
Да сизойдет к тебе твой дар! -
Напишешь ты свой лучший очерк,
Потом... получишь гонорар.

Сегодня мысль необычайная
Меня раздумью предала,
Что радости мои - случайные,
Что их ты - нехотя дала.

Уйдешь дорогой проторенною,
Не унося с собой вины.
Лишь только сердцем покоренные
Бывают до конца верны.

Весь отдаваясь помыслу,
Надежде на тебя,
По радуге,
Как по мосту,
Поднялся к солнцу я.

За красоту,
За радости,
За то, что счастье знал,
В порыве благодарности
Я солнце целовал.

МАТЕРИ

Есть такой порыв неодолимый,
 Когда все высокой страстью дышит.
 Пишет сын стихи своей любимой,
 Только писем
 Он тебе не пишет.

Не писать же в них,
 Что не на шутку,
 Как отец кулачный бой и пьянку,
 Полюбил он, вопреки рассудку,
 Легкую, как ветер,
 Москвитянку.

Вся она
 Сплошное заблужденье.
 Нужно - до чего невероятно! -
 Возвратиться с ней
 К ее рожденью,
 А потом
 Вести ее обратно.

Верю я,
 Что люди очень скоро
 Подобрейт в мудрости глубокой,
 Но любовь, как яблоко раздора,
 Навсегда останется
 Жестокой.

Ты прости,
 Совсем нсбоязливым
 Прикоснулся я
 К такому стану
 И такому сердцу,
 Что счастливым
 Никогда, наверно,
 Я не стану.

Лучше сразу бы сказала злое,
Чем расстраивать обиняком.
Я тебя ловлю на каждом слове
И на каждом вздохе о другом.

Глупые,
Смешные подозренья!
Но когда сомнение не спит,
Каждое твое разуверенье -
Только лишний повод для обид.

И когда
Всем сердцем негодую
И от боли чуть ли не кричу,
Все же ты не думай,
Что ревную...

Просто я тебя, мою родную,
В жалком свете
Видеть не хочу.

Прощай!
Нам слез не лить
От горя и отчаянья.
Быть нежной,
Доброй быть
Не надо на прощанье.

Прощай!
Не буду ждать.
Не ждать - душе честнее.
Не надо целовать,
Пусть сердце очерствеет.

Надеждой
Не делись,
Оставь без лишней ноши,
Хорошей не кажись,
Останься нехорошай!

Так можно
Все внушить,
Поверить в святость ада,
А люди будут жить
И думать:
Так и надо.

На разлуке,
На муке стою...
Вот и все.
Вот и время проститься.
И целую я руку твою,
Как крыло
Улетающей птицы...

Обидят.
Оболгут.
Не мщу.
Боюсь во зле
Сойтись со спесью.
Я не спокойствия ищу,
Ищу любви
Как равновесия.

Зло - бред,
И злые, как в бреду,
Приносят людям
Лишь страдания.
Да бережет меня сознание:
Превысит зло -
И упаду!

За позднюю вину,
За то, что грудь остыла,
Того не прокляну,
Что прежде
Счастьем было.

Пусть рана
Жжет вглуби,
Но все ж за эту рану
Я прошлое любви
Обкрадывать не стану.

Припомню те черты,
И сердце тронет жалость.
Кто виноват, что ты
Той, прежней,
Не осталась!

Немало я видел
Красавиц бедовых.
Что ж гонит меня
В переулки Садовых
По свежему снегу,
По белому насту?..
Такое со мной
Бывает не часто.

Не поздно ли?
Поздно.
В любовные сети
Не надо запутывать
Добрых соседей.
Не лучше ли тихо,
Сторожко-сторожко,
Условною дробью
Пройтись по окошку.

Крадусь пустырями,
А сердце все ноет:
Откроет ли поздно?
Откроет!
Откроет!

Когда бы спешил,
Не увидел бы мету,
Что шел я к окну
По готовому следу.
Тогда б не услышал,
Сойдясь со стеною,
Что весело милой
С другим,
Как со мною.

Не надо стучаться.
Не надо стучаться.
Не надо встречаться.
Не надо встречаться.

С любовью такою
Теперь не ужиться.
Пойду за метелью
Свистеть и кружиться.

Насмешкой
Над нежностью
Чувств непочатых
Пятнает мне сердце
Следов отпечаток,
Пылает обида
Ночного размена.

Измена!
Измена!

Сегодня метель
Для неверной подмога,
Она заметает
Следы до порога,
А снег,
Что в открытую душу
Влетает,
Все тает,
Все тает,
Коснется - и тает...

В этом
Нет моей вины,
И отчаяваться нечего.
У поэта нет жены,
У поэта только Женщина,
Только Женщина - да, да! -
Пусть простит мне жизнь убогая,
Только-только та одна,
Недоступная,
Далекая.
Только та,
Что темноту
Отгоняла светом вымысла,
Только та, что красоту
Из моих мечтаний вынесла.
Мой порыв ее вознес
Выше нашей повседневности,
Выше горя,
Выше слез,
Выше страха,
Выше ревности.
В ней -
Все чудо,
Все мое.
Но тебя люблю ведь тоже я,
Потому что на нее
Ты немножечко похожая.

Я видел:
Еще до рассвета
Он шел от тебя, точно вор...
Как только увидел я это,
Тебя ненавижу с тех пор.
О, как ненавижу!
Ну, кто ты?!
И так, ненавидя, люблю,
Что вымажу дегтем ворота
И окна тебе разобью.
В подъезде забесятся львицы,
Твою сторожившие честь.
Плевать мне на то,
Что в столице
Смешна деревенская месть.

В своей
Скитальческой судьбе
Я много думал о тебе.

Словами строгими,
Как в гимне,
Не помышляя о тепле,
Я думал:
Все пути легки мне,
Пока ты ходишь по земле.

Я думал,
Думаю и ныне,
Что справлюсь
С трудностью любой,
Пока мой разум не покинет.
Надежда встретиться с тобой.

Я думаю:
Ничтожны муки,
И сколько ни пришло бы их, -
Пока приветливые руки
Касаться будут рук моих,

Но в эту ночь по Барабе
Такие ветры завывали,
Что даже мысли о тебе
Меня уже не согревали.

Застыли ивы в декабре...
И я подвой пурги истощный
Припал лицом
К рябой коре
Холодной ивы придорожной.

О, если бы она дала
В тот час утратившему силы
Хоть толику того тепла,
Которое в себе таила!..

В жестоком
Снежном мятеже.
Когда зарыться в снег охота,
Я замерзал - и глаз уже
Коснулась смертная дремота.

И ты пришла...
И в полусне
Ты все-таки пришла ко мне.

Сквозь непроглядную метель
Идти меня поторопила,
Сказав, что постлана постель
И печку в доме затопила.

И голос твой
Меня увлек...
Разгоряченного от бега
Ты привела на огонек
И растворилась
В хлопьях снега.

Словами строгими,
Как в гимне,
Не помышляя о тепле,
Я говорю:
Пути легки мне,
Пока ты ходишь по земле.

Я шел тропой, -
 След детства моего
 Заитопан был щетинкою зеленою,
 Но, как и прежде, у сырых обочин
 Цвел пышный дягиль и росла куга.

А чуть повыше -
 За дымком зеленым
 Молоденьких берез, стоявших рядом,
 Черемуха белела, словно платье
 Подружки, караулившей меня.

Мне вспомнилась она.
 Меж тем тропинка
 Вела меня все дальше:
 На опушке
 Открылось мне село и на отлете -
 Двор МТС и пятистенный дом.

Я подошел к крыльцу и, не гадая,
 Не думая о том, как в доме встретят,
 Поднялся я на шаткие ступени,
 Тихонько постучался и вошел.

Меня не ждали.
 Мальчик крикнул:
 - Мама! -
 На зов его из комнаты соседней
 Метнулась женщина, она спросила:
 - Вы не к Сергею?
 - Нет, я не к Сергею...
 - А вам кого?
 - Наташу... -
 Удивленно
 Взлетели брови, и густой румянец

Залил ес лицо, она сказала
Застенчиво и тихо:
- Я Наташа...

Сказала так застенчиво и тихо,
Как будто предо мною извинялась
За то, что лишь девическое имя
Сквозь годы пронесла без перемен.

Что говорить, она была красива
Неяркою, но милой красотою -
С большими незнакомыми глазами,
С чужим лицом и голосом чужим.

- Так это же ведь ты?! -
И засмеялась
Тем радостным и тем задорным смехом,
Как будто это прежняя Наташа,
В ней спрятанная,
Голос подала.

Сначала голос, а минутой позже
Я видел на лице ее красивом,
Хоть все еще чужом и незнакомом,
Те прежние, Наташины глаза.

И странно было видеть, как, меняясь
И голосом, и жестом, и глазами,
То девочка заговорит со мною,
То женщина степенно перебьет...

В своей любви двоиться не умея,
Их слушая, я понял по всему,
Что женщина была верна Сергею,
А девочка, как прежде,
Не ему...

Я целовал твоё письмо,
Не унимая нервной дрожи.
В нем наказание само,
В нем отречение - и все же
Я целовал твоё письмо.

Могло бы быть совсем иначе.
Не плачу я и не корю.
Но, и не плача, говорю:
Могло бы быть совсем иначе.

Мне говорят мои года,
Что бесполезен поздний опыт,
Что я нигде и никогда
Не повторю любовный ропот...
Так говорят мои года.

Я не тебя,
Я мир теряю.
Не жалуюсь и не сердясь.
Тебе я горе поверяю:
Поэзии живая связь
Оборвана...
Я мир теряю!

Любил,
Как сон,
Прелестную,
С мечтой
И грустью в облике,
Любил полунебесную,
Стоящую на облаке.

Не видел,
Как менялся
С бедою неутешною,
Не видел, как спускался
С небес
На землю грешную.

Не тихою,
Не слабою,
Но рано песню спевшую,
Увидел просто бабою,
Уже отяжелевшую.

Такая
И встречается,
Такая мне и любится.
Мой вкус
Перемещается
От Рафаэля
К Рубенсу.

Знакомо,
Как старинный сказ,
Уходят женщины от нас.
Они уходят
И уносят
Холодный блеск
Холодных глаз.

Была нежна
И влюблена,
Была так долго
Мной пьяна.
Так неужель
В ней не осталось
Ни капли
Моего вина?

Зачем любить?
Зачем гореть?
Зачем в глаза
Другой глядеть?
Увы! Уму непостижимы
Две тайны:
Женщина и смерть!

У моей
У любви,
У страсти
Больше нет
Над тобою власти.

Власть ушла
В расцвете,
В богатстве,
Как уходит власть
В государстве.

Власть ушла,
И люди смеются:
Дескать, свергнут
Без революции.

Ты в каком-то
Чужом режиме,
Как чужая,
Ходишь с чужими.

Не боишься
Ты взгляда злого,
Не томишься
В любви
От слова.
Мне теперь
И любовь
И дружба
Как премьеру -
Простая служба.

Было все.
Всего нелепей
Заклинал ее: страшись!
Поклянись на белом хлебе,
Поклянись на белом снеге,
Синим небом
Поклянись!

Было все.
Всего нелепей
Клять ее звучала страсть.
И клялась на белом хлебе,
И клялась на белом снеге,
Синевой небес
Клялась.

Потеряла клятва силу,
Потеряла клятва власть.
Поклялась и изменила,
Изменив,
Опять клялась.

Все чаще, чаще падаю,
Все чаще грудь болит.
Уже вино не радует,
А только тяжелит.

Любил и пил запальчиво
И разгадал давно,
Что женщины обманчивы,
Как сладкое вино.

А жизнь была не гладенькой,
Не чистеньkim кювет.
Уже кому-то дяденька,
Уже кому-то дед.

Здесь новые возможности.
Но горько между тем,
Поскольку к новой должности
Я не готов совсем.

А я когда-то думал,
Что седые
Не любят,
Не тоскуют,
Не грустят.
Я думал, что седые,
Как святые,
На женщин
И на девушек глядят.

Что кровь седых,
Гудевшая разбойно,
Как речка,
Напоившая луга,
Уже течет
И плавно
И спокойно,
Не подмывая
В страсти берега.

Нет,
У седой реки
Все то же буйство,
Все та же быстраина
И глубина...
О, как меня подводит седина,
Не избавляя
От земного чувства!

Все речи да речи...
Молчи, фарисей!..
Никто не поверит,
Имея понятье,
Что дети родятся
От жарких речей,
От жарких речей,
А не жарких объятий.

Душа да душа!..
Замолчи ты, ханжа!
Мы тоже святые,
Но разве же худо,
Что к женам нас манит
Не только душа,
А женского тела
Горячее чудо.

Ты книжный,
Ты скучный.
Должно, не любя.
Тебя зачинали,
Когда заскучалось...
Все люди как люди,
И, кроме тебя,
Ошибок в природе
Еще не случалось.

Мы не подумали о том,
Хоть и нетрудно догадаться,
Что если поджигают дом,
То страшно
В доме оставаться.

Игра любви,
Игра до слез.
Довольно бы,
Но поздно...
Поздно...
И начинается всерьез,
Что начиналось
Несерьезно.

И сердится по доброте,
И упрекает:
“Грубый!.. Грубый!..”
А губы ищут в темноте
Уже заждавшиеся губы...

И запоздалое “уйди”,
Но молодость,
Но звезды с нами...
И я прижал ее к груди,
Как потухающее пламя.

Как второе пришествие,
Как сто крыльев на взлете,
О веселое сумасшествие
Торжествующей плоти!..

Нежность
До первозданного
Побледнения лика,
До глухого, гортанного
Лебединого клика.

И восторг
До отчаянья,
До высокого очень,
До немого молчанья,
До безмолвия ночи.

Лебедь
Крылья разбросила,
Замедляя движенье...
Как на заводи озера,
Ты - мое отраженье.

Как наяву точь-в-точь,
Шальное сердце билось.
Подряд из ночи в ночь
Ты, грешная, мне снилась.

Шептала: “Помолчи!..
Не предавай огласке...“
И были горячи
Неистовые ласки.

Но взял я не свое.
Под ласками моими
Чужое, не мое
Ты повторяла имя.

Я скованный лежал,
Стыдясь тебя коснуться,
Как будто крепко спал
И не хотел проснуться.

Измаянная тишиной,
Мысль за тобою гонится.
За радость ночи
Той,
Одной,
Плачу
Сплошной бессонницей.

За страсть,
Сжигавшую дотла.
Я б согласился с карою,
Что узаконена была
Царицею Тамарою.

Счастливец
Много ли терял,
Когда от стона светлого
С ее груди
Летел в Дарьял,
Уже ко стону
Смертному.

И знал он,
Брошенный на дно,
Что после расставания
Его убили б все равно
Потом
Воспоминания.

Не длил бы я
Постылых дней,
Когда бы не иллюзия,
Что ты нежней,
Что ты умней,
Добрей царицы Грузии.

Куда я - такой,
Кому я - такой,
От горькой любви,
Потерявший покой?

И взгляд мой безумен,
И вид мой ужасен.
Спокойным и тихим
Я просто опасен.
Опасен я тем,
Что мечтой увлекаю,
Что страстью своей
На любовь обрекаю,
Что делом и словом
Творю поневоле
В любви не согласных
На малую долю.

Куда я - такой?
Кому я - такой?

Уйти?
Уйду!
Такой тропою,
Чтобы сам черт
Найти не смог.
Да, это правда,
И с тобою
Бывал я часто одинок.

Бывало, надвое расколот,
Сидел я в смутной тишине,
И часто отчужденья холод
Закрадывался в душу мне.

Пойми,
От сладкого начала
До этих поздних горьких дней
Ты безответно расточала
Мою любовь,
Не дав своей.

И нисходило
К изголовью
Виденье юности...
Тогда
Перед ее большой любовью
Во тьме
Сгорал я со стыда.

И на тебя глядел я строже -
Как на минувшую беду...
Ну, что же, милая,
Ну, что же,
Ты говоришь - уйти?
Уйду!

Предо мною
Новый трудный путь.
Помоги усталость мне стряхнуть,
Помоги от прошлого забыться,
Новые желанья пробуди,
Помоги душою обновиться
Для большого, трудного пути.

Обнови
От недугов и хворей,
И от наговоров обнови,
Ты моя,
Испытанная в скоре,
В добром мире,
В неутешном горе,
В беспокойном счастье
И любви.

Мы спорили
О смысле красоты,
И он сказал с наивностью младенца:
- Я за искусство левое. А ты?
- За левое...
Но не левее сердца.

Семнадцать...
Двадцать...
В годы те
Что понимал я в красоте?!

Румянца ль видя густоту
Иль бровь, приподнятую круто,
Я счастлив был,
Я красоту
С беспечной молодостью путал.

Теперь мне далеко за тридцать,
И потому тоскливой пса
Бездомного
Гляжу я в лица,
Ищу любимые глаза.

Ровесниц вижу увяданье,
Уже не юности расцвет,
А пережитого страданья
Милей мне
Благородный след.

Давно забылись
Дни свиданий,
Но то стыдливей, то бойчей
Свет запоздалых ожиданий
Все светится в глуби очей.

Румянец спал
Пыльцой цветочной,
И бровь не просто приподнять.
Та красота была непрочной,
А эта...
Эту не отнять.

Ты у меня в гостях была.
Потом ушла в рассвет...
Потом поземка замела
Твой легкий лыжный след.

Потом его мороз сковал,
И я жалеть не стал.
Не по тебе я тосковал,
Не по тебе страдал.

А в марте таяли снега,
И, вскрывшись по весне,
Через лога,
Через луга
След снова вел ко мне.

Пришел апрель.
Уже в конце,
Упрямей всех замет,
Как на хрустальном поставце,
Лежал твой лыжный след.

На широком лугу
Пахнет мятой-травой,
Я понять не могу,
Что случилось со мной.

После трудного дня
Не отсталая забота.
Беспокоит меня
Позабытое что-то.

Потерявший покой,
Стал я с тайною ношей
Весь какой-то другой,
На себя непохожий.

Весь какой-то иной,
С чистотой изначальной,
Весь устало-земной
И счастливо печальный.

И себе самому
Говорю я:
- Припомни,
Отчего, почему
Хорошо мне,
Легко мне?!

Верю в жизнь, но такую,
Чтоб как реки - с разливом...
Загрущу,
Затоскую,
Если стану счастливым.

Если стану счастливым,
Если стану спокойным,
Если стану ленивым,
Для борьбы недостойным.

От полдневной истомы,
От вечерней прохлады,
От уютного дома,
От цветущего сада
Унесут меня с топотом
Кони огненной масти...

Пропадай оно пропадом,
Мое тихое счастье!

Была любовь.
Была сомнений смута.
Надежды были.
Молодость была.
Да, молодость была,
Но почему-то
Она большого счастья
Не дала.

Она ушла,
Но слезы не прольются.
Ушла.
Иди.
И не зови, трубя.
Нет, не хочу я
В молодость вернуться,
Вернуться к дням,
Где не было тебя.

Угар любви
Мне мил и близок,
Но как смешон
Тот сердцеед,
Что составляет
Длинный список
Своих “любвей”,
Своих побед,

Марина,
Нина,
Саша,
Маша.
Меж тем
При встречах,
Как у птиц,
Была с ним
Все одна и та же,
Размноженная
На сто лиц.

Мне радость
Выпала иная,
Мне жребий
Выдался иной:
Меняясь,
Но не изменяя,
Сто женщин
Видел я в одной.

Не пора ли,
Не пора ли
Нам игрушки собирать.
Мы все игры доиграли,
Больше не во что играть.

И в любви
Не портить крови,
Ибо знаю наперед,
Что количество любовей
В качество не перейдет.

- Не изменяй! -
Ты говоришь, любя.
- О, не волнуйся.
Я не изменяю.
Но, дорогая...
Как же я узнаю,
Что в мире нет
Прекраснее тебя?

ЦЫГЫНКА

Я верю цыганке.
 Мне счастье она нагадала.
 По жесткой ладони
 Всю прошлую жизнъ рассказала.
 Она мне сказала
 По линиям четким и ясным:
 - Всю жизнъ был любим
 И всю жизнъ был несчастным.

Она мне сказала
 С лукавым цыганским азартом:
 - Во многих же семьях
 Красавицам спутал ты карты.
 Скажу имена их,
 Да только не надо скучиться.
 - Скажи-ка, а впрочем,
 Зачем же...
 Напрасно трудиться!

Я верю цыганкам.
 Они - как поэты-предвидцы,
 Всю жизнъ они смотрят
 На разные встречные лица,
 Всю жизнъ они бродят,
 Всю жизнъ они новых встречают.
 И радость и горе -
 Все, все они в нас замечают.
 И сам я бродяга
 И многое, многое знаю.
 Сказал я цыганке:
 - Давай
 Я тебе погадаю!

Стройным
Хвастая станом,
Высотою груди,
Очень уж иностранно
На меня не гляди.

Мое имя
Василий,
И должна понимать, -
Мое имя с Россией
Хорошо рифмовать.

ЗАГРАНИЧНОЕ

Знаю, каждый за женщины платит.
Вл. Маяковский

Хожу,
Гляжу,
Толплю влекомый,
Ломаю язык:
- Ай эм раша... -
Мне заграницы
Ваши знакомы,
Мне знакомы
Столицы ваши...

Огни рекламные,
Напряженный,
Нервный,
Неоновый
Перепляс.
Женщины!
Женщины!
Обнаженные!
Вот это жизнь:
Сплошной Ренессанс!

О, какое
Изящество линий,
О, какая
Волшебная синь!
Рубенс торговку
Делал богиней,
А вы в торговки
Взяли богинь.

У вас
В искусстве
Особая мера.
Пиво продать,

Не мельча ценой,
К вам на помошь
Выходит Венера,
Выходит Венера
Из пены пивной.

Здесь же
Рядом,
Нежна,
Румяна,
Покинув ручьи
И рощицы,
На черном угле
Лежит Диана,
Лежит, бедняга,
И морщится.

Все расписано,
Как по нотам.
Богини все же
Возносятся.
Богини торгуют
Только оптом,
А смертные
Только в розницу.

Всюду,
Всюду:
В купальнях,
В альковах
Рыночным светом
Расцвечены,
В сексокнигах,
В сексоальбомах -
Женщины!
Женщины!
Женщины!

И сам
 Кричал я:
 “Женщину славьте!”
 Вот их сорок,
 И все заснятые
 В разных позах,
 И даже,
 Представьте,
 Одна на кресте
 Распятая.

На том кресте
 Из грубого бруса,
 Как символ зла
 И безвкусицы,
 Простерлась
 Вроде бы Иисуса
 Дебелая
 Иисусица.

Господу Богу,
 Должно быть, жутко,
 Богу, должно быть,
 Нехорошо
 Видеть ее
 Подсадною уткой
 Для охотников
 За барышом.

Вспомню,
 Сравню,
 И гордость
 Накатит:
 Страстью,
 Обидой,
 Тоскою глаз
 Каждый из нас
 За женщину платит,
 Женщиной платит
 Каждый из вас!

Бог любви,
Я снова в сердце ранен.
Огради от смертного одра,
Удержи меня на светлой грани,
Чистой грани
Мира и добра.

ЛЮБКА-ЛЮБОЧКА

Утром - Любкой,
Ночью - Любочкой...
Отряхнув с души золу,
С виноватою улыбочкой
Проходила по селу.

Шла неспешно,
Будто с ведрами,
Выводя за шагом шаг,
И покачивала бедрами
По привычке,
Просто так.

Обзываали Любку шлюхою.
Злые женщины порой
Начинали слово буквою
Из алфавита второй.

Мужики с недоброй шуточкой
Свой дневной вершили суд.
Шла и знала:
Ночью Любочкой,
Утром Любкой назовут...

Шла отпетая, небрежная,
Под лузгу недобрых ляс,
Всю себя, нахально грешную,
Выставляла
Напоказ.

Отмечая ночи ложные,
На меже вблизи села,
На другие непохожая
Ночь у Любочки была.

В играх звездного свечения.
С перепевом петухов
Ночь любви и очищения
Ото всех былых грехов.

Ночь, не сделавшая просева,
Ночь, не вспомнившая зла.
Ничего с души не сбросила,
Все с собою понесла.

Тихо, полная смирения,
Понесла в рассветный дым
Новое сердцебиение
Рядом,
Рядом со своим.

Сын приспел.
Нужны и метрики.
Вот, припав теплом к теплу,
С белым ситцевым конвертиком
Мать ступала по селу.

Мать ступала.
В знак прощения
Приподняли старики
Троеперстно, как крещение,
Лаковые козырьки.

Мать ступала.
И глумливые
Смолкли бабы у дверей,
Даже самые ревнивые
Стали к Любочек добрей.

Эти добрые и дружные
В мальчике
Из доброты

Все простили б,
Даже мужние,
Даже мужние черты...

Шла,
Впервые некоримая,
И несла, забывши все,
На судах неоспоримое
Оправдание свое.

Ну, полно...
Полно...
Мне тоскливо!..
Угомонись,
Раздор не сей.
Зачем же так несправедливо
Ругаешь ты моих друзей?

Ты злишься,
Что они приходят
Смущать нездешней красотой,
Что в поздний час меня уводят
Бродить под звездной высотой.

Не знаю,
Чем ты оскорбилась,
Когда сказала, их браня:
- Они тебе, скажи на милость,
Дороже хлеба и меня!

Ну, полно же,
На них не сетуй.
Вершители людских судеб,
Мои друзья - они поэты,
Необходимые, как хлеб...

И все ж
Их не сравню с тобою.
Без хлеба все-таки живут.
Ты - воздух мой,
А без него я
Не проживу и трех минут.

Все открыто,
Все наружу,
Но уже шепчу, скорбя:
Закрывай, Василий, душу,
Не выстуживай себя.

Стали глубже норы лисьи,
Стал пышнее ворс лисят...
Листья...
Листья...
Листья...
Листья
Золотой пургой летят...

Кружат...
Кружат...
Кружат...
Кружат
В слезной скуке ноября.
Закрывай, Василий, душу,
Не выстуживай себя.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Мне тяжело.
Люди со мной
Становятся честными.
Они разговаривают,
Как на исповеди,
Особенно женщины,
Которых мог бы любить.

Мне всех тяжелей.
Я похож на бога,
Но не настолько великого,
Чтобы прощать.

В наше счастье
Веры больше нету.
Мне обидно,
Что в чужом краю
Принял я за чистую монету
Легкую привязанность твою.

И не то мне жаль,
Что, пламенея,
Я тебя и нежил и ласкал.
Жаль мне то,
Что, от тебя пьянея,
Я своей любимой
Не искал.

Поглядеть бы
На любовь-потерю,
Тронуть кудри
Ласковой рукой...
В мире есть такая.
Я не верю,
Чтобы в мире
Не было такой.

Может, поздно?
В муках угрывзений
Сердце бьется
В поисках порук.
В мире было столько
Потрясений,
Столько было горестей...
А вдруг?..

Может быть,
В надежде тосковала.
Все ждала

И уставала ждать?..
Может, ей меня
Недоставало,
Чтобы жить
И в жизни устоять?..

Есть такая!
Каторжной работой
Сто каналов
К ней готов прорыть.
Если сердце
Бьется для кого-то,
Значит, этот кто-то
Должен быть.

Мне казалось,
Что ты молода,
Что тебя
Не коснулись года.

Помнишь,
Был я не хилой породы,
Но обветрил,
И, видишь, - седой.
Ты лишь в памяти
Все эти годы
Оставалась
Еще молодой.

Да, лишь память
В заветном извиве,
Как солдат
На бессменном посту,
С каждым годом
Нежней и ревнивой
Охраняла
Твою красоту.

Запоздалая встреча убила,
И надежде
И вере назло,
То, что память моя
Сохранила,
То, что сердце мое
Сберегло.

Плачь.
Пусть слеза прольется,
А ты себе живи.
Тебе легко живется
И в жизни
И в любви.

Страдай.
Твое страданье,
Увы, невелико.
Рыдай.
Твое рыданье,
Как у детей,
Легко.

Но все твои печали,
Как воды по весне,
Подземными ручьями
Изроют душу мне.

Сопротивляясь темной силе,
Ее жестокости тупой,
Мы друг за друга заплатили
Ценою слишком дорогой.

Шли,
Не искали, где полегче.
Того, что взяли, не спасли.
Шли долго, и до нашей встречи
Мы юности
Не донесли.

Дорога та
Полжизни длилась.
Она такой глухой была,
Что терпеливая наивность
Отстала
И не догнала.

В любви попутной
Спозаранку
Забылась где-то чистота,
И горделивую осанку
Сменила
Просто прямота.

Бывало,
Что слабели силы,
Когда шагали через боль,
Оглядываясь на могилы
Тех, с кем делили
Хлеб и соль.

И все потери,
Все утраты,

Все, что линь в памяти таю,
Мы жизни отдали в уплату
За позднюю любовь свою.

Не говори,
Что отлобили,
Что сердцу
Время на покой.
Мы друг за друга заплатили
Ценою слишком дорогой.

Да Винчи говорил:
Когда вы захотите
Какой-нибудь реке
Дать новый,
Лучший путь,
Вы как бы
У самой реки спросите,
Куда б она сама
Хотела повернуть.

Мысль Леонардо!
Обновись, и шествуй,
И вечно торжествуй
На родине моей.
Природа и сама
Стремится
К совершенству.
Не мучайте ее,
А помогайте ей!

ВТОРОЙ ОГОНЬ

Любовь горела,
А не тлела.
И все же, к радости моей,
Не до золы она сгорела,
Но, как береза,
До углей.

Она,
Ничем не оградима,
Перемежая страсть и гнев,
Вся изошла огнем и дымом
И вся распалась,
Почернев.

Погибла?
Нет.
Вернее прочих
Я знаю цену угольку.
И каждый черный уголечек
В душе холодной берегу.

В моей душе,
Как в горне грубом,
Небесполезно им лежать.
Лишь только б огонек...
Да губы...
Да губы,
Чтобы подышать.

Не гибнут страсти.
Над враньем
Опять смеюсь.
Пусть не лукавят.
Любовь горит
Вторым огнем.
В таком огне
Железо плавят.

ЗЕМЛЯ

Почуя сердцем
Внеземную тягу,
Однажды в ночь
Я вышел за село.
Земля, как утомленный работяга,
Лежала и вздыхала тяжело.

В таинственных
Долинах небосвода
Подружки - звезды
В блестках золотых
Веселые водили хороводы,
А ей, усталой,
Было не до них.

Сама звездой
Она сияла прежде,
Теперь лежала
В молодых миражах
В своей лесной
И травяной одежде,
Потершейся
На мускульных буграх.

Ловил мой слух,
Как трудно сердце было
В чередованье
Спадов и прыжков.
Что ж, накрутилась,
Дымом накурилась,
Лечебных наглоталась порошков.

Еще бы жить
Да жить моей планете,
Еще б сиять

Сиянием чела,
Когда бы не изматывали дети,
Что в звездных играх
Юной зачала.

Ей на курорт бы,
На веселый праздник,
А там опять
Кружиться и рожать,
Ей отдохнуть бы
В лучшей из галактик,
В хорошей атмосфере
Подышать.

Так думал я о ней,
А с нею слитый,
Уже зарозовел
Небесный плес,
Ей и на час
Нельзя сойти с орбиты,
Ей суждено
Работать на износ!

КУЗЬМИХА

В моей деревне,
Прозябавшей тихо,
Жила-была
Столетняя Кузьмиха.

На диво
Бородатым мужикам
Она весь день
Помалу, помаленьку
То родники почистит,
То ступеньки
На спусках
К приозерным родникам.

Те родники,
Что родила гора,
Бежали к озеру
Уже разумны,
Звенели,
Как натянутые струны
Под призрачной рукою
Гусяря.

Кузьмихи жизнь
Была уже темна,
Но на горе,
Прислушиваясь к пенью,
Вдруг обретала
Слух она и зренье,
Когда смолкала
Хоть одна струна.

С присловицей туманной:
“Что, ин да? “ -
Она спускалась с заступом,

Как с другом,
Мудрила что-то над струной.
И та
Через минуту
Набухала звуком.
Тогда она шептала:
“Мол, ин да!” -
И уносила
Сухонькое тело,
А в руслах
Родниковая вода,
Подобно гуслям,
Пела, пела, пела!

Есть тайна жизни
В каждом роднике,
Он может умереть,
Лишенный бега.
Полвека мне,
И вот через полвека
Кузьмихин заступ
У меня в руке.

В тени
Берегового закутка
Два голоса,
Две ноты трепетаний:
Один глубокий -
Из земной гортани,
Другой звончее -
С моего лотка.

ПОЛЕ

Какое поле
Зреет в славе!..
Куда глазами
Ни раскинь,
Кипит, как золото
В расплаве,
Перед заливкой
В колоски.

О поле, поле,
Ношей бренной
Под солнцем
Наливайся впрок,
И пусть, как шлаковую пену,
Пыльцу сбивает ветерок.

Плати нам, поле,
Полной мерой
За труд, что многих тяжелей.
Спасибо селекционерам
И селятелям
Наших дней.

И пращуру
За умный прищур.
Да будет славен на века
Поднявший взгляд
От корневища
До чахленького колоска.

Тот взгляд - полет
От века к веку,
Тот взгляд - бессмертья
Добрый знак.
Спасибо первочеловеку,
Заметившему
Первый злак.

Говорят,
Что красоты не стало.
И река, и берега в снегу.
Полыхают ветки краснотала
На крутом
На белом берегу.

Холодно.
Безоблачно.
Бесстрастно.
Приутихли даже ветерки.
Среди белых кружев
Так прекрасно
Незастывшее лицо реки.

Все как в сказке:
Сгубленная злыми,
Принявшими самый добрый вид,
Междур берегами снеговыми
Мертвою царевною лежит.

Никого вокруг себя не вижу.
Только я,
Наполнив болью грудь,
Только я один сегодня вышел
Проводить ее в последний путь.

Только я один ее утрачу,
День запомнив этот и число,
Только я один стою и плачу,
Будто мне
Опять не повезло.

ЧЕЛОВЕК

Природа
 Не очень спешила
 Провидеть свою благодать,
 Пока, заскучав, не решила
 Себе Человека создать.

Природа
 В работе неспорой,
 Незримое что-то творя,
 Предгорья
 Вздвигала на горы,
 Бросала моря
 На моря.

В горячке,
 В бреду,
 В наважденье
 Земля, потерявшая стыд,
 Так мучилась
 В корчах рожденья,
 Что даже срывалась
 С орбит.

Громада
 Кружилась,
 Металась,
 Глазеющих звезд
 Не стыдясь,
 Чтоб некая
 Малая малость
 Однажды живой родилась.

Не смея
 В удачу поверить,
 Ей некого было спросить,
 Как малую малость лелеять,

Как ей
Человека растить.

Чтоб тело
Над миром парило,
Чтоб воды давались, легки,
Она ему крылья дарила,
Кроила ему плавники.

В заботе
И счет потеряла
Периодам,
Эрам,
Векам,
Когда не спеша
Примеряла,
Где быть
И ногам и рукам.

И снова
Дымила,
Чадила,
Крепила,
Чтоб сила была.
Сначала она научила:
Трехглазым его создала.

И снова
Дышала могутно,
Чтоб свет его жизни
Не мерк.
Рожденный
Вот так многотрудно,
Чем занялся он,
Человек?

Чем?
С первой извилиной мозга
Он стал сучковатым древьем

Губить черновые наброски
Себя -
То, что стало зверьем.

За жизнь
Научившийся драться,
Губил он и рвал на куски
Улики недавнего братства,
Рожденья
Из той же музги.

Как нелюди,
Жившие в нетях,
Едва отойдя от горилл,
Природы нахальные дети
С дубиной
Полезли в цари.

Они
С первобытным пристрастием,
Уже посягнув на миры,
Царят с превышением власти
С тех пор
И до нашей поры.

Я гляжу
На родные места:
Лейся, лейся
В меня, красота!

Лейся, лейся,
Заполни утраты,
От которых
Душой изнемог,
Но и свет
И цветов ароматы -
Все уходит в меня,
Как в песок.

А душа
Между тем
Все пуста.
Лейся, лейся
В меня, красота!..

Со времен
Еще древнегреческих
Уверяют, что жизнь стара.
А подумать -
У человечества
Ученическая пора.

Если Землю
Со всей Европою
В мире звездном
С селом сравнить, -
Человечество
Только пробует
За околицу выходить.

Очень трудно
Даются знания,
Потому-то у имярек
На уроках правописания
Сто ошибок
На каждый век.

Набираясь
Любви и смелости,
Человечество из теней
Все идет
К аттестату зрелости
И никак к нему
Не придет.

И страдает оно
И мучится
В подражании естеству.
Человечество
Только учится
Настоящему мастерству.

Нетерпимо,
Во зле запальчиво,
Непреклонно
И в доброте,
Человечество
Только начало
Разбираться в своей беде.

Умудряйся,
Мое отечество,
И рассчитывай на успех.
У свободного
Человечества
Скоро станешь ты
Старше всех.

Бог весть,
От культа ль нам дались
Слова решительные,
Вроде
Крутого слова: “Покорись!”
И это о родной природе?!

О, мы творим,
Преображаем!
Но почему ж
Врага грубей
Мы поминутно угрожаем
Извечной матери своей!

Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы
И ввести
Непогрешимый
Культ природы.

Долго
Поклонявшийся железу,
Сделавшийся пасмурней
И злей,
К людям не тянусь,
Тянусь я к лесу.
Мне в лесу
Отрадней и теплей.

Что-то чувствую
В себе больное...
Может быть, порывисто дыша,
Обо все железное, стальное
Иступилась чуткая душа.

Люди - судьи.
Что мне пользы в судьях?
А в лесу, повеселев умом,
Буду снова думать я о людях,
О любимой,
О себе самом.

Веруя,
Что путь еще не пройден,
Сяду в затененном уголке,
Стану свою душу на природе
Править,
Как на вечном оселке.

КОЛУМБ

Упрямый,
Он твердить не устает,
Чтоб жизни мудрость
Не была забыта:
Пока земля
Плодов нам не дает,
Она для человека
Не открыта.

Над ней горит
Бесплодная заря,
Закаты гаснут
В небреженье грубом.
А в наше время,
Чтобы стать Колумбом,
Уже не надо
Бороздить моря.

Твоя земля
Совсем недалеко,
В завоеванье
Никакого риска.
И хоть она,
Нетронутая, близко,
Открыть ее, такую,
Нелегко.

И даже ту,
Которую вспахал
И над которою
Весь век хлопочень,
Ты до конца
Еще не открывал
И, как слепой,
Свое богатство
Тончешь.

Ты бороздишь
Земли усталый лик,
Не смея,
Не умея
Тронуть недра.
Войди в нее
На глубину
В полметра,
И ты откроешь
Новый материк.

В земле проснется
Жажда материнства,
Как в тот далекий
И туманный век,
Когда к ней
Прикоснулся человек
И ощутил с ней
Вечное единство.

Мир дремучий,
 Мир такой горючий,
 И огонь то низок,
 То высок,
 Что не отличить,
 Где дым,
 Где туча,
 Где зола,
 А где речной песок.

В эту
 Мировую непогоду
 Мне бы
 Отряхнуться
 Добела -
 Так, как лебедь
 Пасмурную воду
 Стряхивает
 С белого крыла.

Молодость
 На горести поката.
 Грудь расправил -
 И душа чиста.
 Юного,
 Меня легко когда-то
 Поднимала в небо
 Красота.

Нынче
 Не до легкого подъема,
 Крылья песен
 Что-то тяжелы.
 Слишком много
 В наших водоемах
 Накопилось
 Всяческой смолы.

И лечу
Уже не я,
А годы...
Мне бы
Отряхнуться
Добела -
Так, как лебедь
Пасмурную воду
Стряхивает
С белого крыла.

ЗАБЫТЫЙ МОСТ

Еще вчера
Манил размах вселенский,
А подошел к нему -
И не до звезд.
Он цел еще -
Мой старый,
Деревенский,
Давным-давно
Воспетый мною мост.

Он цел еще,
Как экспонат музейный.
Уже и колеи-то
Нет на нем.
А рядом новый,
Ставший па шоссейной,
Стремительно взлетающей
На взъем.

А ведь бывало.
Пил здесь воду каждый,
Когда еще бурлачил
Тот живой,
Подверженный
Усталостям и жажде,
Неторопливый
Транспорт гужевой.

Причастьем
И к работам,
И к заботам
Была вода речонки,
Та вода
У первой кручи
Исходила потом,
Случалось, что и кровью
Иногда.

Для раздыха
Коротенькие сроки
Давала жизнь,
Но помнились мосты
Так, будто посидел я
На уроке
Неслыханной
Любви и красоты.

Мост новый - просто мост,
Хоть он и шире.
Есть в новизне
Своя печаль потерь:
Где чувство то, что я
Всей жизнью - в мире,
А не над миром где-то,
Как теперь?

Все хорошо.
Мост новый
Ладно сложен,
Дорога по нему
Во всей красе.
Все хорошо,
Добротно все,
А все же
Такая грусть,
Хоть падай на шоссе.

Звери!
Травы сминая,
Не принес вам разора.
Не пугайтесь, что знаю
Ваши тайные норы.

Верю, надо бояться,
Вижу, стало не легче,
А трудней укрываться
Вам от глаз человечьих.

В тихой
Норке-квартире
Ничего не нарушу.
В этом горестном мире
Берегу вас, как душу.

МЕРТВЫЙ ЛЕС

Белыми стволами
В срезах у небес
Вырос перед нами
Тихий мертвый лес.

Странно, будто кроны
В вышине лесной
Кто-то ровно-ровно
Прокосил косой.

Здесь, где умер шелест,
Некого спросить,
Чьих миров пришелец
Приходил косить.

ТРЕТЬИ ПЕГУХИ

Сергею Воронину

Из ночи,
Из тьмы,
Как из берлоги,
Лезет нечисть
Отжитых веков.
Я боюсь устать,
Упасть в дороге,
Не дождавшись
Третьих пегухов.

Но цветет,
Цветет,
Цветет вдали
Розовый цветок
Большого роста.
Вся Земля в изъянах,
У Земли
Шелущится
Старая короста.

Путь ее
Не легок
И не прост.
В распрях доброго
И злого духа
Так и жмется
К частоколу звезд
Со своею
Древней почесухой.

А душа?
Не для тебя ль,
Ранимой,
Розовый цветок

Вдали цветет?
Жизнь прекрасна
И неумолима,
Жизнь через меня
Перешагнет.

Все перешагнет,
Не медля в шаге:
Мерзость,
Подлость,
Смуты,
Мятежи,
Наше горе, слезы,
Наши страхи,
Наши боли
Сердца и души.

У нее
Свои на счастье виды.
Через кровь пройдет
До лучших дней...
Пусть!
Но как же
Все мои обиды
ПримириТЬ мне
С гордостью моей?

Как же
Перед нечистью
Не сдаться,
Не чертЯ
Спасительных кругов,
Как же мне,
Не уступив,
Дождаться
Предрассветных
Третых петухов

ПРОРОЧЕСТВО

Я жить
И мыслить устаю.
Я, сделав шаг
От легкой грусти
В мир
Ужасающих предчувствий,
Над черной бездною стою.

Меня охватывает дрожь,
Когда смотрю
В провал заклятый.
О, человечество,
Куда ты,
Куда ты, милое,
Идешь?

Меня охватывает страх.
Небрежно
К собственному дому,
Ты к счастью
Не пришло земному,
Что ж ищешь ты
В других мирах?

Меня охватывает гнев.
Утраты восполнения скучно,
Ты истребляешь
Безрассудно
Природы
Вековой посев.

Меня еще тряхнет не раз.
Ты, жадное,
Алкая пищи,
Глядишь на мир,

Как жирный нищий,
Украдкой
Евший про запас.

Земли
Не вечна благодать.
Когда далекого потомка
Ты пустишь по миру
С котомкой,
Ей будет
Нечего подать.

Прости
Настойчивость мою.
Уже в плену
Тех дальних сроков,
Твой самый добрый
Из пророков,
Я жить
И мыслить устаю.

ОЗЕРО КАЙДОР

Мне память горище,
Чем родни укор.
В моей деревне,
Что стоит высоко,
Есть озеро по имени Кайдор,
Все в звездах лилий
И в кудрях осоки.

Есть уголок среди травы густой,
Где можно искупаться и напиться;
Есть бухточка, где бережок крутой
Всегда в следах
Точеного копытца.

Как тот больной,
Что беспричинно чах,
Шел я лечиться к одному, к другому
И, разуверившись во всех врачах,
Побрел с поклоном к знахарю седому.

В обход деревни
По густой стерне
Несу Кайдору боли и невзгоды.
Здесь,
Прежде чем пойти к своей родне,
Я исполняю ритуал прихода.

А приходить стараюсь на заре,
В тот ранний час,
Когда туманны дали,
Чтоб из домов, стоящих на горе,
Меня ничьи глаза
Не увидали.

А мы вдвоем:
Лишь озеро да я -
Душа моя да сонных вод разливность,
И, ничего на сердце не тая,
Снимаю все -
Одежду и стыдливость.

Шепчу воде:
“Как в детстве, обними,
Дай чистой ласки маленькую малость!
Сними печаль,
Сними с меня усталость
И тяжесть лет добавленных
Сними!

Я был доверчив,
Стал я к людям строже,
Порой смолчу и чувства утаю.
Я трижды был обманутым,
И все же
Ты мне верни доверчивость мою.

Пусть ошибусь,
Пусть огорчат, расстроят,
Пусть снова заблужусь
В сердцах людских.
И все-таки уверен - люди стоят,
Чтоб жизнью,
Счастьем я платил за них!”

Так я веду
Языческие речи,
А сам иду.
Вода уже по грудь.
Вода уже давно покрыла плечи,
Вода все выше, выше...
Не вздохнуть.

Меня вода Кайдорова милует, -
Должно быть, я воде ответно люб.
Она целует в губы,
В лоб целует
И поправляет поредевший чуб...

Мне память горше,
Чем родни укор, -
Уже три года в час отдохновенья
Не приходил я к озеру Кайдор,
Не исполнял обряда
Обновленья.

Кто-то здесь
Топориком постукивал,
Дерева рубил.
Кто-то здесь
Веселых птиц распугивал,
Красоту губил.

Упадет ли
Ствол ли,
Ветви ли,
Сердцем вздрогну я.
Боже мой, когда в свидетели
Позовешь меня.

Я не люблю немые реки,
Я говорливые люблю,
Их перекатные разбеги
И волн веселую гульбу.

Не сорванными якорями,
В глуби обретшими покой, -
Они богаты пескарями...
Я, тихий, вырос на такой.

Река моя
Меж берегами
То меркнет, то в лучах горит,
Она с веселыми стрижами
О чем-то нежном говорит.

Да, не со мной,
Жалевшим времяя
На ласку этих малых вод,
А разговаривает с теми,
Кто прилетает каждый год.

Ворчит,
Как будто мне двенадцать,
Все сердится, а я молчу,
Хотя и мог бы оправдаться,
Но оправдаться не хочу.
Лежу,
Гляжу в туман глубинный,
Где окунь водит плавником.
Как перед женщиной любимой,
Мне, виноватому,
Легко.

СОСНА

И все-таки пришла весна
И вновь надеждой опьяняла,
Но обожженная сосна
В глубоком трауре стояла.

На косогоре у реки
В минуту скорбного порыва
Две ветви, словно две руки,
Она раскинула с обрыва.

Просила ли кого прийти
Таила ли какое слово?
На нашем боевом пути
Мы много видели такого.

Поодаль зарево огней,
Клубится дым - чему дивиться?
И шли-то мы совсем не к ней,
А просто-напросто напиться.

И вдруг, откуда - не понять,
Живая ветвь с зеленою челкой
Над пеплом силилась поднять
Свои дрожащие ручонки.

И, вспомнив про другие, те,
Что молчаливо просят хлеба,
Пошли мы за своих детей
Туда, где полыхало небо.

Когда раздоры рàздиром
Весь мир терзали, я
Работал старшим мастером
Свинцового литья.

Не образов парение
В построчечном строю,
А злые испарения
Вдыхал я в кровь мою.

Не дать отраве вымучить
В то время так легко
Меня могло бы выручить
Простое молоко.

Теперь винят в нетрезвии,
Не ведая о том,
Что черный яд поэзии
Не лечат молоком!

A.P.Косицину

Пока горит моя заря,
Пока живы мои желанья,
Хочу не славы, а признанья
Того, что прожил я не зря.

Покаяюсь
В самом честном стиле:
Со мной случались иногда
Паденья с кручи - словом, были
Издергки жизни и труда.

Ну как же
Не споткнуться было,
Когда с мечтой навеселе
Душа под звездами парила,
А сам ходил я по земле.

В любви
Возвышенной и строгой,
В трудах суровых, как бои,
Да не затмят слезы высокой
Грехопадения мои!

Да будут
До последних дней
Шуметь и радовать звездою
Над головой моей седою
Знамена юности моей!

БЕССОННИЦА

Как только жизни
Заприметил край,
Мне мысли
Мозг мой
Крысами прогрызли.
Бессонницу свою не отвергай,
Когда к бессоннице приводят мысли.

Бывает, к ночи
Все твои слова
Уже лежат по мусорным корзинкам,
И хлябает на шее голова
Незашнурованным ботинком.

Зато уж в ночь
Среди кромешной тьмы
Мы делаемся прозорливей кошки.

В такую ночь
Стыдливые умы
Улитами показывают рожки.

Бывает ночь
Таланта твоего,
Ночь страсти
И взвышенного жженья.
В такую ночь по манию его
Нас посещают смелые решения.

Бывает ночь,
Когда бунтует честь,
Когда смолкает страх,
В тебе сидящий.
В бессонницу такую ты и есть
Доподлинный и самый настоящий.

Я не старый,
Я усталый,
На всем остром
Притупивший взгляд.
От своей работы небывалой
Все хочу вернуться я назад.

Был я грешен
Многими грехами,
Но за то прости, родная Русь,
Что испортил я себя стихами,
Для другого дела не гожусь.

Не резец,
Перо стальное пело.
То перо - садись да и пиши! -
Оказалось легоньким для тела,
Но тяжелым для моей души.

Я не старый,
Я усталый,
Скорю тело со своей душой.
Тело никнет от работы малой,
А душа погибнет
От большой.

В горести,
В надеждах
И страданьях
Ждущие глаза твои зорки.
Мать моя - Россия,
в ожиданье
Ты века глядишь из-под руки.

Не было
Сынам твоим предела
На путях за горы и леса.
Раньше за околицу глядела,
А теперь
Глядишь на небеса.

Нас грешник учит больше, чем святой,
В священные минуты покаянья,
Когда его греховные признанья
Особенною дышат чистотой.
Нас грешник учит больше, чем святой

Поэта надо издали любить,
Вблизи его житейская обычность,
Похожая почти на неприличность,
Все впечатленья может погубить.
Поэта надо издали любить.

Не надо допускать к себе чужих,
Шумливо ахавших и нежно льнувших,
В сомнительную щелку заглянувших,
Потом сказавших: “Все, как у других! “
Не надо допускать к себе чужих.

Поклонник - деспот, будьте строже с ним.
Воспринятому им, не дай вам боже
Однажды показаться не похожим
На прежний облик, а чуть-чуть другим.
Поклонник - деспот, будьте строже с ним.

Рабу молвы не оценить стиха,
Стиха, что не обрел еще преданья.
Есть люди запоздалого признанья
И позднего прощения греха.
Рабу молвы не оценить стиха.

И все же грешник делался святым,
Преодолев житейскую предвзятость.
Мне больше по душам такая святость,
Прошедшая через огонь и дым.
А всезже грешник делался святым.

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Ты мне ужасен,
 Новый год,
 Как поздней истины приход,
 Когда обманутую память
 Смирять нелепее всего,
 Когда и праздника не справить
 И не исправить ничего.

Еще ужаснее прозренье,
 Что Новый год без обновленья.
 Все та же рана, та же боль
 За новогоднею границей,
 На ту же рану та же соль
 Из той же горькой солонцы.

За мной
 Из декабря в январь
 Переползла все та же тварь.
 Она, дыша дыханьем смрада,
 Вино из той же чаши пьет
 И, пополняя дозу яда,
 Все те же злые кольца вьет.

А больше
 Вот что устрашает:
 Меняться мир не поспешает.
 О человечества заря,
 Ты обещала нам немало.
 И что ж?.. Дубинка дикаря
 В наш умный век
 Нейтронной стала!..

Нет новизны.
 В людской полove
 И умереть уже не вновс.

Как часто на земных путях
В мечтах на высоту и дальность
Я умирал в чужих смертях,
Что умереть -
Почти формальность.

Та жизнь,
Что нам прожить дано,
У вечности - всего окно.
И без того обзор не дальний,
А тут еще она, Судьба,
Вдруг явится, закроет ставни
И приоткроет погреба.

Как мне узнать
По знакам сущим,
Что будет без меня в грядущем?
Хочу, когда сверкнет коса,
Когда во прах пойду,увечный,
Оставить на земле глаза,
Чтобы на мир
Глядели вечно.

Хочу, чтоб в те,
Иные дни
От счастья плакали они,
А в горестях совсем немного.
С душой, где все наперекос,
До слез любви,
До слез восторга,
Я в этой жизни не дорос.

Душа, гневясь,
Вдвойне бунтует,
Когда и красота плутует
Из-за рублей,
Из-за квартир,

Из-за минутного блаженства.
Пока несовершен мир,
Не будет в людях совершенства.

Ты мне ужасен,
Новый год,
Как поздней истины приход,
Что мы порой в прозренье слепы,
Что все провидеть на дано,
Что жизнь моя в страстях нелепых
У вечности - всего окно.

Мастерство
Заразительней многих зараз,
Когда вирус прекрасного
Душу нам точит.
Тот, кто в жизни
Красивое сделал хоть раз,
Сделать что-нибудь плохо
Уже не захочет.

Доброта
Еще выше земной красоты,
Она души людские
По-своему метит.
Даже капелька
Поздней твоей доброты
Все, что сделал недоброго,
Сразу осветит.

Всех простили,
Мне простили, кого огорчал,
И казалось уже,
Что, вплетенные в строчку,
Красоту с добротой
Я давно повенчал,
Но они, как и прежде,
Идут в одиночку.

РУССКИЕ ПЛОТНИКИ

От житейской экспрессии
В поредевших лесах
Умирают профессии
У меня на глазах.

Мастера и работники,
Рукотворцы хором,
Где вы, русские плотники,
С золотым топором?

Вот средь бойко оплаченных
Дом, как нищий в гостях,
Весь в древах измахрененных,
Весь на ржавых гвоздях.

Где ж вы, бревноукладчики,
Воздвигавшие дом?
Где вы, где, конопатчики,
С конопляным жгутом?

Этих “где” - изобилие,
Для ответов на них
Нам остались фамилии
От профессий былых.

Где вы, тоже не лодыри,
В деле знавшие честь?
Нет вас, звонкие бондари,
Только Бондарев есть!

Не поможет в экспрессиях
От бетонного ига
Уходящим профессиям
Даже Красная книга!

ВРЕМЯ

П. М. Дорофееву

Время село на плечи мои.
Как живое,
В извечном полете,
На одном, роковом обороте
Время село на плечи мои.

Время тот сторожило момент,
Когда жизнь моя
В беге запнется,
Скорость века с моей разойдется.
Бремя тот сторожило момент.

Стал я ниже и ближе к земле.
Время давит.
С него-то и сталося,
Что и в росте уменьшился малость -
Стал я ниже и ближе к земле.

Не ветвями - корнями расту.
Есть у жизни
Почти до погоста
Хитрый фокус обратного роста.
Не ветвями, корнями расту

Время село на плечи мои.
Говорю я,
Любивший запойно,
Хоть и грустно, а все же спокойно:
Время село на плечи мои.

ЗВЕЗДНАЯ ПАМЯТЬ

Не пойму,
Что такое со мной?
Моя грусть,
Моя боль безутешней.
Я какой-то иной:
Хоть земной,
Но чужой
И почти что нездешний.

Не пойму
Ваших жестов и слов,
Когда разум
Скорбит, потрясенный.
Я от звезд,
Я от гиблых миров
Чужедальней пыльцой
Занесенный...

Не пойму,
Почему я такой,
Ножевой,
Безответно - вопросный,
Часто мучаюсь
Смертной тоской,
Весь измаянный
Памятью звездной.

Будто кто-то толкает:
Бери же разбег
И верни себя
Звездной пучине.
Может, память
Бросает на берег
И дельфина
По той же причине?

Не зову тебя,
Мрачный финал.
Боль и грусть
Мне давно надоели..
Может, это не грусть,
А сигнал
О невзгодах
В земной колыбели?

В горючий век
Среди лесов и нив
Быть недосуг
С неспешною молитвой.
Прости меня, мой бог,
Я тороплив,
Как ангел,
Пролетающий над битвой.

Друзей-бойцов
На смертном поле том,
В боях за веру
Павших в неурочье,
Не успеваю
Осенить крылом,
Полуоткрытые
Закрыть им очи.

Мой бог,
Не отсырай их далеко,
Их новый путь
Не начинай с лишений.
Пусть будет им
Свободно и легко
В круговороте
Вечных превращений.

Прилетел я доподлино
Голубыми путями.
Меня встретила Родина
Проливными дождями
Туча к туче летела,
Дождик лился и лился,
Видно, очень хотела,
Чтоб я сразу отмылся.

Ларе

Люблю я день после дождя,
Слезами божьими умытый,
За кроткий взгляд, как у дитя,
И простодушный и открытый!.
Люблю я день после дождя.

В такое время мир мне мил,
Как жизнь сама, как откровенье,
Когда среди враждебных сил
Царит любовь и примиренье.
В такое время мир мне мил.

Такое время длит моих срок,
Судьбой подаренный не слепо,
За что с пригорка свой цветок
Земля протягивает небу.
Такое время длит мой срок.

Люблю я день после дождя,
Поля, успевшие омыться.
Земля смеется, как дитя,
Когда ей сон о детстве снится.
Люблю я день после дождя.

МИР

Как многозначно
Слово Мир.
И небеса
С их чудесами,
И все,
Что есть под небесами,
Мы называем
Словом Мир.

Как многослойно
Слово Мир.
У всех существ,
У всех растений.
Их жизнь
В любой ее ступени
Мы называем
Словом Мир.

Как многолико
Слово Мир,
Все вещи,
Названные нами
Пленительными именами,
Мы называем
Словом Мир.

Как разнятся
Его черты
В дистанции
Такой огромной:
Душевный мир
И мир загробный,
Мир ужаса
И красоты.

О, как желанно
Слово Мир!
Когда уже
Миллионы сгубят
И ужасы войны отступят,
Приходит
Долгожданный мир.

Мир - мера
Чести и добру.
При неудаче
И удаче
Стоять перед народом -
Значит,
Стоять все то же -
На миру.

РОЖДЕНИЕ СТРЕКОЗЫ

Прекрасен день,
 Открывший мне глаза,
 На жизнь и мир
 Глядевшие спросонок.
 Я видел,
 Как рождалась стрекоза,
 Высвобождаясь
 Из своих пеленок.

От корневища
 С илистого дна,
 Еще бескрылая,
 По камышинке
 От ночи к свету
 Выползла она
 И задержалась
 В чашечке кувшинки.

Был срок воды.
 Теперь и солнцу срок.
 Перстами света
В теплоте и ласке
Развязан был
 Волшебный узелок
 На темной
 Стрекозиной опояске.

И был порыв,
И спинки бирюза
 Вся выгнулась
 По тайному подсказу.
 Как бережно
 И долго стрекоза
 Вытягивала
 Крыльшки из пазух.

Те крыльшки,
Два легких веерка,
Вдруг распахнулись
И заглянцевели,
Качнулися по воле ветерка,
Затрепетали в блеске
И запели.

И вот летит,
Стрекочет над водой,
И кружится вокруг,
И петли вяжет.
В экстазе
Над кувшинкой золотой,
Вся в трепете
Камаринскую пляшет.

В ней жизнь поет,
О чем поет, бог весть,
И торжествует
Над своей утратой.
А что же смерть?
Быть может, смерть и есть
Высвобождение
Души крылатой!

КЕДРОВАЯ ДОСКА

Усохла плоть,
А воздух так смолист!
Люблю момент,
Когда своей изнанкой
Доска кедровая
Из-под рубанка
Откроется глазам,
Как нотный лист.

У музыки есть цвет.
Держу пари,
Нет цвета
Полнозвучнее средь прочих,
Когда лесной туман
В охладе ночи
Сольется в нем
С полосками зари.

Смотри
И вековую жизнь читай.
Точней и нотнее,
Чем на бумаге,
Читаются
Трагические знаки,
Означенные
Явно и впотовай.

Читай, читай!
Был некий час грозы,
Что отразился
Выше на полтона
Зигзагом молний,
Ожогом стона
И дробным следом
Золотой слезы.
Читай, читай!

Был некий год беды,
Когда, все хлопотливее
К зимовке,
Не появились
Белки и кедровки
В бесплодной кроне,
Сникшей без воды.

Читай, читай!
Он умирал в тот год,
Униженный, без ветра,
Без качанья.
И наступило
Скорбное молчанье
В древесных линиях
Кедровых нот.

Вот новый знак,
Как перелом судьбы,
Вновь грозовые
Слышатся раскаты,
Сильней раскатов
“Аппассионаты”
В порыве новой жизни
И борьбы.

И входит свет
В холодный мрак тоски:
Сегодня в мире
Нет еще маэстро, -
Да что маэстро! -
Нет еще оркестра,
Чтоб разыграть
Симфонию доски.

Когда к постигнешь
Тайны всех замет,
Всю музыку,

Весь аромат живицы,
Благодари
Кедровую страницу,
Погладь рукой
Малиновый рассвет.

Сама земля
О кедре боль таит,
Не зря ему
В березовом подросте
На месте, где он рос,
Как на погосте
Нерукотворный
Памятник стоит.

Есть книг тома
Древнее, чем дома,
В них как школьяр-турист
Входил во все я.
Развалины великого ума
Печальнее развалин Колизея.

У мудрости
Всегда такой удел,
Когда великий свет
Дробят на нимбы.
Потомки на потребу малых дел
Растаскивают каменные глыбы.

Затея реставратора пуста.
С чем прошлое сравню
И чем измерю?
Не верю
В толкователей Христа
И в продолжателей его
Не верю.

О если б
Нам далась такая честь
В наш горький век,
Что праведен и ложен,
И слово уберечь, какое есть,
И камень сохранить,
Каким положен.

Звезда на небе,
Как цветок,
Поднявшийся
В саду небесном.
Когда зацвел,
Нам неизвестно,
Но отцветет и он
В свой срок.

Звезда цветет.
Затем она,
Как плод цветка,
Кубышкой бренной
Взорвется вдруг
И по вселенной
Свои разбросит семена.

Я снова жив.
Того не чаю,
Как встречусь с вами,
Не почив.
Не трогайте меня печалью,
Я слишком счастлив тем, что жив.

Что вспоминать,
Как меркло зренье,
Как память застилала мгла,
Как трудно по сердцу текла
Кровь гибели
И кровь спасенья.

В ожившем сердце
Счастью тесно.
Скажу вам,
Как не говорил,
О том, как жилы отворил
В мое спасенье
Друг безвестный.

Скажу о мирной,
О всесильной,
О крови,
Подоспевшей в срок.
Ее я подвести не мог
Уступкой
Гостье замогильной.

И вот я жив.
Я вас встречаю,
Не позабыв,
Не разлюбив.
Не трогайте меня печалью,
Я слишком счастлив тем,
Что жив.

В небесах
Не витаю,
Не жду запредельных идей,
Даже книг не читаю,
А сразу читаю людей.

И сегодня,
И завтра,
Как начетчик страницами,
Знать не зная, кто автор,
Залюбуюсь их лицами.

Вот
Зачинщица в играх,
Провозвестница новости,
Вся она как эпиграф
Из неначатой повести.

Весь играет игрою
Облик радостно девичий
Озорною строкою
Александра Сергеича.

А вот та
Не балует,
С детства бредит Камчатками,
Не глядит - штемпелюет
Голубыми печатками.

Вот,
Взглянувшая страстно,
С обещанием гибели,
Обожгла и погасла,
Как цитата из библии.

Вот старик на заметке,
У которого всполохом
Наградные планшетки
Отдают еще порохом.

Где ж вот этому место?
Кто он, горько согбительный,
Без открытого текста,
Словно знак вопросительный?

А вот юный и русый,
Весь открыт,
Как на знамени,
До отметки “пять с плюсом”
На труднейшем экзамене.

Славлю новое словом,
Только больно до жалости,
Что и в юном, и в новом
Вижу много от старости.

Все беру
С их настроем!
Пусть, кого ни увижу я,
Обернется героем
Моего троекнижия.

К ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Да, азиаты - мы...

А.Блок

Мы азиаты?..
 Что же!
 Добрым делом
 Крепили мы
 Статут наш вековой.
 Да, да, мы азиаты
 Нашим телом,
 Но европейцы
 Русой головой.

Как долго ты
 Воинственно кичилась,
 И неспроста
 Наш меч тебя карал.
 О сколько раз
 Ты нас
 Заставить тщилась
 Втянуться головою
 За Урал.

И днесь
 Нерой
 Ракетного окопа,
 Не вороши
 Решенного давно.
 Ты все еще
 Пытаешься, Европа,
 Закрыть к себе
 Петровское окно.

Иль снова мир
 Погостами погостить,
 Топить в крови,

Позоре и стыде?
Ты все еще
Пытаешься отбросить
Наш серп и молот,
Взвитые к звезде.

Не тешь себя
В ребяческом огляде,
Не обольщай надеждой,
Что потом
Твой добренький
Заокеанский дядя
Тебя прикроет
Атомным щитом.
Одумайся
И не балуйся Этной,
В ее огне
Дано лишь раз сгорать.
Со смертью не играй,
Игрою смертной
Победы нашей
Не переиграты!

Все седые - семьи одной.
Было запросто, как родне,
Исповедаться ей, седой,
Моей пасмурной седине.

Под осеннюю листовертъ
Закружились ее слова:
- Не успела любовь разглядеть,
А проснулась - уже вдова,

Мне ровесница по пути
Душу жалостью обожгла:
- Не успела двор перейти,
Оглянулась - а жизнь прошла.

Не утешить и не избыть
Слов, дошедших мне до нутра:
- Остается тихо закрыть
За собой
Калитку двора.

Отшатнулся,
Будто спятил:
Что зачать и что родить?
Лист бумаги как распятье,
Чтобы душу пригвоздить.

От листа,
Не веря в чудо,
Отвожу трусливый взгляд,
Жалкий, сам себе Иуда,
Косный, сам себе Пилат.

Неужели
В черной злости
Буду мучиться, как тать?
Боже, надо даже гвозди
Самому изобретать!

Есть и на ярком солнце пятна,
А музам все равно, небось...
Поэзия, не будь всеядна,
Поскольку пятна
Пятнам рознь.

Поэзия,
От боя к бою
Ты задушевней к жизни, но...
Всё, что отвергнуто тобою,
В конце концов обречено.

Когда снега
Метут, шурша,
Как дерева садов,
Тоскует и моя душа
Без отдаенных плодов.
Но пусть, шурша,
Снега метут.
Души не застегну,
В ней почки замысла
Живут
И ждут свою весну.

Весь в надеждах,
Лишь сердце затронь -
Даже мертвый воскресну,
Любя и надеясь.
Согреваюсь,
Пока высекаю огонь,
А когда, запылав,
Разгорится,
Не греюсь.

Головешки костров
Не люблю ворошить,
Вижу будний наш мир
Не глазами, а телом.
Не умею я
Памятью прошлого жить,
Тороплюсь
К небывалым пределам.

Суетливые цели
Не ставлю ни в грош,
Каждодневная радость
Мне даже постыдна.
Юный друг,
Вот когда ты с мое поживешь,
Заскучаешь о дальнем,
Чего и не видно.

В дальний век заглянуть
Сквозь сумятицу лет,
Сквозь туманы фантазий
Изустных и книжных
Все равно что попасть
На одну из планет
И увидеть людей,
Для ума непостижных.

Друг, большая забота
Среди прочих забот
Начала меня мучить
Гдехими ночами:
А туда ли иду,
Куда время зовет,
С тем ли нашенским грузом
Любви и печали?..

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД

Как у русского народа
Уживаются подряд
Два врага, два антипода -
Демократ и бюрократ.

Бюрократов нам хватает,
Потому как в сфере благ
Снега меньше выпадает,
Чем исписанных бумаг.

Не найдешь для точных справок
Всех главенствующих мест -
Министерство,
Главк,
Подглавок,
Управление
И трест.

В этажах еще повыше, -
Дескать, милый, наших знай! -
Есть для местного престижа
Что-то Обл и что-то Рай...

Словом, в лучшем идеале
Возникает вертикаль,
В нижней точке вертикали
Есть своя горизонталь.

Никаких тебе качаний,
Твердо знай - откуда, чей.
Виза есть для оснований,
Для бумаг и для речей.

Наделяют, оделяют,
Вниз и вверх -
Ни дать ни взять

Бюрократы начинают
В демократию играть...

О-хо-хо, не скоро виза
С этакого высока
Приопустится до низа
И дойдет до колоска.

Бюрократы не внакладе,
Бюрократам все равно,
Что на золото в Канаде
Купим нужное зерно.

Только все ж,
Нуждаясь в средствах,
Упłyвающих от нас,
Начинают в министерствах
Пробуждать сознанье масс.

Здесь теперь, как мудрый учит
Не пугаться мелочей,
Демократа даже ищут
Для критических речей.

Вопрошают:
“Кто виновник?
Нет виновника? А жаль!”
Распаляется чиновник,
Потрясая вертикаль.

Гнет размашисто и круто,
Гнет со всею страстью, но...
Вздрагивает почему-то
Только нижнее звено.

Завершились передряги,
Стихли выгромы грозы,
И опять летят бумаги
В эти самые низы...

Жизнь, она не по плакату...
Для какого же рожна
Истинному демократу
Бюрократия нужна?

Демократ - борец, оратор,
Нарушающий уклад,
Демократ - он реставратор,
Богу брат
И черту сват.

Демократ, он тесто месит
С горькой выпечкой в народ,
Демократ из формы лезет
Бюрократ - наоборот.

Для любого содерянья
Форма - норма для него,
Ведь чиновник послушанье
Ценил более всего!

Как-никак, а выгиб спинный
Доблестью не назовешь,
Послушанье с дисциплиной
Путать все-таки негож!

Не на службу стрелы точим,
Не на звания и чин...
Что ж, когда-то, между прочим,
Был чиновником Щедрин.

Тот Щедрин, как знаем все мы,
Тем и знаменитым стал,
Что на родственные темы
Злые сказочки писал.

В силу же каких реалий
Тот щедринский чинодел
Из губернских канцелярий
В наши, братцы, пересел?

И опять летят бумажки
Абы есть и абы пить...
Быть чиновником не тяжко,
Трудно деятелем быть!

Как стану умирать,
Бог даст, не на миру,
Не подходи ко мне,
Являя сердца живость,
Не оживляй во мне
Мою стыдливость,
Вдруг застыжусь тебя
И - не умру!

Любви и ненависти в дар
Я нынче все отдать поклялся,
Чтоб каждый боевой удар
Ударом сердца отзвался.

Чтоб там,
Где русская верста
Под ноги чуждыя упала,
Над тенью черного креста
Звезда России засияла.

КАК СДЕЛАТЬ РАДУГУ

Я секрет не берегу,
Научись всему.

Можно радугу-дугу
Сделать самому.

Все преграды обойдя,
Встань в жаре дневной,
Чтобы солнце у тебя
Было за спиной.

Здесь нужна и прямота,
Что б не очень низко
Полетели изо рта
Водяные брызги.

И тогда ненадолго
Зародится радуга.

Поздним вечером
После приезда,
Выйдя в город с щемящей тоской,
На забытые звуки оркестра
Забредаю я в сад городской.

Все как прежде -
Березки, тропинки,
И в аллеях одна за другой
Милых женщин идут "половинки" -
Одиноких, разбитых войной...

Стой же!..
Легкий на шутку и шалость,
Не спеши им в глаза заглянуть.
Заглянул я, и тихая жалость
Обняла и сдавила мне грудь.

В них я вижу
Надежды свеченье,
А за робкой надеждой в глуби
То погаснет,
То вспыхнет в смущенье
Перед памятью прежней любви.

Доля сердца,
Та мера всем долям,
Повстречай я беспечных франтих,
Их забывчивость стала б мне горем,
Только горше
Мне памятность их.

Дай же бог им,
Разбитым воиною,
Вновь согреться и вновь полюбить.
Что там бог!..
За желанье земное
Их сегодня не богу судить.

БЕРЕЗОВЫЙ СВИТОК

Опять гоненья на березу,
Опять поклонники поэз
Вернулись к праздному вопросу:
Каков ее удельный вес? ..

Она полна заслуги древней
Хотя бы даже берестой
Перед мальчишками деревни,
С их грамотою непростой.

Мы, будущие стихотворцы,
По бедности и простоте,
Как древние новогородцы,
Писали стих на бересте.

Иных еще возьмут завидки,
Когда воскрыв эпох слои,
Найдут березовые свитки
И грамотки прочтут мои.

Как прекрасен
Над лесом
Зари окоем,
Как любезны в песках берега,
Как прекрасны
В наряде венчальном своем
По весне заливные луга.

И стою я
Притихший,
Смиряя свой нрав
Песнопением марьевских птиц,
И глядят на меня
Из некошеных трав
Голубые глаза медуниц.

Здравствуй, милый
Кедрово-березовый край,
С этим лугом, где ноша легка.
Если есть в небесах
Хоть какой-нибудь рай,
В нем должны быть
Такие луга.

Что смерть моя? ..
 Она в беседе дружной
 Не вызовет особых пересуд.
 Друзья мои мой гроб единодушно
 Поднимут за углы и понесут...

И понесут туда неторопливо,
 Где от ветров состарились кресты...
 Процессии навстречу выйдешь ты
 И, как дитя, уставившись пытливо
 На длинный гроб.
 Уста наивно спросят:
 - Не скажете ли мне,
 Кого выносят? ..

На твой вопрос
 Наивный, но сердечный
 Один, быть может, искренне вздохнет:
 - Ах, этот мир, в котором все не вечно!
 Хорошая, здесь уместился тот,
 Которому повсюду было тесно,
 Так тесно было, так нехорошо...

Он широту искал - и вот нашел.

А что еще, не знаю, но известно,
 Как с нежностью почти что неземной
 Он говорил о девушке одной...

Ты бред мой
 В изложении убогом,
 Лишенным даже малых подоплек,
 Завистливым, быть может,
 Встретишь вздохом,
 Хотя тебе и будет невдомек,
 Что это я в предгробовой судьбе
 На смертной грани думал о тебе.

ОЛИМПИЙСКИЙ МОТИВ

Куда спешим?
Зачем?
Застать ли новый век,
Или поспеть в беде
К ковчегу Ноеву? -
У каждого из нас
Свой олимпийский бег
И каждый спотыкается
По-своему.

Казалось бы,
И вовсе не отстал,
А лишний раз вздохнул,
Зовя остуду, -
И вот второй
Встает на пьедестал,
На этом вздохе
Выиграв секунду.

Но ты, поэт,
Не бойся опоздать!
Любя Отчизну,
Как свою невесту,
Успей, мой друг,
Ей новый мир создать,
Чтоб не пришла она
К пустому месту.

Но ты, поэт,
В бряцанье ложных лир
Иль в ярких красках,
Отданных химерам,
Ты, в горестях
Зачавший новый мир,
Каким измеришься
Секундомером?

К СТИХАМ

Не радуясь
Высокому родству,
Смотрю я с болью
На поэмы эти.
Так смотрит мать,
Когда в семье растут
Большой любви
Глухонемые дети.

Не знаю,
Время ли тому виной,
Моя ли кровь,
Как знать,
Мое ли имя?
Вы научились
Говорить со мной,
Но, дети,
Надо ж говорить с другими.

Не избежать
Ни равнодушных глаз,
Ни строгих глаз,
Что видят все пороки.
Хорошие мои,
Быть может, вас
В чужой душе
Задержат на пороге.

Не обижайтесь,
Добрый мир широк,
Не бойтесь
Ни дождя,
Ни зимней стужи.
Возьмите от меня
Терпенья впрок,
К другим идите
И стучитесь в души.

Я уже не с вами,
Я уже не тут.
Я там, где
Птицы райские поют.
Апрель 1984г.

Не собираюсь
Жить в раю,
Да и в аду, поверьте,
Но, мертвый,
Всё же признаю
Своей души
Бессмертье.

Она, как тело, не умрет,
Она за телом не пойдет,
Зачем душе такое тело?
Она, как душам долг велит,
Покинув тело, отлетит
И примется за то же дело.

Начнет она везде летать,
Мои творенья объяснять.
Чужда дешевенькой эстрады.
Начнет она творить добро
За критиков и за бюро
Литературной пропаганды.

Итак, душа
Живет дыша,
Бунтуя в смертном теле.
Умру,
Но будет жить душа
При том же
Умном деле.

До того,
Как средь множества прочих
На твоей появиться земле,
Мимо звезд, набежавших из ночи,
На стальном я летел корабле.

Наши сроки межзвездные кратки:
Там минута - здесь жизнь.
Не таю,
Лишь на время одной пересадки
Забежал я на землю твою.

Забежал,
У огня отогрелся
И так многое сделать хотел,
Но в глаза я твои загляделся
И успеть
Ничего не успел.

А меня уже -
Ты ведь не слышишь -
Мой корабль отдохнувший зовет;
Тише ветра,
Дыханиятише
Он сигналы свои подает.

И хочу я,
Согласно науке,
Чтобы ты уже с первого дня
Бесконечной
Последней разлуки
Улетевшим считала меня.





ПОЭМЫ



Мастер да
Дор Негане

(Однажды, в одн
день, некий он
был спасен?

- я не могу съесть
ночью сыр,
потому что я
обязан
— какое то время;
— это я, как же я
— я в каком всему
— не съест сыр,
когда
и ты — сыр

ПРОДАННАЯ ВЕНЕРА

Я был у старших на примете.
 И вот однажды мне велят
 На комсомольском комитете
 О красоте прочесть доклад.
 Мой вкус был самый деревенский,
 А други просят:
 - Не забудь
 О красоте, ну, знаешь, женской
 В своем докладе помянуть.

А что я знал?
 Что есть сутулость
 И есть девическая стать?
 На чем душа моя споткнулась,
 Не надо мне напоминать.
 И все же будущего ради,
 Марай белые листы,
 Задумал я в своем докладе
 Раскрыть все виды красоты:
 Все то, чем люди восторгались,
 С чем шли, рассеивая мрак.
 Все темы прочие давались,
 А тема женская -
 Никак!

Не помогал мне опыт древний,
 Что лег в пудовые тома...
 Все лезет на глаза деревня,
 Подслеповатые дома,
 И щучьи зубы частокола,
 И ребра старого плетня,
 И школа сельская...
 Та школа
 В которой около меня
 Сидела Граева Наташа...

В те дни она такой была,
Что ничего природа наша
Прекраснее не создала.
В деревне, помню, говорилось
С насмешкой острою, как нож:
- Ты что-то, девка, загордилась -
Как Ната Граева идешь!

Теперь
Хочу увидеть снова
Все то, что память сберегла.
И речка времени былого
Перед глазами потекла.

Избрал я место наудачу
У каменного голыша,
Сижу за кустиком - рыбачу,
Ловчусь перехитрить ерша.
С настойчивостью непонятной
Мечтаю о его клевке
И все смотрю,
Как луч закатный
Разнежился на поплавке.

Не видел я, как по откосу
Прошла она,
Как на песок
Одежду сбросила
И косы
Под синий спрятала платок.

Но видел я,
Как стихли воды,
Когда она к реке прошла -
Фантазия!
Каприз природы!
Причуда света и тепла!

Она, омытая лучами,
 Когда вода коснулась стоп,
 Легонько повела плечами,
 Как будто сбросила озноб.
 Волна пред нею расступилась
 И снова преградила путь...
 Блестели плечи,
 Золотилась
 Ее заносчивая грудь.
 Там,
 Над речною глубиною,
 Произнесли мои уста
 Еще не троганное мною
 Большое слово:
 Красота.

Ничем
 Не помешав Наташе,
 Преодолев блаженный стыд,
 Я подстерег ее тогда же
 У зеленеющих ракит.
 Как, вспоминаю, сердце билось,
 Когда, проплакав полчаса,
 Она пришла. остановилась
 И заглянула мне в глаза!
 Смутилась вдруг,
 Стыдливой стала...
 В моих зрачках -
 Ей-ей, не лгу! -
 Себя, должно быть, увидала,
 Какой была на берегу.
 А старики -
 И это тяжко -
 Судили Нату под гармонь:
 - Конем любуются в упряжке,
 Конь на гульбе
 Еще не конь...

Спеша продлить воспоминанья,
Как в прежние твержу я дни
Знакомое ей заклинанье:
“Ты с глаз моих не уходи!”
Но время воздвигает стены,
И самой страшною стеной
Огни и дымы дней военных
Заколыхались предо мной...

И вскоре
Я ее увидел,
Взглянув на мир из-под руки,
Не на гульбе -
В том самом виде,
Как выражались старики.
Увидел с темными горшками,
Перекаленными в печах,
С шестипудовыми мешками
На перекошенных плечах.

Порядок слов,
Звучавший мило,
Теперь бросал все тело в дрожь:
- Ты что-то, девка, приуныла -
Как Натка Граева идешь!.. -
При встрече
На дороге пыльной
Ее глаза несли мне весть,
Что от работы непосильной
Вся свяла, не успев расцвести.
Лицо обветренно и грубо.
И шла она,
Не шевеля
Губами,
Потому что губы
Потрескались,
Как в зной земля.

Давно успела позабыть,
Что до поры иссохли груди,
Что стала по земле ходить,
Как ходят пожилые люди,
Что живость света и огня
В ее глазах давно заснула.
В мои с надеждой заглянула -
И отшатнулась от меня.
В моих,
Повидевших немало, -
А в них я все сберечь могу! -
Себя в соседстве увидала
С той, прежней, Натой,
Что стояла
Передо мной
На берегу.

Я знал,
Что из морщин бессчетных,
Примеченных издалека,
Любая черточка почетна,
Как честный шрам фронтовика.

За боль,
За раннюю сутулость
Спеши сторицею воздать.
Найди же, чем не стала юность
И чем она могла бы стать!
На чем от самого роженья
Не отразятся
Ни ветра,
Ни мировое потрясенье,
Ни горе одного двора.

Ищи прекрасное на свете,
Суди, оправдывай, вини
И по нетронутой монете
Монету стертую цени.
Не изменив мечтам заветным,
По жизни в поисках пройди.
В каком-то облике бессмертном
Наташу Граеву найди.
Ее судьба да будет вехой,
Повсюду видной хорошо.
Искал я.
И в книжонке ветхой
Ее бессмертье я нашел.
Рука, листавшая устало,
Успела, к счастью, долистать
До той,
Кем милая не стала
И кем она могла бы стать.

Я видел:
В радостном полете
Кисть жизнетворца создала
Всю красоту горячей плоти,
Причуду света и тепла.
Влюбленный и ревнивый гений
В слиянье радости и мук
Набросил матовые тени
На легкие изгибы рук.
Такой легеть туда, где боги!
И он, уже не тратя сил,
Куском парчи,
Упавшим в ноги,
Ее чуть-чуть отяжелил.

Едва приметными мазками
На долгий срок,
На вечный срок

За темными ее зрачками
Свет человеческий зажег.
Тем светом ей
Печаль, тревогу
И горе изгонять дано.
С такой легко искать дорогу,
Когда становится темно.

Она стыдлива без ужимок,
Как та,
Которую я знал...
И это был
Всего лишь снимок,
А где же сам оригинал?
Где рождена?
В какие эры,
В какой из поднебесных стран?
И кто она?
Прочел: "Венера"
А чуть пониже: "Тициан".
И тут же на бумажной сини
Отчетливо и на виду
Приписка: "Собственность России".
Прекрасно!
Я ее найду!

И снова,
В поиски ушедший,
Всем говорю:
Мол, так и так...
Смеются:
- Что за сумасшедший!
Венеру ищет! Вот чудак! -
Какой-то полный незнакомец
Откашлялся и пропыхтел:
- Избаловали!..
Комсомолец,
А то ж - Венеру захотел!

Иду,
Чем дальше, тем смелее
По городу - через снега,
Иду в картинных галереях
Через минувшие века,
Через сокровища народов,
Не падая пред ними ниц,
Через толпу экскурсоводов,
Учеников и учениц.

Переходя от века и веку,
В людской толкаясь тесноте,
Они пришли сюда, как в Мекку,
На поклоненье красоте.
И, красоте той благородной
Себя отдавши целиком,
Тянусь и я к ней,
Как голодный
За хлебным тянется пайком.

Ее ищу я в каждом зале,
В простенках каждого угла.
- У вас Венера не была ли?
- Нет, - отвечают, - не была. -
Вновь объясняю по порядку:
- Амур и зеркало...
Рукой
Венера поправляет прядку... -
Вновь слышу:
- Не было такой.

Но вот совсем неподалеку
Бородка над толпой всплыла.
Блеснуло старческое око
Из-под очков.
- Была! Была!

И вспомнил я,
Как поезд мчался
В лесную родину мою
И я с таким вот повстречался
В металлургическом краю.
Теперь мне вспомнилось,
Как ночью,
В огнях увидев домен ряд,
Похвастал кто-то:
- Между прочим,
Я строил этот комбинат, -
Добавил, ус крутнувши лихо,
Что ставил там прокатный стан,
А старец, вот такой же, тихо
Заметил:
- Вы и Тициан.

Тогда,
Болтавши о многом,
Толкуя обо всем слегка,
Как на обиженнного богом,
Взглянули мы на старика.
И он притих,
Ни об искусстве,
Ни о других делах страны
Уже не говорил,
Лишь с грустью
Посматривал со стороны,
Как спорил с химиком строитель.
Так грустно на исходе дней
Разочарованный родитель
Глядит на выросших детей.

Теперь старик подвижен, светел.
Узнал и вновь не узнаю.
- Вы вспомнили ее'?! -
Ответил:
- Я вспомнил молодость свою. -

Мы шли,
И не было мне странно,
Что говорил он не шутя:
- Вы знаете, у Тициана
Она не первое дитя... -
Дрожало старческое веко,
А он твердил мне об одном:
- Полвека! Да, мой друг, полвека
Я был ее опекуном.

Все черточки лица страдали,
Кривились, будто был он пьян.
- Что ж стало с ней?
- Ее продали.
- Куда?
- Туда... за океан.

Мы продаем
И лес и кожи,
Но красоты нехватка в нас!
Едва ли нужен и возможен
Большого горя пересказ.
Он знал,
Что жили небогато,
И ведал, продана зачем,
Но только личные утраты
Не восполняются ничем...
Когда
В Магнитогорске рыли
Для первой домны котлован,
Она плыла за океан.
Навстречу ей машины плыли.
Он говорил об этой встрече
Так,
Словно сам с ней в рабство плыл.
- Я парусиною прикрыл
Ее блистательные плечи. -

Он рисовал мне
Небо в тучах,
Над палубой туман густой...

За красоту времен грядущих
Мы заплатили красотой.

И с ней,
Не встретясь,
Я простился.
Нерадостен был мой уход.

Заснул я поздно.
Мне приснился
Металлургический завод.
Мне снились волны
В кудрях пены,
Бегущие за край Земли,
Мне снились грузные мартены,
Похожие на корабли.
Пусть окна в них
Прикрыты плотно
И лишь на каждом красный глаз.
Но и в зашторенные окна
Бьет пламя,
Обжигая нас.

Но что такое?!

Шум стозвучный
Вдруг стих, рассеялся угар.
С открытым ртом стоит подручный,
Бородку щиплет сталевар.
В глазах у парня бес запрыгал,
И не возьму никак я в толк,
С чего он громко загыгыкал:

- Гы, баба!.. Голая!.. -
И смолк.

Гляжу я,
Тоже ошарашен,
Дивлюсь, как на печной пролет
Походкой легкою Наташи
Венера русая идет.
Боса, парчой полуприкрыта
В угоду прежним временам,
На крошки ступит доломита,
Поморщится -
И снова к нам.
Глядит все пристальней,
Все строже.
Ни слова нам не оброня.
Хочу, мол, посмотреть,
За что же
Вы про...
Вы отдали меня.

Старик,
Тихонько увлекая
Меня от гости и зевак,
Спросил негромко:
- Кто такая? -
Я мастеру: мол, так и так...
Мол, помните,
Когда здесь рыли
Для первой домны котлован,
Она плыла за океан.
Навстречу ей машины плыли.

И мастер,
Подошедши близко.
Остановился перед ней
И поклонился низко-низко,

Сняв кепку с головы своей...
Помедлил,
Дав словам отсрочку,
Потом, прижав ладонь к груди,
Заговорил:
- Прости нас, дочка...
Все видела, теперь суди.
Бывало, бьюсь,
Из кожи лезу,
И недопью, и недоем.
Мы пропадали без железа,
И рабство нам грозило
Всем.
Как строились,
Душой болея,
Ты, вечная, нас не поймешь.
И что тебе!
Ты, не старея,
До коммунизма доживешь.
Захочешь жить у нас, к примеру, -
Гости без никаких бумаг... -
Старик вздохнул:
- Вот так, Венера...
По батюшке не знаю как.

Я посмотрел
И вздрогнул даже.
В горячем отблеске огня
Уж не Венера,
А Наташа
С укором смотрит на меня.
Вновь покорила
Ясность взора
Глаз темных, затаивших зов,
Как затененные озера
Среди нехоженых лесов.
В них, укрываясь от напастей

Души глубинной чистотой,
Надежда на большое счастье
Все ходит рыбкой золотой.

Друзья не сразу догадались,
Что говорит она со мной:
- Вы перед вечной оправдались,
Попробуйте перед земной...

Не знаю,
Так ли я ответил,
Когда в суровой простоте
На комсомольском комитете
Читал доклад о красоте.
Встречая взглядом
Взгляд сердечный
Сидевших прямо предо мной,
Я с грустью говорил о вечной
И с болью вспомнил о земной.

Я говорил,
Как перед Натой:
История от первых дней
Ни перед кем не виновата, -
Виновны только перед ней.
Одной цепи я вижу звенья,
Сработанные не вчера:
И мировые потрясенья,
И горе одного двора.
На все
Я в жизни вижу отклик,
От горя к радости мосты.
Судьба Наташи - это подвиг.
А подвиг стоит красоты.

Глазами встретившись с одною:

- Ты знаешь ли, - сказал я ей, -

Какой заплачено ценою

За легкий взлет

Твоих бровей? -

Не знаю, так ли

Двум мальчишкам,

Зевнувшим нехотя в кулак,

Сказал и, может, строго слишком.

Послушайте,

Сказал я так:

- Все позабудется на свете,

Все сгладится в конце концов.

Вам, избалованные дети,

Не вспомнить бедности отцов.

Вам подавай лишь то, что мило,

Красавицу и сад в цвету.

Кровь пролилась,

А не чернила

В сражениях за красоту.

Вам огорчительно до боли,

Вам оскорбительно до слез,

Что материнские мозоли

Не пахнут лепестками роз.

Наташи прежней мы не встретим,

Но людям жить и быть красе.

На этот раз уже не детям,

На этот раз сказал я всем:

- Рост красоты по дням и годам

Мы обеспечим - верю я,

Как обеспечен курс рубля

Всем достоянием народным!

Мечтатель,

Верный почитатель

Земных красот,

Признайся, брат,
Что виноват,
И я, читатель,
С тобой в растратах виноват.
Мы равнодушны и незрячи,
Не знаем,
Что смелей резца
Моя ль,
Страны ли неудача,
Морщинку складку обозначив,
Коснется каждого лица.
Судьбу,
Сгибающую лучших,
Мы не берем за горло:
“Стой!”
За красоту
Людей живущих,
За красоту времен грядущих
Мы заплатили красотой.
1956

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

О любви,
О гордой жизни деда
Я, приписанный к его судьбе,
Не в семейной хронике разведал,
Я ее разведал по себе.
Жить бы,
Молодых бровей не хмуря,
Но беда похожа на беду
Только потому, что жизни буря
Прошумела у меня в роду.
Принял я тревожное наследье,
По нему былое узнаю...

Но пора!
Отбросим полстолетья
И вернемся в Марьевку мою.

С вызовом
Выбрасывая звоны,
Молотом играет Харитон.
“Будь покорен”, - говорят законы.
Только Харитону что закон!
Молодой,
Лицом и телом ладный,
Лошадь зашибавший кулаком,
То, что величаем мы кувалдой.
Называл он просто молотком.
У него в руках железо пело,
У него от жаркого труда
На лице румяном накипела
Черная с рыжинкой борода.
Что ему,
Когда он сам как главный.
По тайге на сотню верст вокруг
Лишь один ему по силе равный,
Да и тот ему любезный друг.
Не один опустит злое око,
Как пойдут они на шумный яр,
Харитон, поднявшийся высоко,
И в плечах раздавшийся Назар.
Как придут они туда да стукнут
С силой, застоявшейся в ногах,
Аж леса окрестные аукнут,
Озеро качнется в берегах,
Сила их носила, возносила
Над безумьем деревенских драк.
Лишь однажды их лесную силу
Подлость одолела...

Было так:
Крики,
Свисты.
Это всею сходкой
Старосте Царьку деревней всей
Жеребца ловили, пятигодка,

Самых удивительных кровей.
 Рыжий, как огонь,
 Как ветер скорый,
 Он скакал меж криками:
 "Гони!.."
 На подворьях рушились заборы,
 В огородах падали плетни.

- Эй, ты, нелюдь! - голос Харитона
 Резанул хозяину нутро. -
 Ставь, Царек, ведерко перегона,
 Мы пымааем!
 - Полведра.
 - Ведро!

Сговорились.
 В узенький проулок
 Встали други, каждый крепколап.
 Стук копыт, как на морозе, гулок,
 Дик и устрашающ конский храп.
 Из ноздрей - белесые колечки,
 Хвост и грива брошены вразмет.
 От него, как от горячей печки,
 Еще задаль жаром обдает.
 Взвился на дыбы,
 Да мало толку.
 Харитон, лицом почужа жар,
 Левою рукой схватил за холку,
 Правой за ногу...
 А тут Назар!..
 Под железной дедовой рукою
 Падать к человеческим ногам
 С гордостью и кротостью такою
 Было бы не стыдно и богам.

И Царек уж тряс друзей за плечи,
 Уговаривая и браня:
 - Черти некрещеные, полегче,

Не губите доброго коня! -
 А потом, ругая Харитона,
 На его сподвижника ворча,
 Вынес им ведро - не перегона,
 Ладно и того, что первача.

Был бы там,
 Решился бы, спросил я,
 Отчего был дед на зелье лют,
 Почему сыны твои, Россия,
 Больше всех на свете водку пьют?
 Почему?..
 Не надо удивляться.
 Наши деды по нужде, поверь,
 Пили столько,
 Что опохмеляться
 Внукам их
 Приходится теперь.
 - Пей!.. Гуляй!.. -
 Царек косил на пьющих,
 Замышляя что-то против них,
 Непокорных,
 Власть не признающих,
 Непохожих в жизни на других.
 Подчинясь его, Царьковой, воле,
 На того, кто стал им не с руки,
 Расхрабрились,
 Выломали колья
 Харитона злые шуряки.

Не загем роднились с ним
 Три брата,
 Чтобы он с железною рукой
 От жены из их семьи богатой,
 Значит, и от них,
 Пошел к другой.
 За позор сестры они платили,
 Как не платят за разор врагу,
 Другов били,

Другов молотили,
Как снопы молотят на току.
Не было отпора низколобым.
И как стало на дворе темно,
Положили рядом их,
Всем скопом,
Закатили на груди бревно.

Ночь,
И освежая и врачуя,
Укрепила их глубоким сном,
Харитон очнулся.
- Чуешь?..
- Чую... -
Харитон опять:
- Дыхнем?
- Дыхнем.

Как очнулись -
Сила воротилась,
Отданная ими за вино,
Как дыхнули,
Так и покатилось,
Будто с горки,
Толстое бревно.
На широкой выспались постели,
Пестряди домашней не стеля.
Встали,
Обнялись,
Пошли,
Запели,
Шурякам покоя не суля:

“У солдатки
Губы сладки,
У вдовы
Как медовы,
У законной у жены
Как ковриги аржаны...”

Было так:
Дыша прохладой леса,
Раздвигая темень хвойных штор,
К лиственнице крепкой, как железо,
Шел кузнец испытывать топор.
Пело сердце,
В листьях пели птахи.
Что там птахи, коль, всегда тихи,
На посконной праздничной рубахе
Выщитые пели петухи.
Он и сам запел...
Но, зло пророча,
В развеселый птичий переклик
Подмешалась трескотня сорочья,
Треск валежника
И женский крик.

Он раздвинул бремя навесное
И увидел, глядя в полумрак,
Как шаталось чудище лесное,
Жадно щуря маслянистый зрак.
В страхе пятилась,
С малиной сладкой
Прижимая к сердцу туесок,
Глаша, темнокосая солдатка,
От большой беды
На волосок.

Видел он,
Успев осатаниться
И откинуть руку на замах,
Как метались синие зарницы
В темных
Перепуганных глазах.
Не сосна

В минуту буревала -
На густой малинник, как гора,
Старая медведица упала,
Острого отведав топора.
И лежала после этой схватки,
Разодрав одежду о кусты,
Глаша, тонкобровая солдатка,
В полном цвете бабьей красоты.

Будто видел он совсем другую,
От которой глаз не отвернуть,
И смотрел на белую, тугую,
Ягодой осыпанную грудь.
А когда, забыв про поединок,
Нес ее в народную мольву,
Изо всех веселых ягодинок
Только две не падали в траву.

Его сердце
К сердцу Глаши льнуло.
Чтобы одиноко не стучать,
Сердце Харитона подтолкнуло
Сердце,
Переставшее стучать.
Изо всех чудес лесного мира
Лишь она была нужней всего.
Нес и повторял:
- Очнись, Глафира!.. -
И она очнулась для него.

И пока донес,
Легко ступая,
Мягкою травою не шурша,
Темная
Крестьянская,
Скупая
Нежностью истаяла душа.

И однажды
 Ночью черно-бурой
 Он пришел, наветам вопреки,
 Бросил на порог медвежью шкуру
 И о шкуру вытер сапоги.
 Грубый,
 В домотканое одетый,
 Не читавший даже букваря,
 Он сказал, как говорят поэты:
 - Золотая искорка моя!

Все, чем жил,
 Вдруг стало жизнью дальней.
 Он для Глаши душу отворил
 И ковал на звонкой наковальне,
 Будто с ней все время говорил.
 Как умеет петь металл горячий!
 Чем краснее он и горячей,
 Тем певучей,
 Искренней и мягче
 Благородный тон его речей.
 Обожжется молот и запляшет
 Пьяным дружкой в свадебном чаду,
 И звенит он:
 “Глаша! Глаша! Глаша!..”
 И зовет он:
 “Жду!.. Жду!.. Жду!..”

Звон условный.
 Глашу зазывая,
 Долетал и до того окна,
 Где сидела, тоже не глухая,
 Хмуряя законная жена.
 Помнит: сговорились не сердцами.
 Помнит: в торге, долгом и скромом,

Было все устроено отцами,
Скреплено законом и попом.
Не поможет мамкина икона,
Бабушек даренье - образа,
Если выше всякого закона
Оказались Глашкины глаза.
Бог дает и радости и муки,
Только непонятно, - хоть убей! -
Почему же нынче божьи руки
Оказались Глашкиных слабей?

Руки Глаши
Если обовьются,
Их уже ничем не разорвать.
Губы Глаши
Если улыбнутся,
До сухоты будешь тосковать.
Сердце Глаши!
Дай ему раскрыться -
И увидишь счастье в тайнике.
А ресницы?
В Глашиных ресницах
Заблудиться легче, чем в тайге.
Ласки Глаши!
Ласковые ласки -
И огонь, и сладкий хмель вина...
И сосна,
Чтоб не было огласки,
Все гудит над ними, как струна.

Станет Глаша
Пьяной и незрячей,
Чтобы дома,
Радуясь опять.
С белой кофты след руки горячей
С гордою улыбкой замывать.
Не пристала к ней тоска-забота

Даже в день,
Когда ей, как враги,
Дегтем разукрасили ворота
Милого лихие шуряки.

Харитону что?!

Опять смеется,
Смелого ничто не устрашит.
А солдат с войны к жене вернется,
Если вражья пуля разрешит.
Вражья пуля многих порешила,
Положила в сопках отдыхать,
А ему, Игнату, разрешила
Дорогую Глашу повидать.
Все она Игнату прежней снится,
В теплом свете марьевской зари.
Замолчи, услужливый возница,
Ничего о ней не говори!..
Как тайга,
Лицо солдата хмуро,
Будто защищавшему редут
Павшие твердыни Порт-Артура
Все еще покоя не дают.
Все непрочно,
Слишком скоротечно
Для солдат, ходивших на войну.
Царь одно из двух давал навечно:
Смерть на фронте,
А в тылу - жену.
Лишь она приписывалась прочно.
Потому и нес для жизни впрок
Из далекой
Из земли восточной
Спрятанный в бутылке тополек.

Вот и двор,
Солдат перекрестился,
Ручеек по плахе перешел.
Хорошо, что дом не покосился
И целы ворота. Хорошо!
Хорошо, что двор не оголила.
На воротах, чтобы все по ней,
Старые дощечки поскоблила,
Тоже ладно -
Этак веселей.
Мудрость жизни -
Вот за службу платя.
И жену, какой бы ни была.
Десять лет служившему солдату
Спрашивать не надо,
Как жила.
В приступ жажды
Пьющего из чаши
Обожжет и студная струя.
Будто и глазам не верил.
- Глаша?! -
Подтвердила:
- Я, Игнаша, я...

Пусть жена
Не так, как надо, встретит.
Все равно солдат от счастья слеп.
Долго голодавший не заметит,
Мягкий или черствый
Ест он хлеб...

Как встречала да привечала,
От людей не утаишь...
Отчего ты, кузня, замолчала,
Отчего, как прежде, не звенишь?
Или твой кузнец уже не молод,
Или с другом сел за бражный стол?

Как узнал он
Да как поднял молот -
Б - бах!.. -
И наковальню расколол.

И, таежной мерой горе меря,
Он метался в хвойной темноте:
- Где вы тут, невиданные звери,
Я зову вас, отвечайте, где?..

Зверь не шел.
И сам, как зверь косматый,
На душе которого темно,
Он прибрел на пиршество солдата
Под резное Глашино окно.
В доме пили,
В доме песни пели.
Не при нем, метавшемся в тоске,
Половицы старые скрипели
И горшки гремели на шестке.

А у ног его
Дрожал росточек
Самой неприметной высоты.
Тополька единственный листочек
Трогал свет мигающей звезды.
В диком буйстве богатырской крови,
В час обиды на душу тяжел,
Поднял Харитон сапог в подкове,
Будто виноватого нашел.
А листочек вдруг засеребрился,
Вроде запросил:
“Не будь жесток!..”
Подобрел и рядом опустился
Харитона кованый сапог.

На семейном пиршестве ненужный,
Он ушел в рассветную зарю.

До сих пор за шаг великодушный
Я тебя, мой дед, благодарю.

О беде понятья не имея,
Тополь рос и, кривенький, прямел
Он потом над юностью моюю,
Над моей любовью прошумел.
Горе и теперь в сердца стучится,
Но сердца вольны
Вступать с ним в бой.
И со мною не могло случиться,
Что случилось некогда с тобой.

На березках -
Желтые платочки.
Появились, лету вопреки,
Листьев золотая оторочка
На зеленом поясе тайги.
И зима проворными перстами
К Глашиному дому
Все пути
Застелила белыми холстами:
Коли смел, попробуй наступи!

И, леса густые облетая,
Чтоб изгнать из памяти весну,
В белые меха из горностая
Нарядила каждую сосну.
И не только лес зиме поддался,
Даже люди, взятые в полон,
Белизной утешились.
Остался
Неутешным только Харитон...
Не звони,
Не наводи истомы!..
Как пойти ей на такой набат,

Если каждый след ее от дома
 Заприметит пасмурный Игнат?
 Но была в надрывном звоне сила,
 Пред которой Глаша не вольна.
 Вышла на крыльцо,
 С крыльца ступала,
 На окно лицо оборотила,
 Стала к кузне пятиться она.

Видишь, муж,
 Домой ведут следочки.
 Пятится -
 И в луночке любой
 Тяжело печатаются строчки
 Валенок, простеганных тобой.
 Пятится она к желанной цели.
 И больнее, чем дано рукам,
 Белый снег
 Поднявшейся метели
 Бьет ее с размаху по щекам.
 Только бы дойти,
 Не оступиться!..
 А метель, проклятая, метет,
 Индевеют темные ресницы,
 Стынут слезы,
 Но она идет...

Берегись, жена,
 Придет расплата
 За твою бессовестную ложь!..
 С пулями хитрившего солдата
 Ложным следом ты не проведешь.
 Десять лет ему, солдату, лгали,
 Правду-матку пряча за мундир.
 Десять лет солдатом помыкали.
 Нынче сам он бог и командир!

Ты солдата не смягчишь слезами,
Он еще свою покажет власть...
Ведь недаром под его усами
Горькая усмешка прижилась.
У него своя игра с женою:
Упредил и не шумит пока,
Чтобы этой ложной тишиною,
Как на фронте,
Обмануть врага.

Стоит лишь солдату отлучиться,
Сделать вид, что конь его умчал,
Харитон в окошко постучится..
Так и вышло,
Дед мой постучал.

Глаша стук условный не забыла,
Выбежала в сенцы в чем была,
Торопливо двери отворила,
В горницу, как прежде, провела.
Не успел желанный гость раздеться,
Не успел прижать ее к груди,
Стук раздался...
Никуда не деться.,
Может, кто другой?
Пересиди.

Вышла Глаша.
Руки, леденея,
Поступают с мыслями не в лад.
Отворила.
Вырос перед нею
С прежнею усмешкою Игнат.
Прошагал лениво мимо Глаши,
Не сказав ни слова, не кивнув.
Прошагал в передний угол.
Даже
В круглые глаза не заглянув.

Он своей не изменил походки
 И спокойно, будто не был зол,
 Полную бутыль казенной водки
 Из кармана
 Выставил на стол,
 Шубу снял.
 И молвил тихо, странно,
 Словно пересиливая хворь:
 - Принеси-ка, Глаша, два стакана
 Да закуску малую спроворь.

И легли,
 Храненные особо,
 На тарелку,
 Словно близнецы.
 В золотистых крапинках укропа
 Крепкого посоля огурцы.
 Одарил улыбкою скupoю,
 От которой набежала дрожь,
 Положил Игнат перед собою
 Вместо вилки свой солдатский нож
 И сказал, давая волю блажи:
 - Харитон! Не прячься, выходи.
 Посидел, помиловался с Глашой,
 А теперь со мною посиди!..

Поначалу будто и не слышал,
 А потом, намучившись в углу,
 Поразмыслил Харитон и вышел
 Из веселой горенки к столу.
 А Игнат полюбовался зельем
 И спросил, не торопясь разлить:
 - Что же, как жену с тобою делим,
 Так и водку поровну делить?

Два стакана
 В тайном гореванье
 Разом над столом приподнялись.

Стукнулись шлифованные грани,
Звякнули -
И мирно разошлись.
Молча выпили по мере русской.
Тут Игнат, недобрый глаз скосив,
Острием ножа поддел закуску,
Сунул в губы гостю:
- Закуси!.. -
Замер гость.
И зубы сжались сами.
Напрягая шею, не дыша,
Огуречный ломтик он губами,
Мускулом не дрогнув, снял с ножа.
Гость жует.
Игнат ему ни слова.
С гневом, накопившимся в душе,
Снова наливает он...
И снова
Подает закуску на ноже.
- Закуси!.. -
И снова испытанье,
Но теперь в жестокой тишине
Каждый слышит трудное дыханье
Глаши,
Прислонившейся к стене.
Вновь полны стаканы,
С третьим звоном,
С третьим подношением ножа,
Глаша на пол рухнула со стоном...
Встал Игнат.
- Ну, погостили - и ша!..

Что теперь?
Куда податься силе
С первой сединою на висках?
Самого поймали и скрутили,

Как того, Царькова, рысака.
После угощения солдата
Стала Харитону жизнь тошна:
Страшен был не острый нож Игната,
А неволя Глашина страшна.
Радость жизни обернулась пыткой.
Харитону тоже нелегко...
И с полатей дети - Мотька с Митькой -
С любопытством смотрят на него.
Жаль их! Жаль...
Но ни душой, ни телом
Вновь он не приkleится к жене.
Два куска железа,
Что ни делай,
Не сварить на маленьком огне.

Так бы жил,
Тяжелый и суровый,
В чистоте любви непогрешим...

Надоумил человек торговый,
Ехавший с обозом на Ишим.
Он сказал:
Мол, зря тут держиши силу.
В той сторонке, где встает заря,
Набредешь на золотую жилу -
И дойдешь, богатый, до царя.
Сесть с тобою он сочтет за благо, -
Золото и для царей не сор.
Будешь кушать царскую кулагу
И вести неспешный разговор.
То да се...
Посколько он в короне,
Так и быть уж, сделаешь поклон,
Намекнешь о Глаше, о законе.
Царь мигнет -
И побоку закон.

Пригревая,
Шла весна полями,
С появлением первой теплоты
Желтыми мохнатыми шмелями
Вылупились вербные цветы.
Шла весна
Под спевку птичьих хоров,
Осыпая почками кусты.
Шла весна
И с тихих косогоров
Скатывала белые холсты.

Вот и Пасха.
Дни загорячели,
Загуляли люди на селе,
Закачались на яру качели.
Кто плясал, кто пел навеселе.
В пестроту дешевенького ситца,
Невеселый, сдержаненный в речах,
Вышел Харитон
С людьми проститься,
Вынес Митьку с Мотькой на плечах.

Нес их от лужайки до лужайки,
Нес их к яру, выйдя на межу.
- Ухожу
Детей не обижайте,
Не от них - от горя ухожу... -
Нес любимых,
На себя похожих.
И все трое - головы в поклон.
- Тышша поманила, Харитоша? -
Как услышал, замер Харитон
И сказал, подняв детей повыше:
- Вот моя тышша!..
И вот моя тышша!..

И ушел.
 Он был на это волен...
 Долго-долго, бледная с зимы,
 Глаша из-за тонких частоколин
 Все смотрела вслед, как из тюрьмы...
 Проводила тайными слезами,
 Пожелала, чтоб дошел до той,
 Где-то за горами и лесами
 Скрытой богом
 Жилы золотой.

Взяли жизнь
 Таежные химеры.
 Не ему везло - везло другим.
 Ни в одном краю миллиона
 Не встречали с именем таким.
 День за днем
 У памяти на страже,
 Верст на сотни ставшие подряд,
 Здесь, в тайге,
 И в Марьевке для Глаши
 Сосны одинаково шумят.

Лунными
 Тревожными ночами
 Снится ей один и тот же сон:
 За рекой с неслышными речами
 Одиноко ходит Харитон.
 Дальний берег
 Залит лунным светом.
 Манит он ее, зовет: "Иди!.."
 А она на берегу на этом
 И никак не может перейти.

Весть пришла:
 Живет он небогато,
 Не дается золото ему,

И сбежала Глаша от Игната,
Не во сне сбежала -
Наяву.
И никто не рассказал толково,
Как ей отыскать любовь свою.
Думала, красивого такого
Разве же не знают в том краю!

Мир огромен.
Как под низкой тучей,
Что черна была и тяжела,
Шла Глафира по тайге дремучей,
К Харитону шла -
И не дошла...
Но уже
Решительно ступала
Революция с ружьем в руке,
Топором крестьянским прорубала
Просеки в нехоженой тайге.

Гордый дед мой,
Натрудив ладони,
Самородных жил не отворил,
Но с царем о Глаше,
О законе
Все же Харитон поговорил.

Верю:
Вспоминая о Глафире,
Щел он в бой...
И где-то у Читы
В павшем партизанском командире
Признавали дедовы черты.
1957

БЕТХОВЕН

Он счастья ждал...

Когда ему дались
Все звуки мира -
От громов гремучих
До лепета листвы;
Когда дались
Таинственные звуки полуночи:
Шуршанье звезд
На пологе небес
И лунный свет,
Как песня белой пряжи,
Бегущей вниз...

Когда ему дались
Все краски звуков:
Красный цвет набата,
Малиновый распев колоколов,
Далась ручьев
Серебряная радость,
Дались безмолвья
Черная тоска
И бурое кипенье
Преисподней...

Когда ему дались
И подчинились
Все звуки мира
И когда дались
Все краски звуков, -
Молодой и гордый,
Как юный бог,
Стоящий на горе,
Решил он силу их
На зло обрушить.

Закрылся он,
Подобно колдуну,
Что делает из трав
Настой целебный.
И образ он призвал
Любви своей,
Отдав всю страсть
Высоким заклинаньям.

На зов его,
На тайное “приди”
С улыбкою,
Застенчивой и милой,
С глазами тихими,
Как вечера,
Вошла Любовь,
Напуганная жизнью.

Вошла Любовь,
Печальна и бледна.
Но чем печальнее
Она казалась,
Чем беззащитнее
Была она,
Тем больше сил
Для битвы
В нем рождалось.

Уже потом
От грома,
От огня,
От ветра,
От воды,
От сдвигов горных
Он взял себе такое,
Перед чем
В невольном страхе
Люди трепетали.

Когда же это все
Соединилось
И стало тем,
Что музыкой зовется,
Пришли к нему
На гордое служенье
Апостолы
Добра и Красоты.

Они пришли
И принесли с собою
Валторны,
Флейты,
Скрипки,
Контрабасы,
Виолончели,
Трубы и литавры,
Как верные его ученики.

По знаку
Бурное его творенье
Со злом
За счастье
Начало боренье,
За чистоту,
За красоту страстей,
С жестокостью,
С пороками людей.

В громах и бурях
Небывалой мощи.
Преодолев презрение свое,
Он полоскал их души,
Как полоцут
В потоке чистом
Старое белье.
И вот уже.

Испытывая жажду
Добра,
Любви,
Красивой и большой,
Томились люди
И тянулся каждый
За просветлевшею
Своей душой.

Недоброд
И пагубное руша,
В борении
Не становясь грубей,
Он вскидывал
Спасенные им души
И в зал бросал,
Как белых голубей.
Великие
Преодолев мученья,
Всей силою
Своих волшебных чар
Он победил.
И мир его встречал
Слезами
И восторгом
Очищенья.

Он вышел в ночь
Сказать свое спасибо
Громам,
Ветрам,
Луне золотобокой,
Сказать спасибо
Водам серебристым
И поклониться
Травам и цветам.

Он проходил
И говорил спасибо
Высоким звездам,
Что ему свестили,
Косматым сосновам,
Рыжим тропкам леса
И перелетным иволгам
В лесу.

А на заре.
Когда он возвращался
К своей Любви,
Раздав благодаренья,
У городских ворот
С ухмылкой мерзкой
Несправедливость
Встретила его.

- Ты зло хотел убить, -
Она сказала. -
Убей свою любимую сначала.
Любовь тебе, великий,
Изменила,
Тебя
Пустому сердцу предпочла.

Он был упрям
И сразу не поверил,
Все шел и шел.
Гонимый той же страстью,
Все шел и шел,
Пока лицо Измены
Не подступило вдруг
К его лицу.

Бетховен вздрогнул
И остановился,
Закрыв глаза

От горя и обиды,
И, голову клоня
Перед судьбою,
Взревел,
Как бык,
Ударенный бичом.

И лоб его,
Досель не омраченный,
Тогда и рассекла
Кривая складка,
Что перешла потом
На белый мрамор
И сохранилась в камне
На века.

Убитый горем,
Он восстал из праха,
Тряхнул своей
Бетховенскою гривой,
Сжал побелевшие
От гнева губы
И стал опять
Похожим на бойца.

- Ты сгинешь, зло, -
Грозил ему Бетховен,
А вместе с ним
Грозил и всем порокам, -
Вы все-таки погибнете,
Пороки,
Умрете, -
Он сказал, -
В утробе зла!

Постыдные,
Сегодня вы живете
Лишь только потому,

Что я ошибся,
Лишь только потому,
Что в нетерпенье
Не соразмерил
Голоса стихий.

Людское зло
Я изгонял громами,
Людской порок
Я изгонял огнями,
Не догадавшись вовремя,
Что ими и без того
Уже разбужен страх.

На этот раз
Начну совсем иначе,
Возьму в расчет
Совсем иные силы.
Я поступал
Как гневный небожитель,
А поступлю
Как скорбный человек.

На этот раз
Из всех звучаний мира
Все нежное
Возьму себе в подмогу,
И то,
Чего не сделал
Страхом кары,
Свершу любовью я
И красотой.

Закрылся он,
Подобно колдунау,
Что делает из трав
Настой целебный,
Призвал на помошь

Горести свои,
Чтоб силу дать
Страстям исповедальным.

Теперь он взял
От всех земных красот:
От птиц,
От зорь,
От всех цветов,
От речек -
Все чистое,
Все доброе, чему
В любви притворной
Люди поклонялись.

Все это взял он,
Как пчела нектар,
Как листья свет,
Как темный корень влагу.
Все это взял он
И соединил
Своей неутоленною
Печалью.

Соединив,
Разъял,
Как белый свет
На переливы радуг
Семицветных
Разъять способны
Капельки дождя,
Когда они
Встречаются с лучами.

Еще разъял -
И с потного листа
Глядели знаки
Красоты дробимой.

Так нужно было,
Ибо красота
Лишь в чистом сердце
Станет неделимой.

- Да сгинет зло! -
Сказал себе Бетховен,
В зал поглядел
И пригрозил порокам:
- Вы все-таки погибнете,
Пороки,
Умрете вы
В самой утробе зла!

Он подал знак,
И в сутеми вечерней
Запели скрипки
И виолончели.
И повели,
Перемежая речи,
По горестным
Извилинам души
В тревожный мир
Исканий человечьих,
В тот новый мир,
Где не бывает лжи.

И юных повели,
И поседелых,
И павших всех,
И не успевших пасть -
За самые далекие пределы,
Где злое все
Утрачивает власть.

Они вели
К той милой,
Чистой,
Гордой,

К Возлюбленной,
Чье имя Красота,
Дойти к которой
По дороге горной
Всю жизнь мешала им
Недоброта.

И отреклись они
От жизни прошлой,
Порочной и корыстной,
В первый раз
Не от беды,
Не от обиды ложной
Заплакали,
Уже не пряча глаз.

Как дровосек
Со лбом разгоряченным,
Усталым жестом
Смахивая пот,
Он поклонился
Ново обращенным
И вышел в ночь
Из городских ворот.

Он вышел в ночь,
Сказал свое спасибо
Лесам,
Полям,
Создавшим человека,
И потому
Со дня его рожденья
Имеющим над ним
Большую власть.

- Я победил! -
Торжествовал Бетховен. -
Я победил! -
В порыве благодарном

Унал на травы он,
Раскинул руки
И прошептал земле:
- Благодарю!

Земля молчала,
И молчали птицы,
Леса молчали,
И молчали реки.
- Что вы молчите? -
Закричал Бетховен
И не услышал
Крика своего.

До сей поры
Он не был одиноким:
Друзья ушли -
Любимая осталась,
Любимая ушла -
Была природа...
Теперь сама природа
Отреклась.

Когда он шел
Дорогою безмолвья,
Его опять
На перекрестке жизни
Уже беззвучным смехом
Повстречало
Убитое
И проклятое зло.

Бетховен побледнел,
Остановился.
Нахмурил лоб
Под гривой богоборца,
С глубин души

Призвал для битвы звуки -
И тайным слухом
Он услышал их.

И победил
Сраженный победитель.
В борьбе со злом
Постиг он все законы.
Зло изощрялось
В хитрости,
В коварстве -
В искусстве добром
Изошмялся он.

И лоб его,
Отмеченный скорбями,
Еще не раз
Пересекали складки,
Что перешли потом
На белый мрамор
И сохранились в камне
На века.

1961

ЗЕМЛЯ И ВЕГА

- Летим!
 - Куда летим?
 - Летим к далекой Веге. -
 Посадка.
 Взрыв.
 И мы в стальном ковчеге.
 Спешим в бреду
 Космической езды
 На праздник основания звезды.
 Летим сквозь ужас
 Темноты кромешной
 В мир молодой,
 Безбрежный
 И безгрешный.
 Летим
 К полуза�отым детским снам...
 Земные жены надоели нам.

Все позабудь.
 Все связи оборви.
 Кровь остуди.
 Угомони смятенье.
 Нет, все же тяготение любви
 Всесильней,
 Чем земное тяготенье.

Ночь.
 Ночь.
И ночь.
 Здесь не бывает дия.
 Мы средь миров блуждающих
 Повисли.
 Чем невесомей тело у **меня**,
 Тем тяжелей.
 Тем полновесней мысли.
 О эти мысли!
 Как-то невзначай

Сказал “прощай” -
И стало вероломным,
И стало это самое “прощай”
Таким тяжелым
И таким огромным!

Земля!
Тревожно за нее порой,
Как будто в тесном доме
Без привычки
Детей своих оставил за игрой
И не прибрал
И не припрятал спички.
Взгляну вперед -
И дивно для очей:
Бока планет
В космической пустыне
Шершавятся,
Как дыни на бахче,
Клянусь Землей,
Как золотые дыни!

Там в тишине
Зудит,
Гудит оса...
Всё ближе.
Громче.
В аспидном тумане
Ракета встречная.
И голоса,
И неземные лица на экране.

Блестят зрачки,
Большие, как очки.
Хмельны.
Шумны,
Обличием не стары,
Легтят,
Поют...

Куда, весельчаки?
Откуда вы, небесные гусары?

Все отошло.
И милую не жаль.
Ни перед кем
Не чувствую вины я.
Обида,
Ненависть,
Тоска,
Печаль -
Понятья исключительно земные.

Но нет.
И здесь любовь и боль в ходу.
Где Млечный Путь
С другим сходился Млечным,
Я, ставший между звезд
Почти беспечным,
Подслушал стон
И подсмотрел беду.
Беда - везде беда,
И стон есть стон,
Земной ли наш людской
Или вселенский.
А стон все громче...
Ну откуда он?
И этот тихий плач,
Гортанный,
Женский?

И наконец,
Заняв экран большой,
Сначала смутной,
Легкой-легкой тенью,
Из дальней
Из галактики чужой

До нас доило
Печальное виденье.
Он умирал.
В скорлупке корабля
Их было двое.
Было только двое!
Он умирал,
Бог весть о чем моля,
Упав в ее колени головою,
Она шептала странные слова
И кудри гладила.
Глядел с экрана
Застывший страх,
Почти как у Марьяны
В момент паденья нашего По-2...

Что нужно вам
В холодных безднах тьмы,
Вам, любящим друг друга?
Как нелепо!
Инопланетцы, неужель и вы
Здесь ищете
Свое Седьмое небо?
И я ищу,
И у меня есть флаг
И страстных
И опасных путешествий...
А если умирать,
Я б умер так,
Да, только, только так:
С любимой вместе.

Сородичам земле нас не предать.
Нетленные, орбитою туманной
Мы стали бы звездою безымянной
Летать...

Летать...
Летать...
Века летать!

Но вот и Вега.
Описали круг,
Упали кошкой на стальные лапы.
Долой ремни.
Распахиваем люк,
Бросаем трап,
Спускаемся по трапу.
Нисходим вниз, как на морское дно.
Где все сине:
И небо и полянки.
Не знающие горя вегианки
В больших цветах
Подносят нам вино.

И девушка,
Заметив, что кипучей
Не смею влагой губы замочить,
Показывает что-то, -
Видно, учит,
Как пить вино...
Меня ли ей учить!
Лепечет что-то...
Ласковым участем
И нежностью
Не мог я пренебречь.
Как только принял
Звездное причастье,
Понятной стала неземная речь.

Мой пышный чуб,
Служивший мне до срока
Подмогой в незавидной красоте,
Стал станцией приема биотоков,

Чтоб говорить
С живущей на звезде.
- Хорошая! -
И слышу, сердце бьется,
Мое ответным чувством взвеселив.
Все понимает,
Радостно смеется
И отвечает:
- Милый сын Земли...

В саду гуляем тихо,
Птиц не будим,
Беседуем без слов,
Вопрос - ответ,
И в полумраке маленькие груди
Томливо излучают
Теплый свет...

И вот одна,
Светившая округло,
Под жесткою рукой моей
Потухла.
И я услышал
Крик ее стыда,
Немой укор,
В меня успевший влиться:
- О сын Земли,
Я молодая жрица
В ареопаге звездного суда.
Мы судим всех,
Забывших о прекрасном,
Мы судим многих,
Кто в земном краю
Не из большой любви,
А из соблазна
Любил,
Страдал
И тратил жизнь свою.

Сказав, ушла.
Молю ее:
- Постой! -
Ответ доносит
Чувство мне ищестое:
- О сын Земли,
Мы судим чистотой!
О сын Земли,
Мы судим красотою!

Земля!
Что может быть красивее!
Летел на праздник я...
А тут!
Ведут,
Ведут.
Ведут Василия
На непонятный
Звездный суд.
По синь-пескам,
По мхам распластанным
Сто юных жриц,
Красой светя,
Ведут меня,
Земного мастера
Штамповки,
Ковки
И литья.
Красиво,
Как на райской каторге.
Ведут.
Дороге нет конца.
Ведут.
Уже прошли три радуги,
Три арки судного дворца.

На этот раз
Пред хитрой карою,
Должно быть, так заведено,
В цветке подносит мне вино
Старуха старая-престарая:
- Испей! -
И, тронутый поблажкою,
Пью - отливает кровь от щек.
- Что ощущаешь?
- Старость тяжкую. -
Старуха рада.
- Пей еще. -
И показала мне овальное,
Оправленное стеклецо,
И отразила гладь зеркальная
Мое потухшее лицо,
Глаза холодные,
Уставшие
Под жалкой вывеской бровей.
- Что жаль?
- Жалею дни пропавшие,
Любовь, не ставшую моей.
Все, все жалею,
Что непочатым
Оставил на земном пути... -
Она раскрыла двери створчаты,
Сказала:
- А теперь иди.
У молодого мало жалости,
Чтò юным приговор судьи.
Теперь ты старый,
А у старости
Сильней раскаянье.
Иди!

Земля!
Страшны суды вегейские!
Тебе ль, мудреющей в труде,
Передавать дела судейские
Чужой,
Неласковой звезде.
Меня обидели, ославили,
Меня до времени состарили.
Так вот зачем вино я пил!
В тяжелом непривычном шаге
Через порог переступил
И отступил
В невольном страхе.

В кругу,
Куда меня ввели,
Увенчанного сединою,
Сидели женщины Земли,
Любимые когда-то мною.
Боль.
Жалость.
Страх.
Усмешка уст.
На лицах некогда любимых
Так много отразилось чувств
И схожих
И разноречивых.

Из всех,
Любивших допьяна,
Из всех,
В любви не опьяненных,
Из всех судивших
Лишь одна
Глядела на меня влюбленно.
Как в ту весну,
Как в том саду.

Как в ту прощальную беседу:
“Когда ни позовешь - приду,
Куда ни позовешь - приеду!”
Как в ту весну,
Как в том саду,
Как в пору клятвенного пыла.
Не звал.
Примчалась на звезду.
Обиды, горечь -
Все забыла.
Примчалась
И свою печаль
Переложила мне на плечи.

Тех, кто забыл меня, не жаль,
Им легче,
Той вон, рыжей, легче.
Не смейся.
На Земле ругай,
А здесь убитому тоскою
Усмешкою не намекай
На унижение мужское.

В ту ночь
К костру твоих волос,
Светивших искорками всеми,
Я муки робости принес
И нежности большое бремя.
В ту ночь не понимала ты,
Что счастью
Более, чем скучность,
Мешает легкая доступность
И постижимость красоты.
Минуты первой не порочь,
Я за нее стыжусь не очень,
Ведь судят не за эту ночь.
А судят за другие ночи.
За те,
Развеявшие страх,

Когда, укрывшись темнотою,
Все чистое и все святое
Сжигал я на твоих кострах.

Среди сидящих предо мной
В прохладе синего тумана
Ищу глазами:
Где Марьяна?
И слышу голос неземной:
- Сюда, чтоб суд тебя судил,
Могли явиться по условью
Лишь те,
Которым ты платил
Ненастоящею любовью.
В покой судного дворца,
Согласно правил,
Были вхожи
Лишь те,
Чьи юные сердца
Ты в лучших чувствах обнадежил...

И все же я,
Какой ни есть,
Заспорил на звезде, как дома:
- Но почему и Дина здесь,
Сама ушедшая к другому?
Она же счастлива, любя?
- Да, - отвечали мне игривей, -
И все же, не познай тебя,
Была б она
Еще счастливей.

Вмешалась
В сумерках ветвей
Обиженная мною жрица:
- Ей память о любви твоей
Мешает счастьем насладиться.

А та сидит, потупив взор,
Не веря в то, что я преступен,
Ей наш эфирный разговор
Был совершенно недоступен.
Ах, Дина, дело не. и словах.
Как быстро ты,
Меняя бусы,
Прическу,
Блузкой в кружевах
Приладилась к иному вкусу.

Вином, испитым мной до дна,
Бедой и муками терпенья
Была способность мне дана
Ее подслушать откровенья:

- Как я обязана душой
Ему, несчастному такому,
Ведь от его любви большой
Зажглась моя любовь к другому.
Слепой, мне хорошо жилось,
Но вскоре поняла его я.
Он был со мной
Как добрый гость,
Даривший счастье гостевое.
И стали страсть во мне гасить
Стыда и скованности муки,
Как будто в праздник
У подруги
Взяла я платье поносить...
Все ж ревности не утая,
Подумала тепло и страстно:
“Где ты, стыдобушка моя,
Набегал этих,
Всяких - разных?!”

И сам дивлюсь...
Соседка Дины,
Нежна за двух,

Дерзка за двух,
Но пощадив мои седины,
Заговорила прямо вслух:
- Какие-то мечты, проблемы...
Ты все искал,
То тих, то зол,
И вот перед тобою все мы!
Что ты искал?
Что ты нашел?
Вот все мы. Все.
Окинь глазами.
И ты, чье имя берегу,
Всю жизнь мотался между нами,
Как в заколдованным кругу.
Вот все мы с жаждою зачатья,
С мечтою в бабьем подоле,
Одною тайною печатью
Заверенные на Земле,
Когда бы я не испугалась
Нечаянных житейских гроз,
Уже давно бы сын твой рос
И утешал бы твою старость.
Скажи мне, что ты приобрел,
Когда по снегу,
По бурану,
Пренебрегая мной,
Побрел
Искать какую-то Звездану?..

О имя,
Сколько света в нем!
Перед зарею ли,
В ночи ли
Меня с ним, помню, обручили
Еще в младенчестве моем.
Звезда на небе отгорит
И скроется среди тумана,
Мать скажет:
- Вон к тебе летит

Твоя красавица Звездана. -
Звездана,
Слышишь ли, родная,
Как, принимая дерзкий вид
И о тебе напоминая,
Земная женицина мне мстит.
Умру,
Не встречу,
Не узнаю,
Бледнея, не прижму к груди.
Землей и Вегой заклинаю:
Приди ко мне!
Приди!
Приди!

Вдруг лестница...
И с высоты
Спешит Звездана.
Ниже...
Ниже...
Уже близка,
Уже я вижу
Давно знакомые черты.
Вот туфельки сняла
И к нам
По ступеням
Спешит спуститься -
Так к уходящим поездам
Спешат,
Чтоб ехать
Иль проститься.
Померкла красота земных,
Но нет обид и нареканий.
Все, все,
Что нравилось мне в них,
Теперь слилось в одной Звездане.

И вот она.
Конец погоне.

Я нежно взял в полукольцо
Своих изнурженных ладоней
Ее небесное лицо.
Я взял его, чтоб надивиться
В награду за любовь и труд.
Как воду из ручья берут,
Когда хотят в пути напиться.
Любовно глядя мне в глаза,
Ресницы сизые смежала.
На девственных губах дрожала
Скупая звездная роса.
И вдруг почувствовал смущенье,
Как перед дочерью родной:
Да, грех любви ее со мной
Грехом бы стал кровосмешенья.
А я ведь, гордый,
В дни страданья
Ее придумал для себя.
Она мечты моей созданье,
Душа моя
И плоть моя.
Я отдал годы.
С каждой тратой
Она мне делалась родней.
И вот все отданное ей
Теперь становится преградой.
Ах, раньше б!
Прежде трага сил
Меня с мечтой не так родила.
- Скажи, родная, - я спросил, -
Что ж раньше ты не приходила? -
Все поняла.
Затосковала.
- Пришла б, -
Сказала дочь Звезды. -
Но у меня недоставало
Какой-то маленькой черты.
Была бы я чуть-чуть иная

Без этой черточки одной, -
Ее искал,
Теперь я знаю,
Какой-то юноша земной...

Черты
Жемчужинками в море
Я для тебя искал, мечта.
Мне обошлась в громаду горя
Твоя последняя черта.
Ошибся раз - и стан твой гибок.
Ошибся два - и ты умна,
Ты из цепи моих ошибок
И заблуждений создана.
Найду любовь и не поверю,
Несхожести не потерпя.
Что было для меня потерей -
Находкой было для тебя...

Уже огни на Веге гаснут,
А мне неведомы пути.
Ты так светла,
Ты так прекрасна,
Пройди со мною,
Посвети!

Земля моя,
Моя родная Русь,
Везде с тобой
Мое земное сердце.
Неужто я,
Когда домой вернусь,
Услышу плач
И стоны погорельцев!
Земля моя,
Тревожно мне порой,

Как будто в тесном доме
Без привычки
Детей своих оставил за игрой
И не приbral
И не припрятал спички.
И потому
На небе на Седьмом
Тревожусь я делами цеховыми,
Ведь мы на самолете боевом
Кроили крылья
Слишком голубыми.

Истратив звезд
Запас словесный,
Я разговаривал с родной
И поверял душе небесной
Сомнения души земной.
Я говорил:
- Здесь вянет тело
Перестоявшую травой.
Летим домой.
Мне нужно дело,
Я человек мастеровой.

И даже в грусти безотрадной
Ее не тронула мольба.
- Будь счастлив! -
И рукой прохладной
Горячего коснулась лба. -
Прощай...
- Постой, моя краса!
- Нет, я не для судьбы житейской. -
И скрылась,
И в ночи вегейской
Свостили мне
Одни глаза...

Очнулся.
Цех гудел в горячке.
Слепой,
Еще во власти снов,
Я поднял голову от пачки
Дюралюминьевых листов.
Еще любимый голос слышал.
Был поздний час,
И, как всегда,
В пролете застекленной крыши
Все та же виделась звезда.

Что сон?!

Фантазия!

Наитье!

Но станет жизнь вдвойне ясна,
Когда реальное событие
Ворвется продолжением сна.
Гагарин!.. Юрий!..
В счастье плачу,
Как будто двадцать лет спустя,
Отбросив тяжесть неудачи.
Взлетела молодость моя,
Все близко сердцу.
На планеты
Как будто я и впрямь летал.
Скажи, горячего привета
Мне там никто не передал?

И не стыжусь,
И не краснею,
Что ты, совершая свой полет,
На двадцать лет пришел позднее,
И на сто лет уйдешь вперед,
Мы люди разных поколений.

Но на дороге голубой
 Я рад всем точкам совпадений
 Моей судьбы
 С твоей судьбой.
 Чем круче хлеб,
 Тем жизнь упорней.
 Я рад, что мы с тобой взошли
 От одного большого корня
 Крестьянской матери - земли.

Деревня,
 Школа,
 Логарифмы,
 Литейка,
 Лётная пора.
 Всё было схожим,
 Даже рифмы
 На остром кончике пера.
 Мы жили словно в дружной паре,
 Точнее - шли мы следом в след.
 Я просто Горин,
 Ты Гагарин,
 Но двадцать лет
 Есть двадцать лет!

Недаром же
 По воле века,
 Приход достойных торопя,
 Меня испытывала Вега,
 Чтоб не испытывать тебя.
 Чтоб волю дать твоим дерзаньям,
 Когда ты рос, как все, шаля,
 Меня подвергла испытаньям
 В те дни тревожная Земля.

Чтоб, дерзкий,
 Ты взлетел с рассветом
 И возвратился в добрый час,

Мы всё стерпели.
Но об этом
Я поведу другой рассказ.
Я расскажу иными днями,
В словах по сердцу и уму,
Какими трудными путями
Мы шли к полету твоему.

1959-1967

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ ИЗ ПОЭМЫ “ЖЕНИТЬБА ДОН-ЖУАНА”

O, донна Анна!
А.Пушкин, “Каменный гость”

Мой друг Жуан,
Мытарствуй не мытарствуй,
Семья как государство в государстве,
По-своему живущее века,
Изменчивое строем и размером,
В котором будешь если не премьером.
Та уж министром-то наверняка,
С особым правом робкого совета
При выкройке домашнего бюджета.

Учи, Жуан,
В Сибири для устоя
Семья почти не знала Домостроя.
Жену любили, если горяча
Была не столько в кухне и ночевке,
Сколь равная на той же раскорчевке,
Умевшая, как муж, рубить сплеча,
Да чтобы ухитрялась, как ни трудно,
И матерью хорошей быть попутно.

На этой фразе я услышал вздох.
В ней усмотрев, должно быть, мой подвох,
Насмешливый Жуан почти бедово
Скосился глазом темным, как прострел,
И долго-долго на меня смотрел
С печальной высоты пережитого.

- Ну, ну, - сказал, - благодарю, учитель, -
И засмеялся,-
Бедный сочинитель!

Сидели мы,
Приняв лишь по единой,
У тещи возле дома под рябиной.
Плодоносившей только первый год.
Жуан поднялся, с ней тягаясь в росте,
Три ягодки сорвал от спелой грозди,
Испробовал и покривил свой рот,
Да и позднее при тираде длинной
Так и остался
С этой горькой миной.

- Мой друг поэт,
Ты думаешь, что я,
Я, Дон-Жуан, лишь выдумка твоя,
Лишь тени тень, живущая фиктивно?
Не льсти себе, хоть и приятна лесть,
Не ошибись, пойми - я был, я есть
Вполне осознанно и объективно,
Иначе бы любые испытанья
Не принесли такого мне страданья.

Мой друг поэт,
Не тщись из доброты
Воображать, что по несчастью ты
Влюбил меня, женил, толкнул к разбою.
Нет, милый, нет, сквозь радость и беду
Не ты меня, а я тебя веду.
Ташу тебя три года за собою.
Так в нашей дружбе, бывшей между нами,
Мы поменялись главными ролями.

Мой друг поэт,
Тебя в твоем стыде
Увидел я, ты помнишь, на суде,

Готового тогда к моей защите.
Да, да, хотел тебя я отвести,
От самобичевания спасти,
Себя же от тебя освободить и...
Ну, словом, подчеркнуть
Тем жестом странным,
Что чувствую себя
С тобою равным.

Когда Жуан за все мне отпенял
И, строгий, под рябиною стоял,
Репкалась наша дружба - либо, либо?
Возыщенная в святости живой,
Рябиновая гроздь над головой
Горела и светилась вроде нимба.
Смузенный, встав,
Сказал я без лукавства:
- Дай руку, друг.
На равенство и братство!

Чем вызван в друге
Этот новый крен,
Какие же причины перемен?
То кресло ли его, лесной пожар ли,
Любовь ли, сын ли - жизни высший дар?
Жизнь, дорогие, интересный жанр,
Люблю работать в этом древнем жанре.
Но если быть в нем голым реалистом,
То будешь не поэтом,
А статистом.

В грядущее
Нужна вся наша сила,
Все, что до нас,
Что в нас,
Что с нами было.
В Жуане, если без обиняков,
Все впечатления жизни стали купней.

Ему его грядущее доступней,
Как выходцу из прожитых веков.
А человек, по замечанию тенци.
Чем умственней,
Чем опытней,
Тем проще.

У тещи
В одеянье кружевном
Красивым был ее старинный дом.
Весь с топора и лобзика всего-то,
Смотрелся он на самый строгий взгляд.
Жуан сострил:
- Напрасно говорят,
Когда хулят, - топорная работа!
Так смотрится, уже не бога ради,
Икона древняя в резном окладе.

Жуан шутил-шутил
Да как пальнет:
- Вся эта улица на слом пойдет,
Участок стал для города потребным,
А тещин домик с канителю всей
Есть предложение вывезти в музей,
Открытый где-то под открытым небом.
- Эге, Жуан, не будешь ротозеем,
Глядь, домик станет и твоим музеем.
Со мной не то,
В строительной программе
С монми, брат, не цацкались домами.
Хотел бы хоть в один вернуться, но
Мне всюду с ними просто наважденье:
Домов, где жил я, с моего рождения,
За ветхостью с десяток снесено.
Не будет места в той эпохе дальней,
О друг мой,
Для доски мемориальной!

Так мы шутили,
Подобрев к домам,
С придумкою и правдой пополам
Припоминали прошлые проказы,
За словом не ходили далеко,
И было нам так вольно и легко,
Как будто и не ссорились ни разу,
Пока не стало видно из-под грозди,
Как в уникальный дом
Толкнулись гости.

В гостях сидел
С большим сознаньем прав
Почти что прежний свадебный состав,
Как вроде бы игралась на усадьбе
Не по годам отсчитанная в срок,
А по страданиям, что выдал рок,
Досрочная серебряная свадьба,
Но не кричали “горько” шумовато,
Поскольку в яви
Было горьковато.

Была на теще гения печать.
Достало б ей гостей поугощать
И тем же салом, тою же ветчинкой,
Картошкой, студнем из телячьих ног...
Так нет же, а сварганила пирог
С той самой рыбно-луковой начинкой
И “дурочку”, прикрытую со сметкой
Под честною
Фабричной этикеткой.

Добро и зло -
Две стороны медали.
Вот выпили и с добротою стали,
Сердца открыли, сжатые в тиски.
Ну что такое зелье?

Так - водица!
 Но как свежо зарозовели лица,
 Тугие развязались языки.
 У бывшей в напряжении Наташи
 Опали плечи
 В памятном вальяже.

Какой-то дед спросил, беря пирог:
 - Преуважаемый, а как острог? -
 Стариk был стар, но в памяти и силе,
 Пожалуй, посильней внучат иных.
 То был заглавный корень Кузьминых,
 Отец отца Наташи - дед Василий.
 - Острогов нынче нет! -
 Мой тезка - в колкость:
 - А если нет острогов,
 Где же строгость?..

Что мой Жуан
 Был встречен как герой,
 Меня и то коробило порой,
 Как будто он не лес пилил на трассе,
 Не пни в глухи таежной корчевал,
 А с некою задачей побывал
 В почетной экспедиции на Марсе.
 Наверно, проявлялся в тот момент
 Судьбы сибирской
 Некийrudимент.

Сибирь, мой край,
 Затмивший все края,
 О золотая каторга моя,
 Приют суровый праотцев бесправных,
 Где барско-царских не было плетей,
 Но лыко нам неведомых лаптей
 С железом кандалов прошло на равных.
 Народом ничего не позабыто.
 Что в жизни поколений
 Было бытом.

Сибиряку сама живая данность
Внушала и суровость и гуманность.
Почти в любой семье сибиряка
Для беглецов считалось делом чести
На самом видном и доступном месте
Поставить на ночь кринку молока.
И, тронутую гречными устами,
Крестили заскорузлыми перстами.

Сибирь моя,
В просторах безграницых
Ты принимала всех иноязычных.
У всех поныне свой особый лик,
Но все сильнее вечное стремленье,
Чтоб после вавилонского дробленья
Здесь снова обрести один язык.
Твои небостремительные башни
Уже давно затмили
День вчерашний.

Сибирь моя,
Ты вся в кипучей стройке,
Вся в переделке, вся ты в перекройке.
Любовь моя, ты вся из новостей.
А если вместе с “дурочкой” угарной
Был заведен мотивrudиментарный,
За то не будем осуждать гостей.
Таков порядок:
После крепкой влаги
Запеть надрывно
Песню о бродяге.

Не пела лишь Наташа,
С видом чинным
Неугомонным занимаясь сыном.
А Федя деловито, без конца,
Переходил, как ангел примирений,
С ес колен на теплоту коленей
Легонько подпевавшего отца,

Как будто этой хитростью наивной
Хотел связать развяз
Любви взаимной.

Жена сидела
Рядышком с Жуаном,
Дразня супруга профилем чеканным.
Девически смягчавшимся в былом,
Коса все с тем же золотым избыtkом,
Ее венчала свитком, словно слитком,
Красиво свитым греческим узлом.
Отбившиеся локоны горели,
Как лепестки цветка
На длинном стебле.

По части стебельков
И прочих трав
Мой друг при опыте был не лукав,
А искренне смотрел на все и даже
Все старшее в природе почитал,
Поэтому не о душе мечтал,
Мечтал о теле - тело было старше.
Меж тем бродяга песенный помалу
Лиши подошел
К священному Байкалу.

Есть в русской песне
Высшая отрада,
Дойдем до песни, ничего не надо,
Лиши песню дай - поющие не пьют.
И, сам влюбленный в песенное диво,
Жуан впервые думал неучтиво:
“Черт побери, они еще поют!”
Тут вроде бы из-за Федяши в певни
Пришлось вмешаться
Марфе Тимофеевне.

Так Федя
И на этот раз помог
Переступить той горенки порог,
Где бревна неприступные в оплоте
До сей поры его дивили той
Старинной первозданной простотой
И чистотой своей открытой плоти.
Они в линейно ровных строчках пакли
Еще, казалось,
Древним лесом пахли.

Подумал:
“Красоте не нужен лак”.
Послушал: “Что ж Наташа медлит так?”
А как ей было, мучаясь расплатой
И продолжая в робости любить,
К нему через порог переступить
Бабенкою паскудно виноватой?
На шорох оглянулся по тревоге -
Жена уже стояла на пороге.

К застывшей у проема
Скорбным знаком
Жуан шагнул отяжелевшим шагом,
Да так, что пола заскрипел настил.
Наташа своей греческо-золотою
На грудь ему упала головою.
- Жуан, прости!..
- Мой сын тебя простили.
- А ты, Жуан? - заговорила снова.
- Молчи!.. Ни слова!..
Никогда ни слова!..

Не он ли
При долине перед взгорьем
Два года возносил себя над горем?
Не он ли у обрыва на краю,

Обляпанный сторожевыми пасами,
Мужскими, небесгучими слезами
Два года отмывал любовь свою?
Превозмогая горести и боли,
Поднялся над самим собой
Не он ли?

Для страстного
Любовь - душевный оттиск,
А вместе с тем и смысла трудный поиск.
Но истина давалась нелегко,
Внушалась болью, вставшей над интригой.
Перед любовью вечной и великой
Все злое, однодневное - мелко.
Для страстного не может быть иначе. -
Простив однажды,
Страстный любит жарче.

Не помирила теплая постель -
Супругов не помирит колыбель
И не сведут любые комитеты,
И кто бы ни просил и ни грозил...
- Жуан, сначала свет бы погасил!..
- Пусть, пусть горит до самого рассвета!.. -
Хотя любовь при свете лучше зrima,
Она стихами неизобразима.

- Молчи, молчи,
Не приступы стыда,
Придумали одежду холода... -
Жуан болтал с шутливостью игривой. -
Ты косы расплети по всей длине,
Люблю тебя на золотой волне
Лицом ко мне с улыбкою счастливой!..
Молчи, молчи!.. -
Теперь, сказать не к ночи,
Заговорил он тише и короче.

Но в жарком буйстве
Расплетенных кос,
В глазах жены был некий парадокс,
Который женщину в любви прекраснит,
О некоей загадке говорит:
При жажде счастья взгляд ее горит,
При полном счастье почему-то гаснет.
А разве бы все это, небезгрешный,
Жуан заметил
В темноте кромешной?

Так в горенке
С любовью, страстно спетой,
Метался свет до сутеми рассветной.
Себя не ставя во главу угла,
Жуан при полном торжестве задора
Не вел себя нахально, как обжора,
Поел - и отвалился от стола,
А как бы говорил хозяйке Нате:
Нет, нет, вы этот стол
Не прибирайте!

А утром,
Давшим счет хорошим дням,
Он обновленным встал по всем статьям,
По-новому решительным и смелым.
В колонии, затронутою ржой,
Он обновлялся смутною душой,
Но прозябал нетерпеливым телом.
Теперь, когда поднялся и умылся,
Душой и телом
Заново родился.

Чаевничать,
Опохмелясь слегка,
С остатками садились пирога.
А он, остывший, был куда вкуснее.

Жуан, настроенный на добрый лад,
 Наташи перехватывая взгляд,
 Лукаво переглядывался с нею.
 Та отвечала, будучи польщенной,
 Улыбкой сдержанной
 И чуть смущенной.

А теща свой чаек,
 Лицом тепла,
 Стариночкой из блюдечка пила
 На пальчиках широкого развода,
 Подует и пригубит - благодать!
 - Куда теперь пойдешь-то работать?
 - Куда?.. Да никуда, кроме завода. -
 Жуана между тем на третьем где
 Почти совсем забыли на заводе.

Такой уж ритм
 У жизни заводской.
 Над планами с тех пор корпел другой,
 Уже другой руководил в цехкоме,
 Директор, с ним и главный инженер
 Уже другого ставили в пример.
 Забыли в шумном коридорном доме,
 Где с той поры, как стала тяжела,
 Наташа уже больше не жила.

Работа - не обуза,
 А потребность,
 К работе есть особенная ревность,
 Подвижник есть в профессии любой,
 Но в самой трудной - самый ярый в споре.
 Моряк, познавший штормы, любит море,
 Шахтер, познав завалы, свой забой,
 Но изо всех ревнивых патриотов
 Ревнивей всех
 Строитель самолетов.
 Не чудо ль,

Что простой бумажный змей,
Забава подрастающих детей,
Явился в мир надеждою крылатой,
В короткий срок успел себя явить,
Минувший век с высот благословить
И увенчать собою век двадцатый.
Не чудо ли, что в этом чудном чуде
Творят за чудотворцев
Просто люди.

Жуана поразила навсегда
Завзятая эстетика труда,
Та красота, что собрана помалу.
Ведь надо же увидеть и понять,
Что человека легче оживлять,
Чем жизнь давать холодному металлу
И придавать ему в пределах нормы
Разумные, причудливые формы.

Металл, он мертв,
Но все же в чувстве стиля
Не терпит безрассудного насилия -
Битья, рванья его тончайших жил,
Лиши в доброте к нему - залог успеха.
Все эти истины, как мастер цеха,
Жуану, между прочим, я внущил.
Когда он стал смотреть
В очках спесивых
На нас, как исполнителей пассивных.

Любая самолетная деталь
Высокую несет в себе мораль.
Она ни в чем не терпит искажений,
Его создателя спасут от лжи
Стоящие на страже чертежи...
Недаром в бурях мировых движений,
В исканиях свободы зоркий Маркс
Поставил впереди рабочий класс.

- Ба-ба, Жуан!..
 Не думал, не гадал!..
 Давно не видел, где ты пропадал?.. -
 Знакомый руку жал, как другу, исто. -
 А я уж думал, в Африке самой
 Передаешь богатый опыт свой,
 Там, говорят, нужны специалисты... -
 Высокая Жуану льстила марка.
 - Хоть и не в Африке,
 Но было жарко!

Был добрый знак,
 Что встреча без оглядов
 Произошла перед отделом кадров,
 Где у всего начальства на виду
 При должности замнача иль замзава
 Работала тогда Попова Клава,
 Знакомая по танцам в горсаду.
 Хоть кумовство мы судим так и сяк,
 Но все-таки знакомство
 Не пустяк.

Та Клава,
 Не смущаясь,
 Не суетясь,
 С директором установила связь -
 Из трубки голос вылетал басистый:
 - Вы это про кого?..
 - Да про того...
 - А-а, да, припомнил - как дела его?
 - Досрочно вышел, и притом по чистой... -
 Смолк на минуту трубки звукомет.
 - Свяжитесь с Главным,
 Пусть к нему зайдет.

Когда мой друг
 В прическе ореолом

На мой участок заглянул веселым,
Я догадался - все пошло на лад,
Все утряслось и вправду без оглядок.
- Ну, как, Жуан, с работою?
- Порядок! -
За друга я действительно был рад.
- Надеюсь, что не поступился стажем?
- Нет, нет! Назначен инженером старшим!

С тех пор мой цех,
Гудящий и гремящий,
Жуан стал посещать уже чаще.
Но был ему мой цех не мною люб,
А тем, что мог в нем заточить стамеску.
Найти в углу какую-то железку,
Какой-нибудь диковинный шуруп.
Казалось, за такое упрощенье
Жуану даже не было прощенья.

Но работяга,
Если он не робот,
До странной страсти обретает опыт.
Освоив кресла в некоем kraю,
Жуан, приобретя свой стиль и хватку,
Забраковал Федянину кроватку
И начал конструировать свою,
Способную на качку и покат.
По сложности почти что агрегат.

Однажды, для нее бруск стругая,
Он видел, как прекрасна плоть нагая,
Как матово чиста, но миг спустя,
Когда стругнул еще, из-под фуганка
Явилась темно-розовая ранка,
Подобно следу ржавого гвоздя.
Еще, еще стругнул

И, ширя взгляд свой,
Увидел ранку
Темно-буровой язвой.

То был сучок,
По юности отживший,
По времени опавший и оплывший
Целебным соком не одной весны.
Так хорошо и так счастливо сталося,
Что на стволе березы не осталось
Ни пятнышка, ни малой кривизны.
Не будь Жуан в работе бесноватым,
И не узнал бы
О сучке чреватом.

Вдруг захотелось
В меру разуменья
Приобрести рентгеновское зренье,
Прозреть через какой-нибудь экран.
Пока никем не видимые сучья
Из глубины его благополучья
Не простили здимо, как изъян,
Тем более что жизнь к усладе вкуса
Выглаживалась, как бока у бруса.

Но в том была
Не праздная забота, -
Жену, казалось, угнетало что-то.
Теперь он отмечал в ней без труда
То странную застенчивость и робость,
То страстную ответную торопность,
То жгучий взгляд куда-то в никуда,
А красота в румяности осенней
Все ярче становилась
И надземней.

И вот Жуан,
Не мешкая с раскачкой,
Пришел ко мне с той самою болячкой.

А я шутнул:

- Скажу - не осердись,
Чтобы вернулись легкость и свобода,
Вам надо было начинать с развода,
Сначала разойтись, потом сойтись.
Все взрывы ревности в твоих фугасах,
Все глупости
Оставил бы ты в загсах.

Невежда в психологии семейной,
Ты стал капризней барышни кисейной,
Ты упустил спасительный момент
Из глупых статистических приличий,
Стыдясь своим разводом увеличить
Супругов разводящихся процент... -
Он засмеялся, отнеся к потехам
Все это,
Но, увы, последним смехом!

Пока паслись мы
На ученой ниве,
Наташа становилась все красивей,
Хотя, казалось, чуточку бледней,
Но бледность только брови оттенила,
Да только губы ярче очертила,
Да только строгость подчеркнула в ней,
Да только подкрепила, словно в споре,
Высокую отчаянность во взоре.

Такое же,
А может, и капризней,
Бывает часто в яблоневой жизни.
Когда недуг ей корни поразил,
Когда коснулась гибельная хмара,
То яблоня цветет особо яро,
Истрачивая все запасы сил.
Но вот скажи, и все сочтут за бредни,
Слова о том,
Что этот цвет последний.

Напрасно
Хоть в очках,
Хоть без очков
Заглядывать на донышки цветков,
Там не найти обещанную завязь.
- Какая жалость! - скажет наперед
Беды не угадавший садовод,
Припоминая промахи и каясь.
Но покаяния звучат века
Как самоотпущения греха.

У бедной Наты
В день и раз, и два
Покруживаться стала голова,
Тесниться грудь, тошнотка появляться.
Пожаловалась матери, а та
Заметила шутливо и спроста:
- Э-э, кто-то младший догоняет братца! -
И посоветовала, чтобы Ната
Пошла к врачу
За подтвержденьем факта.

Но оказалось,
Весь набор примет
Обманчив был, как яблоневый цвет,
Не давший сил приросту молодому.
Задумчивый, как белокрылый грач
В своем халате белом, старый врач
Наташу передал врачу другому,
Тот - третьему, а там вмешался четный,
И не последний,
А всего четвертый.

И как же было
Нате не смутиться,
Когда пришла машина из больницы
С высокой фарой, меченою крестом.
Жуана не было, с ночной укладки

Федяша еще спал в ночной кроватке,
А Тимофеевна прибирала дом.
Наташу так и обожгло словами.
Вбежавшей медсестрички:
- Мы за вами!..

- А что мне взять? -
На свой вопрос резонный
Реакция ее была мудреной,
Необъяснимой импульсом иным,
Как страхом, заслонившим все на свете.
- Ах, да, да, да! -
Она метнулась к Феде,
Как будто ехать собиралась с ним.
Лишь с плачем сына, сердце резанувшим,
Она оторопела, как под душем.

А тут бабуся подоспела кстати.
- Моя голуба-люба, мой касатик! -
Напев заслышив, полусонный внук
Со всею непосредственностью детства
Заулыбался и предпринял бегство
Из судорожных материнских рук.
- Не паникуй! -
Сказала Тимофеевна,
И Ната успокоилась мгновенно.

Но, сделав шаг
Из-под родного крова,
Наташа к Феде устремилась снова,
Да так, что впала в еле слышный стон
В каком-то новом приступе печали.
Разбуженный, испуганный вначале,
На этот раз не испугался он,
Лишь долго удивленными глазами
Глядел на маму,
Обращенный к маме.

В беде
 Никто не знает меры бедствий,
 А в раннем расставанье всех последствий.
 Быть может, будет сын всю жизнь искать,
 Как и отец искал со страстью странной,
 Оставшуюся в памяти туманной
 Неведомо похожую на мать.
 Во всех исканьях будет этот образ
 Ему путеводительней,
 Чем компас.

Не так ли в детстве,
 К жизни пробужденный,
 Глядел я, Музою завороженный,
 В глаза ее, внимателен и тих.
 Как часто, наградив душевным жженьем,
 Она ко мне являлась с утешеньем,
 С надеждой в начинаниях моих.
 Зато теперь, когда мой мир в расстрое,
 Меня забыла и моих героев.

О, сжался, Муза,
 Возвратись, приди,
 Несчастье от Наташи отврати!
 О, Муза, Муза, искренняя вроде,
 Ты, замечавшая и тихий плач,
 Ведешь себя уклончивей, чем врач
 В плохой больнице
 При плохом исходе.
 Тебя зову я, отзовись на поклик,
 Спасеньем увенчай Жуана подвиг!

Я звал,
Я упрекал ее, она же
Сиделкою сидела при Наташе,
На этот раз реальная вполне.
Свой давний долг отсиживая честно,
Она Жуану уступала место,

Когда тот приходил к своей жене,
Со стороны глядела, видя диво:
Как он красив
И как она красива!

У скромницы
И у скандальной тетки,
Почти у всех в больнице лица кротки.
Там все мы, все - и ты, и он, и я, -
Почувствовав себя намного бренней,
Становимся добреи и смиренней
Пред мрачной вечностью небытия.
Еще живем, но будет же решаться:
Кому уйти,
Кому пока оставаться.

У многих неприятий
И приязней
Немало остается скрытых связей,
Не ставших связью зrimой и прямой.
Однажды с послаблением недуга
Наташа стала умолять супруга:
- Мне лучше, забери меня домой! -
Тогда и повстречались друг с другом
Мой друг Жуан
С гордеевским хирургом.

Тому бы знать,
Что, хоть ролями разны,
Они к событию одному причастны,
А поточнее - к личности одной,
И каждый дело делал без отсрочек:
Жуан, как разухабистый раскройщик,
Хирург, как многоопытный портной,
Что речь пойдет с надеждою вмешаться
О жертве жертвы
Этого красавца.

А знай он
Всю историю живую,
Свою с ней связь, такую узловую,
Помог бы этот узел расплести,
Ведь признавать бессилие не просто:
Суметь спасти Гордеева-прохвоста,
А вот Наташу не суметь спасти.
Но, ничего не ведая об этом,
Он спрятал руки:
- Слово терапевтам.

Тоска по Феде
У Наташи вскоре
На время заглушила боль от хвори,
Хоть не врачам, а только ей самой
Казаться стало, что она здорова,
А потому и запросилась снова:
- Мне легче, забери меня домой! -
Врачи про Нату что-то больше знали,
Но все-таки
Задерживать не стали.

На лестнице
В домашней кацавейке
Наташа пошатнулась на ступеньке.
Но не успела выдохнуть и “ах”
Обескураженной и удивленной,
Как, поднятая над плитой бетонной,
Притихла на Жуановых руках.
О, как на этот раз она, несома,
Была легка,
Почти что невесома!

Жуан заторопился, зашагал
Так, будто бы Наташу умыкал,
Боясь услышать окрик за плечами,
Нет, не врачей, а неуздимой той,

Которая следит с недобротой
За трудными больными и врачами,
Чтобы самой, скучавшей не при деле,
Однажды встать
У роковой постели.

Жуан сходя,
На лестничных пролетах
С Наташой виражил на поворотах
И снова шел в пике, суров и лих,
С такой неоспоримостью побега
Заспорившего с горем человека,
Что встречные шарахались от них.
А он спешил с ней, словно из угара,
Из пламени
Таежного пожара.

Не зря Наташа
В страхе и надломе
Затосковала о родимом доме,
О горнице, где родилась она,
Где ярче материнского подола
Ей памятна любая складка пола,
Где ей сподручна каждая стена.
Здесь, дома, в обстановке завсегдашней,
Болезнь и та
Становится домашней.

Довольная Наташа замечала,
Что на душе Жуана полегчало.
Казалось, уже виделся просвет
И жизнь уже светлела понемножку,
Как в палисадник узкое окошко
К зиме, когда на ветках листьев нет.
Так, слабому здоровью не противясь,
Болезнь притворно
Ослабляла привязь.

Но вдруг привиделось,
 Что тихо-тихо
 Какая-то курносая ткачиха
 На ветхом стане темный холст ткала.
 Челнок мелькал легко и бирюзово,
 Уток сверкал, а темная основа
 К ней в душу протянулась из угла.
 И вот тканье, навитое на валик,
 Ткачиха та
 Взяла на притужальник.

Ей стало больно,
 Но в работе срочной
 Зигзагом бегал огонек челночный,
 Все продолжал светиться и мелькать.
 Основы темной натягая жилы,
 Ткачиха полоротая спешила
 Свое тканье нездешнее доткать.
 Сопротивлялось, билось, не хотело
 По жилочкам
 Разматываться тело.

- Ткачиха!.. Стой!.. -
 Вскричала Ната, видя,
 Как посветлел настрой душевных нитей,
 Давно ли цветом равных с темнотой.
 О, значит, вновь чиста и вновь здорова,
 Коль стала в ней душевная основа
 Раскручиваться пряжей золотой.
 Ткачиха дрогнула, вскочила с места.
 Наташа прошептала:
 - Наконец-то!

Жуан не знал,
 Сидевший у постели,
 О чем она?
 В бреду ли?

В тяжком сне ли?
Тревожный, он не мог найти никак
К чему-тоциальному и даже следа
В порывах чувств,
В обрывках сна и бреда,
В обломках мира, павшего во мрак.
Все, как мираж, - вот был и нет миража.
- Ну, что.. Ну, что?.. Что, Ната?..
О, Наташа!..

На грани жизни,
На исходе грана
Она еще услышала Жуана,
Глаза открыла, тотчас их прикрыв,
Как бы от света.
Свет был слишком светел.
Вскочив его тушить, Жуан заметил
Наташи протестующий порыв.

- Пусть, пусть горит! -
Сказала тихогласно. -
Пусть светит до рассвета! -
И погасла.

И тихо-тихо стало,
Что в затишке
Тишей не пробежать и тихой мышке,
Стал тихим дом, за домом мир стал тих.
Почувствовав себя несчастно пришлым,
Жуан рыдал рыданием неслышным,
Упав лицом в ограду рук своих,
Но и за нею видел тонкобровый
Наташин профиль -
Строгий и суровый.

Жуан не слышал,
Как, прия для смены,

Запричитала Марфа Тимофеевна,
Бесслезно повела печальный сказ,
Несспешно жизнь дочернюю итожа:
- Красавица моя, да на кого же
Федяшу ты оставила и нас? -
При этом поправлять не забывала
Ей веки, прядки,
Руки, одеяло.

Во исполнение ее завета
Свет яркий не гасили до рассвета,
До полного исхода темноты.
А утром, когда стал уже не в новость
Ей смерти страх,
И строгость и суровость
Покинули Наташины черты.
Казалось, кто-то в ней, уже любезный,
Смягчился и разжал
Кулак железный.

Как школьницу
Когда-то в первый класс,
Наташу наряжали и сейчас,
О новой школе зная понаслыше,
Не ведая ее учителей,
Не зная толком и программы всей,
Какие там в ходу стихи и книжки,
Какие там уроки в толще стен,
Какие сроки вечных перемен.

Друзей - свидетелей
Ее урока
На этот случай было много-много.
Они за гробом рядом шли со мной.
Иные сетуя, иные плача,
Решая для себя ее задачу,
Лишь при смерти решенную самой.
Задача та с ее концом фатальным
Ко мне пришла
Под знаком интегральным.

Случалось быть наедине с бедой,
В бессилии перед бедою той
Я говорил себе: живи, как травы, -
Прольется дождь, цветком в росе гори,
А засуха сожжет тебя, умри
Другим без пользы,
Для себя без славы.
Но возникнал вопрос невольный сразу:
Тогда зачем же человеку разум?

А если есть,
Зачем он не глубинный,
Не полный, а какой-то половинный?
Пусть страхов стало менее в числе,
Но все равно мне горестно и больно,
Что столько зла блуждает бесконтрольно
На нашей изумительной земле.
Нам истины даются у могилы:
Наташа жертва
Этой темной силы.

Когда земля
На гроб упала с гулом,
Впервые друга видел я сутулым,
Позволившим беде себя согбить,
Ошеломленным кровною утратой.
Какою непомерно тяжкой платой
За истины приходится платить,
Чтобы ему и всем от злого мрака
Вперед шагнуть
Хотя бы на полшага!

Средь Кузьминых,
Всех родственников их
Здесь было много наших заводских,
С тоской в глазах
Стоявших не для вида,
А в меру старой памяти их дружб,
По обязательству совместных служб,
Услуг взаимных, лишь Аделаида,

Пока Жуан не отошел последним,
В слезах стояла
За крестом соседним.

Мне приходилось замечать не раз:
Уход кого-то сплачивает нас,
В процессии ухода мы единды,
Нас музыка печальная ведет,
Никто не забегает наперед,
Держась благоразумной середины.
А после наши связи уже хрупки -
Похоронив, мы делимся на группки.

Шел первый снег.
Два срока есть в году,
Оберегающие красоту
С особой ревностью за человеком:
Цветение и снегопад, что сам
Догадливо прикрыл могилы шрам
Своим неторопливым первым снегом,
Но для рубца, горевшего багрово
В душе Жуана,
Не было покрова.

Он понял,
Что в душе его отцовой
Необходим для сына Феди новый
Почти что материнский уголок.
Пусть будет нечувствительным к утратам,
Пусть вырастает смелым и крылатым
Торителем космических дорог.
Да, да, пусть женский,
Черт возьми, халатик
Не затмевает красоты галактик.

Так рано
К слову доброму “отец”
Прибавилось недоброде “вдовец”

С его ходячим вариантом “вдовый”.
Теперь, в любви родительской горяч,
Даже во сне заслыщав Федин плач,
Жуан вставал, помочь ему готовый,
Готовый с человечностью предельной
Его утешить
Песней колыбельной.

“Спи-засни, мой сыночек,
Подрастай, мой росточек,
А когда подрастают,
Дети спят и летают.

Как закроются глазки,
Полетишь ты, как в сказке,
Над родною землею
И над Бабой Ягою.

У старухи, у злыдни,
Нет заботы о сыне,
У старухи, у злючки,
Нет ни внука, ни внучки.

Злыдня зла не скрывает,
В старой ступе летает,
Вместо крыльев над мглою
Машет грязной метлою.

Спи-засни, мой сыночек,
Окрыляйся, росточек,
Подарю тебе с былью
Настоящие крылья.

Полетишь ты далеко,
Полетишь ты высоко
Над родною землею
И над Бабой Ягою...”

Читатель милый,
 Вспомни, что в начале
 Мы песни запевали без печали.
 Счастливые концы всего милей,
 Но я писал без мысли, чтобы легче,
 Нет, не стихи, а судьбы человечьи
 В мучительных исканиях путей,
 В исканиях любви - до пониманья
 Ее как высшего
 В нас достоянья.

Все беды,
 Лезущие даже в строчку,
 Увы, неотвратимы в одиночку.
 Нам не дано самим изобрести
 Свой легкий путь,
 Свою любовь и нежность.
 К трагедии приводит неизбежность,
 А к драме может случай привести,
 Хотя и случай, будучи нечаянным,
 В ряду других
 Бывает не случайным.

Что мне сказать,
 Тоской не бременя,
 Когда о счастье спросите меня?
 Скажу вам, склонный
 К прежнему пристрастию:
 Большое счастье - это, на мой взгляд,
 Не только сам конечный результат,
 Но и дорога, что вела нас к счастью.
 И пусть никто из нас не забывает,
 Что в чистом виде
 Счастья не бывает.

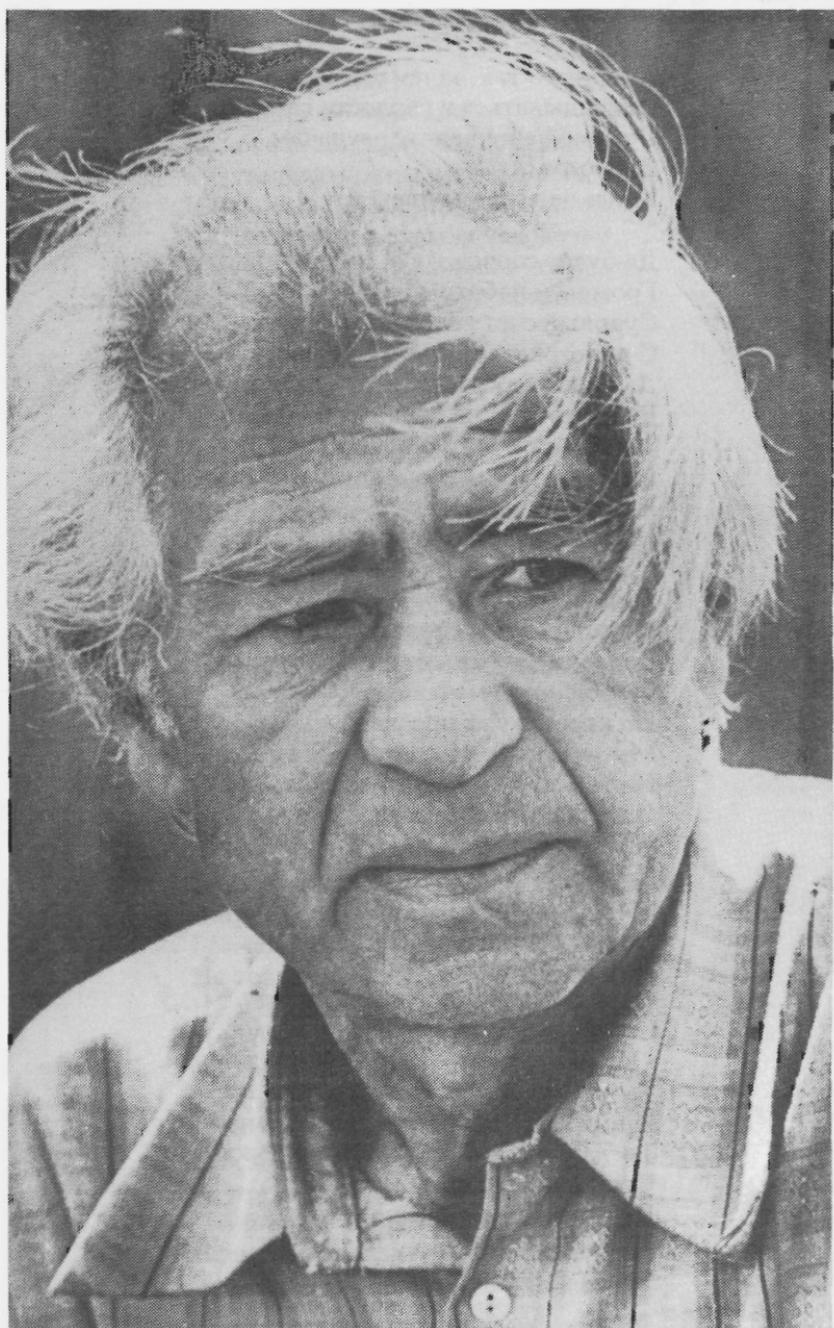
А если так,
 Зачем иных старанья,
 Чтоб приуменьшить наши испытанья?
 Ведь, если счастье нам далось трудней,
 То радость и торжественней и выше.

А если это так, зачем самим же
Обкрадываться в гордости своей.
Суровый счет ведите неудачам,
Особо тем,
Когда за всех мы плачем.

Да будет слово
Громом и набатом.
Суровый счет ведите всем утратам,
С пристрастием судите - чья вина?
Да будет вериться, что в наших буднях
Кому-нибудь на трудных перепутьях
Задаст урок Наташа Кузьмина,
Как жертва сил, пока еще несметных,
Не только темных,
Но и полусветлых.

Большой урок,
Не подчиняясь срокам,
Для всех времен становится уроком.
Безоблачной мечтая видеть даль,
Но кое-что уже предвидя кроме,
Мы мужеству учились на "Разгроме",
На том пути, "Как закалялась сталь".
О, если б и моя строка крепила
На стройке века
Хоть одно стропило!

И если бы
При виде тяжких мук
Обиженному другу верный друг
Сказал однажды, поздно или рано:
- Из многих книг, а их хоть пруд пруди,
Ты книгу, если есть она, найди
И перечти "Женитьбу Дон-Жуана"! -
Тогда б я и за гробом верил страшно,
Что жизнь свою
Потратил не напрасно!
Ялта. 9.IV.1977г.





Перуны



Сядут перуны —
меньды живы и здоровы,

— как бы киевляне!
— Русские народ прекрасен
даже воронам, что ли
не землю кропят издали
бесено киевляне.

Жизнь суетна,
Но место есть порядку,
На все свой крайний срок и свой черед,
На неоглядный путь и на оглядку.

Оглянешься - и оторопь берет:
Возврата нет. Мне некуда вернуться
И незачем уже спешить вперед.

Над головой нетопырями вьются
Назойливые тени тех людей,
С кем встретиться пришлось и разминуться.

То постояльцы памяти моей,
Ничем не заплатившие квартплаты
В расчете, что не сделаюсь бедней.

Утратив их, не чувствую утраты,
Да только жаль, чужих тащил с собой,
Чужим открыл души своей палаты.

Они держались с ревностью тупой
Моих страстишек и случайных болей,
Что поневоле стали мне судьбой.

Ничтожные в своей трусливой роли,
Они со мной, пока вперед иду,
А затопчусь, уже кружат на воле,

Дрожат, что вместе с ними упаду,
Не поднимусь, а там - во тьме кромешной
Поволоку их к вечному суду.

Не отличайся я душою нежной
И добрым сердцем, было бы не грех
Забавиться картинкою потешной.

Но если б видел я их вместе всех
В постыдные минуты обнаженья,
Притих бы мой потусторонний смех.

Их трусость - это предостереженье
Завременно дающее мне знать,
Что жизнь моя замедлила движенье.

Успею ли торжественно воздать
Всему тому, что было несказанно,
Что шло ко мне само, как благодать,

Всему тому, что в памяти сохранно,
Всем искренним, что были мне верны,
Всем любящим меня пропеть - "осанна"?..

Во всем я жаждал мудрой глубины,
Да неглубоко вырастала репка,
Вытягивал, не натрудив спины.

Влекла меня возвышенная лепка,
Манил меня к себе небесный фриз,
Но суeta сует держала крепко.

"Вперед и выше" - дерзкий мой девиз
Она, постыдная, опровергала
Тем, что при взлетах низвергала вниз.

Мне б тлеть и тлеть уныло и устало,
Не встать бы мне и не взлететь, когда б
Меня мол любовь не сберегала.

Кто любит, кто любим, уже не слаб,
Кто верит, кому верят, тот всесилен,
Паденье для него - всего этап.

Мне голос некий был: "Очнись, Василий,
Восстань! Еще не взята высота,
Другие еще крыл не нарастили.

Дерзай! Дорогой звезд, хоть и крутая,
Постигнешь, как, зачатая звездою,
Земная прорастает красота.

Ты женщину, с единою чертою
Той красоты, желанье торопя,
Беспечно путал с полной красотою.

Ты множил женщин, целое дробя,
И возлюбив любовь любовью чрева,
Растрачивал во множестве себя..."

Был снова час взлета и возгрева,
Вскипала кровь, вынянчивая страсть,
Любовь без страха и любовь без гнева.

Все суетное потеряло власть,
Все временное пролетело мимо,
И наконец мне истина далась.

Любовь предстала без гримас и грима,
Бездубликатною, всего одной,
Как жизнь сама, а жизнь неповторима.

Ее своей я встретил сединой,
Высокому светильнику подобной,
С желаньем осветить ей путь земной.

И вот уже к моей любви недробной,
Постигнутой со всех семи высот,
Спешил какой-то нагло-расторопный,

Охочий до подсказанных красот.
Но пошлость цельной красоты не застит,
Как малый дым не гасит небосвод.

Воистину, у выстраданной страсти
Уж нет соперников и нет врагов,
Над ней и время не имеет власти.

Мы тоньше ниточек в тканье веков,
В станке времен, где так легко порваться,
Где в спешке не завяжут узелков.

Мы можем даже с веком не соткаться,
Историк строгий не заметит нас,
Нам нет нужды и этого бояться.

Нам наша жизнь дана не напоказ,
Но каждому положен подвиг личный,
На вековом пути свой звездный час.

Первична жизнь, история вторична.
1984

БОТКИНСКИЙ ЛИСТ

Не унижайте
Давних лет седины,
Не восхваляйте наш двадцатый век,
Познаний наших некие глубины.

Безумной жизни сумасшедший бег
Достиг ужетакого ускоренья,
Что дрогнет и не робкий человек.

В моторах реактивного горенья
Металл все жаростойче и прочней,
А наша плоть не знает измененья.

Мы понавыкли обращаться с ней
Как с тихою послушницей прогресса,
В надеждах, что становимся умней.

Мы знаем все склерозы и все стрессы,
Все, вхоже в больничные листы,
Но на весах судьбы в том мало веса.

Взрывая жизни новые пласти,
В своем усердье становясь все рьяней,
Мы рушим за собою все мосты,

Все новые выгравиваем грани,
В усталом сердце ощущив изъян,
Идем потом за новым к обезьян,

К той самой, выросшей среди лиан,
Однако, если наше истощится,
Не выручит нас сердце обезьян.

Мне тяжело от мысли отрешиться,
Что человечество, щенком кружка,
Поймать себя за хвост все время тщится.
О, горе вышедшим из виража
С остатком перегрузки неизбежной,
Когда болеют тело и душа.

Жизнь - центрифуга силой центробежной
Их отбивает в сторону больниц,
Ко грани дня и темноты кромешной.

Я очутился среди этих лиц,
Смешав свое несчастье с их бредом,
Свою любовь с презреньем без границ.

Мог вспомнить лишь первопричину бедам,
А дальше пленка памяти моей
Была засвечена недобрыйм светом.

В развалинах любви и смутных дней
Лежал чужой среди себя в утрате
В себе самом былых поводырей.

- Вы все же кто?..
 - Не помню...
 - Вспоминайте!.. -
- Врач тут же предписал лекарств набор.
- Вот вам пока таблетки - принимайте!

Так, говоря науке не в укор,
Пустили в ход ту самую науку,
Что прикрывает времени позор,

Что нынче веку ставится в заслугу.
Во славу века славного и я
Стал возвращаться к памятному кругу.

Все воскрешалось с детства и коня,
С того, как ухватил его за гриву,
Чтоб доскакать до нынешнего дня.

Скакал сквозь годы и давался диву,
Как дерзости положенный предел
Легко сдавался моему порыву.

Но все же снова с болью я влетел,
С тоской о Ней в свой Боткинский отстойник
Ущербных душ и конвульсивных тел.

Еще вчера капризный гипертоник,
Под простыней в углу на этот раз
Лежал во всем смирившимся покойник.

Не выручил прогресс, и век не спас.
Казалось бы, чего уж было легче
Спасти его, а человек погас.

Врач старые завел со мною речи:
- Так все же кто вы?
- Знаю, я - поэт.
И дегустатор болей человечьих.

Я пробую беду на вкус и цвет,
Во мне чужих невзгод такая наметь,
Что песнями восходит жизни бред.

Как хорошо, что возвратилась память!
Достойней с нею, уходя во тьму,
Себя и в рамку траурную врамить.

Не плачьте, люди! Я печаль сниму
Со всех, кто проводить придет в печали
В Дом, где меня встречали по уму.

Большого зала не хочу и вмале,
А Малый мал мне для прощальных слов,
Пусть поместят меня в Дубовом зале,

Где в отдыхе души, под шум пиров,
Под легкий смех поклонниц беззаботных
Я пережил пять-шесть директоров

И переспорил гениев залетных,
Помимо рифм не знавших прочих мук,
Ни собственных страданий, ни народных.

Когда вокруг меня замкнется круг,
В котором лягу навзничь, не бушуя,
Ты будешь ли средь плачущих подруг?

Проводишь ли? Пообещай!.. Прошу я,
Оставь при жизни маленькую боль,
Иначе унесу с собой большую.

За ранее взойди на антресоль,
Как добрый ангел, посланный из рая
Сыграть еще одну земную роль.

О милая, играй!.. В любовь играя,
Притворно омрачись и огорчись,
Помешкой, как бы слезы утирая.

Потом по лестнице крутой спустись,
Печально опираясь на перила,
Войди в мой круг и надо мной склонись.

Пусть думают, что ты меня любила!
1984

МАТЬ И СЫН

Сном-чудодеем
В детство обращенный,
Я оказался маленьким опять,
Но с памятью, годами отягченной.

Так пролетев полвека жизни вспять,
На деревенских очутясь полатях,
Увидел возвратившуюся мать.

Себя крепивший на сосновых гладях,
Спустился к ней я на руках тугих
И сладко замер у нее в объятьях.

Мое стучало сердце на двоих.
Должно, у возвратившихся из мрака
Стук сердца еле слышен, Так он тих!

Мне становилось жутко, и, однако,
Свой взор ко взору мамы обратив,
Вдруг понял, что загробным это - благо.

Прекрасен был лица ее отлив,
Так нежно цвел, что я его потрогал,
Как нечто дивное из многих див.

Сквозь вроде б витражи, от зимних стекол
Струились блики, матово мягки.
Она меня спросила: "Что, мой сокол?" -

И вытерла ладонью со щеки
Слезу восторга и слезу печали
Идущему в безвестные круги.

Мне снова стало жутко, как вначале.
“Хочу спросить...” -
“А ты спроси, сынок...”
Мы, глядя друг на друга, замолчали.

Мой голос еле страх перевозмог.
“Там страшно?” - я спросил и неотважно
В тревожном ожиданье сердцем дрог.

Мать голову откинула вальяжно,
С улыбкою глаза полусмежив,
Качнула головою: “Нет, не страшно!

Там страха нет, рассказ о страхе лжив,
Но есть межа бесстрашия и страха,
Так не ходи по ней, пока ты жив!

Коль я пришла, то, значит, нет и праха,
Хотя и грешной плоти нет уже.
Есть чистота, не знающая краха.

Сон - это место встреч на той меже,
Живых и мертвых полоса свиданий,
Ну, вроде школы бы живой душе.

Мне боль была слышна твоих страданий,
А это здесь дано лишь матерям,
Чтоб вас, живых, остерегать заране.

Ты часто безрассуден и упрям,
Все время лезешь в ножевые драки,
Счет умножая своим черным дням.

Тебе во сне я подавала знаки,
Входила в круг твой из иных кругов,
Ты умерял ли пыл своей отваги?" -

"Да, мама, да, но изо всех врагов,
По именам неведомым доныне,
Я опасался только дураков!"

"Мой сын, - сказала мать, - в такой гордыне
Ты радости и счастья не найдешь... -
И тут пахнуло горечью полыни, -

Слух и ко мне дошел, что много пьешь!
С отцом жила я, тем же горем маясь,
Неужто по стопам его идешь?!"

Ответил ей, не мучась и не каясь,
Но с болью за отца с его бедой:
"Нет, мама, я не пью, а увлекаюсь..."

Мать ахнула: "Да ты уже седой,
А я учу тому, чему не сбыться..." -
И улыбнулась с прежней добротой.

Над нами тенью пролетела птица,
И тотчас между мамою и мной
Раскальвателья стала половица.

Так на море, подмытые волной,
Расходятся надломленные льдины,
Скрываясь за туманной пеленой.

У края материнской половины,
Все дальше расходившейся с моей,
Я долго видел мамины седины.

Чем хуже становилось мне видней
И маму, и над мамой те полдома,
Тем больше я тянулся сердцем к ней.

Душа моя была к ней так влекома,
Что я чуть не ступил на грань живых
И не сорвался в темноту надлома...

О, матери!.. В чем тайна силы их
Биомагнитного сопротяженья
С душой и сердцем сыновей своих?

В нас тот все ритм свои побудки бьет,
Родимой крови музыка живет,
Услышанная нами до рожденья.

У нас все тот же ритм свои побудки бьет,
А перед сном, как бы из дали дальней,
Мать ту же колыбельную поет.

Во сне мы дети, даже идеальней,
Очищенней от скверны бытия.
Сон - это жизнь души, она - реальней.

Недаром в сон пришел я, как дитя,
Недаром сердце матери прослушал,
Бесстрашие на страхи обретя.

Дух Данта жил во мне, крепя мне душу,
И ежели стихами "Мать и сын"
В своей душе дух Данта я разрушил,

То сохранил суровый строй терцин!
1984

ЗАВОЕВАТЕЛЬ И МАСТЕР

Лишь мастерству
Провозглашаю славу
И поклоняюсь только мастерству,
Владеющему истиной по праву.

Любезное природе по родству,
По красоте и силе устремлений,
Оно не изменяло естеству.

Хвала тебе, тот безымянный гений,
Сказавший миру первые слова
Для первых чувств любви и вдохновений.

Для первых злаков, что дала трава,
Для плоти их, почти что неразварной,
Ты первые придумал жернова.

В той сумрачной поре первоначальной
Для глины, взятой с илистого дна,
Ты изощрился сделать круг гончарный.

И в лебедином горле кувшина
Заголготали поклики и клики
Тогда еще безгрешного вина.

С лиющейся душою ты, великий,
Умом для мудромыслия воскрес,
Листнув еще страницу вечной книги.

Тебе открылся новый мир чудес,
Когда ты поднял на пустынном поле
Кусок железа, брошенный с небес.

Ты стал ковать мои земные боли
И заострять страдание мое
Уже тогда, хотя и поневоле.

Ты отковал то самое копье,
Днесь ставшее ракетою крылатой,
Как нам теперь остановить ее?..

И виноватых нет, хоть есть утраты,
А виноват ли я, не живший всласть,
За все плативший горестною платой?

А ты?.. Ты, напрягая ум и страсть,
Науки породил в потемках века,
Но дал и разрушительную власть.

Та власть, пробившись слабеньким побегом,
Потом веками на крови росла,
Чтоб человек взошел над человеком.

Та власть свои корысти вознесла,
И стало ремесло твое, кователь,
Позорною прислужницею зла.

Как первого оружия создатель,
Ты, хитроумный мастер, виноват,
Что вслед тебе пришел завоеватель.

Пришел. Облекся в царственный наряд,
И вождь, и благодетель, и спаситель,
Раздатчик наказаний и наград.

А коли так, божественный Пракситель
С небесною архитектурой лба
Уже не чудотворец, а проситель.

О, мастера печальная судьба,
Когда он среди многих унижений
Становится униженней раба,

Когда вся красота его творений
Дойдет, низринутая с высоты,
Обломками для поздних поколений.

И как всегда, из праха красоты
В окраске привлекательной и броской
Восходят ядовитые цветы.

Так в отблеске искусств, цветущий плотски,
В сиянье шлема и дамасских лат
На сцену мира вышел Македонский.

Гордец, честолюбивый психопат,
Проживший по тщеславному девизу:
Для славы не жалеть чужих утрат,

Друзей своих губивший по капризу,
Индийские сжигавший города
Для фона заполночному стриптизу.

В нем не было ни чести, ни стыда,
Но вот что странно, если строже виникнем
В несправедливость позднего суда.

Уж не за то ль, что был во гневе диким
И безрассудным, этот сумасброд
Мольвою рабской наречен великим?

Придумали, что он любил народ,
Дань отдавал и мастерку и плугу,
Не знал предела для своих щедрот,

И даже Аристотеля в заслугу
Ему поставят, как ученику,
Любившему искусства и науку.

Лишь к Диогену нежность сберегу
За попросту отвергнутое счастье,
Предложенное щедро бедняку:

“Проси, получишь все, что в царской власти!”
Да славится мудрейший из людей,
Ответивший владыке: “Свет не засти”.

Черным-черно предательство царей,
Но из предательств подлых и подлеих
Предатель революции подлей.

Не жаль мне честолюбием болевших,
Людей толкнувших в нестерпимый ад,
Огонь раздувших и в огне сгоревших.

Наполеон откроет этот ряд,
Что обагрил себя из-за короны
Всей двусторонней кровью баррикад.

Потом он будет сочинять законы
Холодным стилем шпаги и пера,
Раздаривать пустующие троны.

Все та же золотая мишуря
Смутила вас, искусные в работе,
Художники, поэты - мастера.

Не кто-нибудь, а седовласый Гете,
Мудрейший муж, сказать ему в укор,
Стоял пред ним по собственной охоте.

Обманчив был удачливый позер,
Еще небитый палкою славянской
За честь России и ее разор.

Лишь мать творца империи гигантской
Входила в златолепные дворцы
В своей простой одежде корсиканской,

Смотрела, как деляги и дельцы
Выслуживались службою в бесчестье,
И стягивала на груди концы

Своей домашней шали козьей шерсти.
К ней липла лесть, но надо ей воздать,
Летиция не поддавалась лести.

Умевшая в семье повелевать,
Суровая, она при всех соблазнах
Не изменяла званью - просто Мать.

О, сколько было их, дурных и разных,
Сжигавших и топивших мир в крови,
Порождено утробой жен прекрасных!

Все гитлеры с девизом “жги и рви”
Рождались и рождаются на свете,
Зачатыми не по людской любви...

Они чисты, пока всего лишь дети,
Но в жизни, где порокам нет числа,
В них пробуждаются пороки эти.

Рожденные в любви не знают зла,
И потому даются им не в сраме
Дары искусств и тайны ремесла.

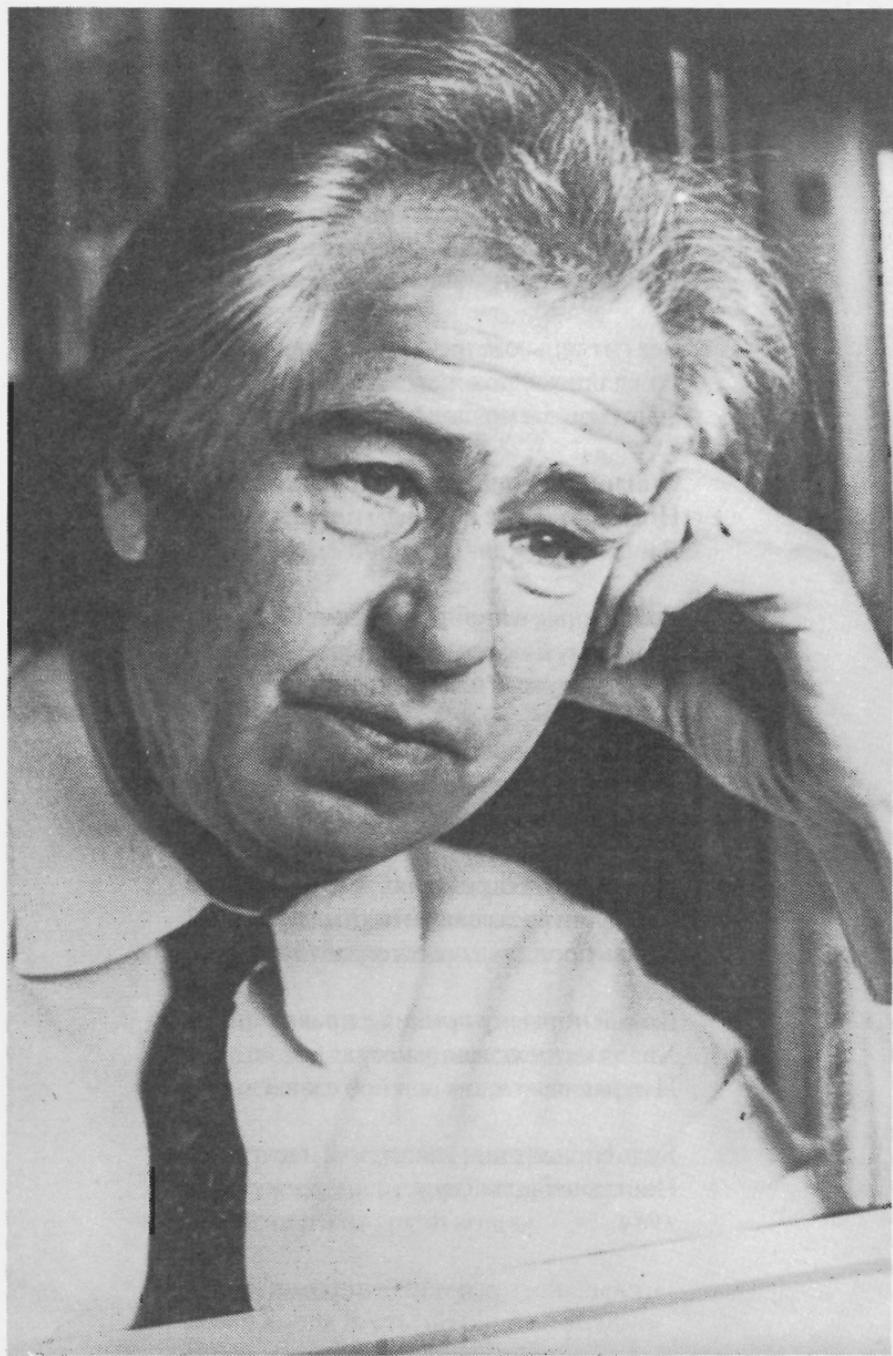
За то и нарекли их мастерами,
Творящими и крылья, и полет
По трассам с неизвестными мирами.

Но почему в скрижалях жив и тот,
Кто души растлевал и портил нравы,
Кровь проливал, ужесточая гнет.

До сей поры историки не правы,
Хваля их, околесицу несут
И отправляют ядом ложной славы.

Будь справедлив,
Наш запоздалый суд!

1984





Новеллы Сны поэта



Соть, как воссиянна.
~~Иль~~^{Аллея} не
приведибо, а ~~в~~^ведибо.
Спринеси пророка
и савастильку, праск-
упицест в Сретени
как бы в сонце
изглади, ~~и~~^и въ зем-
лю ~~боян~~, ~~богатырь~~
Одесати, ~~и~~^и въ
стру въздыханіи.
Чеса. о. о. Членовъ
~~приведи~~ ~~засуди~~ ~~въз~~
как ~~засуди~~ - ~~засуди~~
~~засуди~~, ~~засуди~~
иудо-го.

...Есть у Сна свой мир,
Обширный мир действительности странной.
Байрон, "Сон"

ОТАВТОРА

Собственно, это не рассказы в их обычном понимании, а пересказы реальных снов, виденных мною в разное время и записанных, кроме ранних, по их свежим следам. Если ранние сны были короткими, эпизодическими, которые запомнились на всю жизнь, то позднее они стали даже сюжетными. Именно такие я начал записывать, а иногда и по-своему толковать.

Сон - это продолжение дневной работы, только в других сферах разума, возможно, отдающих днем. Не обязательно, чтобы работа продолжалась в прямой связи с дневной, но мне приходилось трудные задачи решать часто во сне. Для пользы дела сон оживлял то, что долгие годы лежало в отвалах памяти. С ним (соном) у меня связана как бы вторая творческая жизнь, принимающая порой причудливые символические формы.

*Во сне мы дети, даже идеальней,
Очищенней от скверны бытия.
Сон - жизнь души, она еще реальней.*

Своим названием "Сны поэта" я хотел подчеркнуть их специфичность. Не каждому во сне может увидеться такое. Положения не меняет даже тот факт, что в пересказы включены и те, когда их автор не обладал еще званием поэта. Мои ранние сны многое сделали, чтобы это случилось. Они помогали формировать мое поэтическое самоощущение и самосознание. Вообще в жизни поэта они, на мой взгляд, являются тем, что нельзя запрограммировать в пору ученичества, да и потом, уже в творческой работе, что в конце концов можно назвать поэтической интуицией. Вот почему к своим снам я относился и по-прежнему отношусь вполне серьезно.

ЧЕРТОВО МОЛОКО

Самый первый сон, который я помню, был страшный: меня проглотил черт. Он явился ко мне в образе черной тигрицы с отвислым животом и острыми сосцами кормящей матери. У сосков был только один ряд, и все они были похожи на шпингалет нашего рукомойника. Из них капало белое молоко...

Зимой мы, ребяташки, спали с матерью на полатях: к утру старый дом выстуживался, а там, у потолка, всю ночь держалось тепло.

Каким-то чудом я, маленький, очутился в риге, где в бревенчатой пристройке - овине - сушили снопы, а потом молотили их на плотно прибитом току. В углу лежали уже обмолоченные снопы и высилась горка мякины. Пахло тишиной и одиночеством, соломой и мякиной. Да, у тишины и одиночества есть свой запах.

Помню, сидел я на снопах, в самом уголке, и, замирая сердцем, ЧТО-ТО ждал. И оно явилось. Все мое тело пронзило чувство: на меня кто-то смотрит. Но вокруг никого не было. Тогда я посмотрел вверх, под соломенную крышу, - и увидел черта, глядевшего на меня бледно-фосфорическими глазами. Черный, он по-кошачьи шел по нависшей жерди в мою сторону. Жердь покачивалась, и покачивался отвисший живот, покачивались острые сосцы, разбрызгивая молоко. Одна из капель упала мне на лоб и повергла меня в холодное оцепенение. Ни двинуться, ни закричать. А черт шел и шел, не отрывая от меня своих чертячьих глаз. Покачавшись на конце жерди, он упал на снопы, отскочил от них почти под крышу, снова упал и снова отскочил...

Долго-долго колотился черт о снопы, о мякину, должно быть, нагонял себе аппетит, потом, весь распаренный, лоснящийся, подошел ко мне и... проглотил меня. Он меня не кусал, не жевал, а просто взял и проглотил. Все мое тело сразу же обдало какой-то тесно облегающей теплотой. Видимо, я застонал, а то и закричал от страха, потому что встревоженная мама растолкала меня.

- Что с тобой?!

Тут я проснулся, быстро сообразил, что к чему, и, не отвечая, притворился снова спящим. От радости уже не мог заснуть. Долго лежал в темноте с открытыми глазами - все хотел и не мог вспомнить, были у черта рожки или нет?

Утром мать опять спросила, почему это я ночью кочевряжился и

не давал никому спать. Братишки и сестренки ехидно улыбались. Они с нетерпением ждали моих объяснений, но не дождались. Таился я вовсе не от них, а от матери. Она была великой разгадчицей снов, а из ее прежних толкований я уже знал, что если приснится черт - это плохо, а тут не только приснился, но даже проглотил меня. Опять же, мама говорила соседке, что увидеть во сне молоко - это к хорошему. Все будущее мое держалось теперь на этом молоке. Молоко хоть и чертово, а все же настоящее белое молоко. К тому же у черта не было рожек.

Одним словом, своим собственным толкованием сна я пытался ослабить, если не предотвратить, нечто роковое. Видимо, это мне, как я ни изощрялся, не удалось. Вскоре на тех же полатях, укрывшись той же дерюгой, я сочинил свое первое стихотворение.

МОИ МЕТАМОРФОЗЫ

Днем я рисовал Ньютона.

Увиденный в численнике, он поразил меня своей благородной внешностью высоким лбом, широким разлетом бровей, красивым носом - в полуprofilе и жесткими губами с тонкой горчинкой в уголках. Особенно понравились мне его волосы, двумя каскадами падавшие на плечи.

Знай я тогда, что эти живописные волосы не его собственные, а парик, может быть, не стал бы тратиться в красках и бумаге. А тут, чтоб увеличить его до портрета, не пожалел большого листа полуватмана, привезенного из города старшим братом. Кстати, и численник достался нам от него.

Выписывая волнистые пряди Ньютона, я с завистью думал: "Жили же люди! Вон какие отмахали - и ничего, а моим и на три сантиметра не дают отрасти". Действительно, оберегая мою голову от вшей, меня стригли чуть ли не каждый месяц, и притом ножницами, которыми стригли овец, отчего моя бедная голова всегда выглядела исполосованной

Такой она мне и приснилась.

Странно, в зеркало я не смотрелся, а между тем видел свою голову в этой неприглядной полосатой стрижке, особенно унизительной и постыдной на фоне ньютоновского портрета. И - о, чудо! - волосы в рядах и между рядьях зашевелились, начали заметно расти и куститься,

даже чуть-чуть кудрявиться. Было удивительно радостно видеть, как украшается моя голова, как облагораживается обезображенное стрижкой лицо.

Но тут с моей головой стало твориться что-то неладное. Радостное чувство сменилось тревогой. Волосы росли и крупнели, становились похожими на стебли пшеницы. Из стеблей стали не просто прорастать, а выстреливаться крупные колосья. Они покрыли мою голову, нависли надо лбом и висками. Моей детской головы им было мало уже, и голова тоже начала расти и становиться похожей на суслон, покрытый сверху тремя снопами. Где-то в стороне летела ворона, и меня охватил испуг, что она мою голову примет за суслон и сядет на нее...

Утром я спросил у мамы, к чему бы увидеть во сне пшеничные колосья вместо волос, и рассказал ей сон, особенно нажимая на свою дурную стрижку.

- Это к хорошему, - ответила она, - хлеб всегда к хорошему, хоть в ломте, хоть в колоске. А колоски не были пустыми?

- Нет, мама, зерна из них так и выпирали!..

- Тогда совсем хорошо.

Сон был как "в руку". Во-первых, когда наступил срок очередной стрижки, его как-то незаметно пропустили, во-вторых, когда минул еще месяц, к нам пришел деревенский портной и постриг уже не наголо, а как взрослых - с оставлением чубчика. Но история с моими волосами на этом не закончилась.

Месяца через два-три я нарисовал Пушкина. Поскольку уже знал, что в нем текла африканская кровь, то в дело пошла черная краска. Кудри были черные, брови черные, бакенбарды и того черней. Когда мама увидела его рядом с иконами в посеребренных и позолоченных окладках, она всплеснула руками:

- Эту черную охарясину - рядом с образами! - и полезла на лавку, чтобы снять его, но я истошно закричал:

- Мама, это же Пушкин!

Мой крик остановил ее. Она посмотрела на иконы, бросила взгляд на моего Пушкина, потом на меня и спустилась с лавки. В простенке между окнами у нас давно облупилась штукатурка, и теперь там желтела глина, замешенная на рубленой соломе и мякине. Мама сердито ткнула пальцы в язву на белой стене:

- Вот куда надо было повесить!..

- А-а, Пушкиным дырки прикрывать!..

Словом, я его отстоял. Но дело не в этом. Уже сочинивший несколько стихотворений, я часто любовался им и завидовал черноте его кудрей, приписывая им все чудеса таланта. Мне было тошно смотреться в зеркало и видеть белесый чубчик над вылиневшими бровями. Из-за светлых волос у меня было семейное прозвище Седой Бык, а еще Батя Кемеровский, и тоже из-за седины какого-то кемеровского попа, крестившего меня в день Василия-капельника.

Чем чаще я смотрел на Пушкина, тем больше предавался самовнушительному желанию, чтобы у меня потемнели волосы и брови. Теперь я заставлял себя смотреться в зеркало только из презрения к цвету своих волос, а на Александра Сергеевича - из каждоголеточного желания потемнеть. И что же вы думаете! Мои волосы и брови, к моей неописуемой радости, начали притемняться. Сначала у них появилось что-то вроде тени, потом эта тень стала пропасть и становиться вполне зрямой. И когда мои волосы и брови потемнели совсем, жизнь нанесла мне непоправимый удар. В одной из книжонок, попавших в мои руки, я вычитал, что у Великого Пушкина были рыжеватые волосы...

В СТРАТОСФЕРУ И ВЫШЕ!

Еще раз о полетах во сне.

Все прежние полеты были обычные, околоземные, можно сказать, домашние: над домом, над соседским тополем, над березовой рощей. Притом их можно отнести к разряду одиночных. Действовал сам по себе, захотел полететь - полетел, захотел опуститься на землю - опустился. Но однажды мы летели с дружком Петкой Сапрыкиным. Начался полет обычно. Топнули ногами, подскочили, замахали руками - и полетели...

Прежде при полетах мы, как правило, находились в вертикальном положении. На этот раз у нас была полная свобода положения тела: вертикальное, горизонтальное, боковое. Мы играли в воздухе, как ласточки. Гонялись друг за другом, увертывались, входили в пике, взмывали над березами, кружились над болотцем, что еще держалось за их огородом. Помню, догоняя дружка, я пытался ухватить его за ногу, но тот ловко увертывался, потом нырнул к земле, я - за ним. Почти

у земли мне удалось поймать его за большой палец правой ноги. Он тут же свечкой взмыл вверх и вынес меня над шумевшими кронами березняка, затем вытянул руки вперед, как при нырянии, но пошел не вниз, полетел в небо - все выше, выше, выше...

Возвращаться на землю одному стало страшно, и я продолжал держаться за палец его ноги, а он все летел и летел. Учитель нам говорил, что на большой высоте воздуху гораздо меньше. Теперь мы убеждались в этом. Его разреженность виделась на глаз. А Петька все летел и летел. Воздух уже встречался небольшими теневыми ключами. Дышать стало почти невозможно, а Петька все летел и летел...

Если обычные полеты наш учитель толковал как воспоминание о том времени, когда человек был птицей, то как растолковать этот сон? Не память ли это о том, что человек прилетел на землю из какого-то далекого мира? Лично я был бы рад, если бы ученым и фантастам, верующим в такую возможность, когда-нибудь удалось доказать это. А если нет, то все равно нашей древней тяге к космосу есть объяснение не только научно-прикладное, а более глубокое - биологическое. Ученые все более склонны считать, что жизнь на Земле, в ее самых первых стадиях, была все же занесена откуда-то оттуда. А у всякой жизни есть память. И совершенствовалась жизнь на всех стадиях памятью, только не той, вернее, не только той, которую мы в обиходе признаем за память, а той, изначально клеточной. Может быть, мои клетки вспомнили и потянулись к своей далекой прародине?

Петра Сапрыкина давно нет. Он не вернулся с Отечественной войны. Я часто вспоминаю его не только по играм с ним в яви, но и по странному полету во сне. Не будь этого сна, может быть, у меня никогда не возникло бы интереса к звездам, к авиации, к стихам о "Седьмом небе". Гибель друга детства стала моей личной утратой более всего - из-за его причастности к тайне призрачного полета. Это он летел в стратосферу и выше, а я только держался за большой палец его правой ноги. В одной из ранних поэм у меня о нем сказано:

Я в жизни моей необычной
Себя не старался спасти.
Прости меня, друг закадычный,
Хороший товарищ, прости!

ЖАР-ПТИЦА

Сначала была курица.

Нет, все началось с яйца.

В узеньком тупике между бревнами соседского сарая и высокого забора я обнаружил куриное яйцо. Оно было еще теплое. Возвещая о нем, где-то неподалеку еще кудахтала курица. Я был мал, но хитер. Чтоб не отпугивать ее от гнезда, яйцо брать пока что не стал. “Вот будет три-четыре, - соображал я, - тогда можно их реквизировать и получить за них по полкопейке за каждое”. В моем воображении складывались сумма, по тем временам и моему возрасту немалая. На нее можно было купить сайку, которая по-городскому называлась “французской булочкой”. В перспективе узенький тупичок между бревнами уже представлялся мне Клондайком.

Морально-нравственная проблема этого дерзкого предприятия решалась довольно просто. Во-первых, нужно было показать маме, что клад обнаружен на нейтральной территории с тяготением к нашему двору, во-вторых, доказать, что наши куры ни при чем, в-третьих, убедить, что несушка не принадлежит и бабушке Афимье. После этого, как вольный охотник, я мог распорядиться находкой.

Все три условия были соблюдены. Правда, мама на всякий случай усомнилась: “Вась, а может, это наша?” - и скосила глаза на оттопыренные карманы моих замызганных штанишек. Но моя стойкость была неколебимой. Две наши курицы перестали нестись, и я намекнул, что не пора ли им - чугунок. Смущенная моими доводами мама тактично отступила. Но, видимо, я так волновался, что выронил большой медный пятак, бывший при мне. На случай всех потерь, у нас, ребятишек, было свое заклинание: “Мышка, мышка, поиграй да отдай! “ Сколько раз со слезами на глазах умолял я мышку: “Мышка, мышка, поиграй, да отдай!”

Мышка не отдавала.

Тогда я пошел на крайность и сказал: “Вот если отдашь, все яйца положу обратно в гнездо. Пусть их возьмет мама!” И как только я это сказал, перед моими глазами оказался мой честный пятак. Это произошло так быстро, что у меня появилось подлецкое сомнение: мышкина ли это работа? Все же голос чести возобладал.

Спалось мне в ту ночь неспокойно. Мучил вопрос: правильно ли я

поступил с точки зрения здравого смысла? Тоже нашел кому давать слово: мышке! Вон бабушка Афимья самому богу обещания дает, а не выполняет. И тогда, уже во сне, я потихоньку спускаюсь с полатей, нахожу тетрадь, вырываю сдвоенный лист и выхожу на крыльцо. Высокий лунный свет заливает двор. Крадучись добираюсь до гнезда укладываю яйца в бумагу - их уже штук шесть! - и выбираюсь из коридорчика. На белой бумаге, залитые лунным светом, яйца становятся необыкновенными: матово-нежными, почти прозрачными. Тороплюсь куда-то их спрятать. Под крыльцо! Но едва дохожу до крыльца, как позади меня раздается кудахтанье курицы. Оборачиваюсь - и вижу ее на нашем сарае. Она только что снесла яйцо. Оставляю сверток на крыльце и взбираюсь на сарай. Нахожу гнездо и в изумлении ахаю. В гнезде лежит не куриное, а какое-то другое, необыкновенно большое, больше гусиного, причудливо расписанное яйцо. Как живое, оно лежит и дышит: то увеличивается, то уменьшается...

Не успел его даже тронуть, как на меня набросилась огромная птица и ударила крылом. Была она вся серебряная, розовато-лунного отлива, и только высокий гребень на маленькой головке был огненно-красный. Мне удалось ухватить ее крыло, которым она била меня, и прижать к себе. Расслабленное крыло затрепетало, по ее вздрагивающим перьям потек лунный свет. Тогда она ударила меня свободным крылом. Птица была живая, а перья и впрямь серебряные. При каждом ударе крыла слышался легкий звон.

Ухватив и второе крыло, я прижал ее к себе еще сильнее, догадываясь, что это Жар-птица. Ее маленькая головка с огненным гребнем подвернулась под крыло, и мне стало боязно, что она погибнет. На мгновение я отпустил руки, и, как только отпустил, птица ударила меня прямо в сердце. Удар был почти безбольный, но смертельный. Сознание гасло вместе с лунным светом и блеском замирающих перьев.

Утром, на что бы ни поглядел, все казалось неправдоподобно странным. На крыльце я оставил сверток. Его не было. Забор туничка выглядел до тоски буднично. Взглянул на крышу сарая. Она давно проходила. На ее дряблых березовых ребрах клочьями лежала прогнившая солома.

Лучше бы я не видел этой Жар-птицы!

ПОЧТИ ПО ФРЕЙДУ

Сон - вторая память человека. Часто сны восстанавливают связи, разорванные временем. Пройдет три-четыре десятка лет - где тебе вспомнить какой-нибудь мелкий факт, а сон возьмет и напомнит. И долго будешь ломать голову, почему и зачем привиделось и вспомнилось.

В нашей деревне воду брали из-под горы: для питья из колодца; для бани - мягкую, настоящую на аире и трехлистке - из озера. Зимой из проруби черпать было куда легче, но зато куда трудней возить воду на гору. Дорога была крутой и оледенелой от частых выплесков воды из полубочий.

Наша Рыжуха в ту зиму оказалась не подкованной даже на передние ноги. Нечем было заплатить кузнецу не только за работу, но и за подковы с гвоздями. Подниматься в гору ей было мучительно трудно, а мне было за нее страшно. Почти по-человечьи осмысленно она выискивала лунки, выбитые подкованными копытами, и делала рывок. В том-то и таилась опасность. Голова ее была низко наклонена, и лунки могли незаметно привести ее на край горы, к ледяному раскату - к непоправимой беде. Мне приходилось поминутно отворачивать страдалицу ближе к горе, где дорога была для нее еще хуже. Скользя, она припадала на бабки и до крови обдирала кожу. Мне было жалко ее до слез, и она это видела. Видела и старалась. Только в больших, умных глазах стояло холодное ожесточение...

И вот, спустя тридцать с лишним лет, вижу: мчусь верхом на Рыжухе со стороны Маленьких лужков к той самой горе. Теплый ветер обдаст лицо, играет гривой, которая щекочет мне руку с поводьями. На душе легко и беззаботно. Но вот Рыжуха доскакала до горы, до того крутого подъема, и остановилась как вкопанная.

- Вперед! - крикнул я и ударил пятками в ее бока.

Она только вздрогнула, но не сдвинулась с места. При новом ударе повернула ко мне затуманенный глаз, как бы спрашивая: "Помнишь?" И я вспомнил все: и ледовый подъем, и лунки, и подогнутые бабки... Вспомнил все и не удивился, - что с крутого ненавистного подъема даже теперь Рыжуха рванулась в сторону - к еще большей крутизне...

Тут произошел какой-то сдвиг местности. И мы уже взбираемся не в Марьевке, а где-то в другом месте, где тропа каменистей, а край

обрыва отвесней. Рыжуха легко перескакивает с камня на камень, но делает последний рывок и... повисает над обрывом лишь на подогнутых бабках. Мне хорошо видны ее подогнутые бабки, начавшие было разжиматься, но вот - тело ее напряглось, копыта припаялись над обрывом и она стала выжиматься на них, как выжимаются на руках физкультурники...

Напряжение ее тела передалось моему телу. Я чувствовал порывистую дрожь ее мускулов, отмечая едва приметный подъем вверх, видел припаянные копыта и медленный разгиб бабок с темными пятнами содранной кожи...

Все выше, выше, выше...

Из-под содранной кожи брызнула кровь. Она брызнула одновременно из правой и левой бабки, но те вдруг выровнялись. Я проснулся с полным сознанием, что мы с Рыжухой все-таки выбрались из незнакомой пропасти...

Той же весной мне довелось быть в Ессентуках, встретить там знакомого, который сказал, что знает оригинального врача-травника, учившегося в Иране и хорошо знакомого с народной медициной Востока. К тому же свой человек в том смысле, что сочиняет музыку на слова горских поэтов Кавказа и даже сам балуется рифмами.

Над другой день мы сидели в кабинете смуглого узколицего человека, который сразу же вцепился в меня темными глазами, глазами с легкой сумасшедшинкой. В разговор о музыке, о стихах, о поэтах ессентукский оригинал вставлял неожиданные вопросы, из которых я понял, что кроме восточной медицины он поклоняется еще и Фрейду.

- У вас бывает беспричинная печаль?
- Да, доктор.
- А бывает, что Вы беспричинно радуетесь?
- Да, доктор.
- Вам снятся сны, что Вы падаете куда-то в темноту, в пропасть?
- Нет, доктор, - наоборот!.. Мне часто снится, что я выбираюсь из пропасти...

ДВОЙНИК

У снов не бывает экспозиций.

Сны, как правило, сразу берут быка за рога.

Вот сижу я на собрании поэтов, на коем, как я уже знаю, должны обсуждать какой-то мой неблаговидный поступок. Кажется, после буфетного захода кому-то наговорил непозволительные резкости. Сижу и мучительно думаю, как мне оправдаться, что сказать. Ничего не могу придумать. Да и оправдываться-то незачем. С каких пор правду стали принимать за грубость? О улыбки, улыбки!.. Скажи я им какую-нибудь гадость с улыбкой, наверняка простили бы, а вот теперь... И вообще, поэты стали капризными, ведут себя, как взбалмошные жены, чуть что - в местком, в партком!.. Ах, мой муж Вася обидел меня, он сказал... И вот уже местком, партком воспитывают мужа Васю. Нет, пусть мои друзья-поэты не думают, что надерзил я попусту, - размышляю я, - поэзия не детский сад... Что сказал, то сказал.

А собрание, слышу, шумит и требует меня на трибуну. Вскакиваю с места и, потрясенный, замираю. Что такое?! Опережая меня, к трибуне уже идет...

Я иду!..

Понимаете, Я!..

Я узнал себя со спины. Тот же высокий рост, тот же костюм, только хорошо отутюженный, ботинки тоже мои, только до блеска начищенные, те же седеющие волосы, но только аккуратней пострижены. И походка, чувствую, моя, только более спокойная и деловая.

Напряженный, жду: пусть обернется!.. Пусть обернется!.. И он... вернее, я оборачиваюсь. Да, я вижу свое лицо, но куда лучше, я бы сказал, благородней: глаза спокойные, чистые, как бы отстоявшиеся, губы подтянутые, вроде бы туго зашнурованные, без обычной кособочинки нижней губы. Жесты будто те же, но мягче, округлей, речь сдержанна, без моего частого "понимаете". Меня поразили зубы: белые, непрокуренные, созданные для улыбок. К тому же он, стервец, умеет вовремя показать их.

Мысли были мои, но они звучали совсем по-другому: убедительней в своей логике, эмоционально доверительней. И слушали его,

вернее, меня, благожелательно внимательней. И сам я увлекся речью моего двойника, радуясь, как умно, как хорошо он говорит, с достоинством каясь и оправдываясь перед товарищами.

- Вы же прекрасно знаете, что стихи пишут не ангелы! - сказал мой двойник с такой виноватой улыбкой и таким растерянным жестом, что все засмеялись. Засмеялся и я.

Нет, он решительно нравился мне в эту минуту. У меня бы так не вышло. Волнуясь и горячясь, в добавление к прежним наговорил бы еще больше дерзостей, после чего мне бы уже наверняка не простили, а после его речи председатель ограничился формулой "принять к сведению". Стало даже приятно, что в нем, то есть через него, я вел себя почти идеально. У меня, наивного, была еще вера, что я - в нем и он действует от меня, по моей воле, но вскоре мне пришлось разочароваться и в этом. В тот же вечер у меня, помнится, должно было состояться выступление в электромеханическом институте. Задержанный собранием, я приехал туда с большим опозданием. Выступал популярный тогда поэт и, казалось, парил над залом, поднимаемый всплесками рук. В минуту затишья ведущий увидел меня, пережидавшего в проходе, и сказал в микрофон:

- А вот и опоздавший!..

Все повернулись в мою сторону. Но только я рванулся к сцене, как впереди себя - о ужас! - увидел собственный затылок и спину. Мой двойник успел переодеться и, что странно, был в том новом костюме, который я после второй примерки еще не удосужился взять из мастерской.

Расторопность двойника на этот раз меня удивила и озадачила. Начиналась уже какая-то отсебятина. Однако дальше он повел себя так, как повел бы себя я. Сел не прямо за стол, а во второй ряд, где, как я всегда считал, легче сосредоточиться для выступления. Впрочем, на его беззаботном лице не было и тени застенчивости, часто владевшей мною. Вот ведущий обернулся к нему, что-то сказал, тот в ответ сделал ручкой: "А, мол, все равно..."

К началу его выступления я пристроился в конце зала позади девушки. Одна из них оглянулась на меня и зашушукалась с другой. Та, другая, тоже сверкнула глазом. Они снова зашептались, взглядавшая то на меня, то на сцену. Наконец первая спросила:

- Простите, вы - его старший брат?

- Почти отец! - вымученно сострил я.

А мой двойник уже шел к рампе, чего я никогда не делал из боязни обнаружить недостатки в своем туалете. Кроме того, на трибуне можно всегда заглянуть в бумажку. Я так и впился глазами в своего непрошено го заместителя. Он стоял высокий, стройный, даже элегантный в моем новом костюме. Стоял как человек, знающий себе цену. "Как начнет, с чего начнет?" Мне претило театральное чтение, а начинал я со стихов, которые хорошо помнил. К моему ужасу, зазвучали строчки, которых я и сам не помнил, притом зазвучали с каким-то намеком в мою сторону:

По холодному блеску
Стальной колеи
Поезда убегают -
И все не мои...

Читал он, лиходей, хорошо. Все помнил, ничего не съедал в спешке, попусту, как я, не размахивал руками. Мимика лица и жесты точно соответствовали смыслу строк. Голос звучал бархатно, но не так, чтобы смывать интонационные нюансы. Страстная горячность порой сменялась жуткой холодностью. Ни одной запинки, как будто у него от курения не было катара горла. У меня появилось глубокое желание, чтобы он сорвался, опозорился, но я тут же подумал, что весь позор срыва падет на мою голову, на мое имя...

Что за дьявольщина!..

Грохот аплодисментов поднимал его и унижал меня. "Но ведь это же мои стихи, - утешал я себя, - это же мой труд, моя слава". Но тут мои иллюзии были беззаботно разбиты девушкой, сидевшей впереди. Она обернулась ко мне и сказала, явно кокетничая - не со мной, а через меня с тем, стоявшим у рампы:

- Ваш брат очень талантливый человек!

- Мы все такие! - ответил я с намеком. Шумно обласканный залом, мой двойник легкой походкой возвращался на свое место. Зал продолжал хлопать, и было похоже, что, вскинув руки, слушатели пытались дотянуться до него, чтобы удержать у микрофона. "Еще!.. Еще!" - кричали ему. Он остановился, обернулся, и я впервые заметил, как на его лице промелькнула этакая милая растерянность. И тогда в моем сознании вспыхнул коварный план. А знает ли он мои новые

стихи, еще нигде не напечатанные, никому не показанные? Прячась за спины девушек, я выкрикнул до противности хрипло:

- Пусть новые почитает!..

- Новые!.. Новые!..

Мне показалось, что мой удачливый дублер растерялся, бросил подозрительный взгляд в мою сторону, потер не обремененный заботами лоб, как бы что-то вспоминая. Во мне противостояли два чувства: злорадство и тревога. Злорадство держалось крепче. Но и оно оказалось преждевременным. Мой двойник вспомнил, и вспомнил именно те стихи, которые были еще свежи в моей памяти:

Счастливый
Я не нужен никому.
Счастливым быть
Мне стыдно одному.

Счастливый
Тяготеет к облакам,
К высоким звездам.
Где легко и вольно.
Счастливые, как боги, а богам
Ни жалостно,
Ни горестно,
Ни больно.

Стерпеть такого лицемерия я уже не смог. Ограбить меня, растоптать, да еще притворяться несчастненьким! С криком “негодяй!”, всполошив зал, я сорвался с места, раздетый выскочил на зимнюю стужу - в снега и метель. Обжигаясь ветром, куда-то спешил, а куда, и сам не знал. Домой? Но что делать мне дома? Если этот фальшивец напялил мой новый костюм - значит, моя жена его, такого идеального, уже знает. Не выкрад же он у нее квитанцию, не побежал же с ней в мастерскую...

В клуб!..

В буфет!..

В тот самый буфет, из-за которого и начались все мои неприятности. Оказывается, я горевал вслух, а может быть, они слышали мои мысли,

потому что прохожие в ужасе остановились, когда я в отчаянье подумал: “Если меня нет, то мне все можно!..”

Их ужаснула эта мысль, а не моя неприкаянность, не моя растерзанная безликость. Так ужасает крик, долетевший из-под развалин дома. Оцепеневшие, они стояли и прислушивались, не выкрикну ли я что-нибудь такое, что объяснит им смысл моей загадочной фразы. Но я бежал от них, испугавшись их страха, смутно догадываясь, что за моими словами кроется нечто большее, чем буфетно-клубное озорство.

В клубе тоже не удивились, что я пришел с мороза в затрапезном костюмчике. Даже хорошо знакомые писатели, хуже - начинающие поэты здоровались со мной вяло и неохотно, как будто им про меня что-то наговорили. Да, с тех пор как у меня появился идеальный двойник, я в себе что-то утратил. Не то чтобы я перестал быть самим собой, но что-то вроде этого. Куда-то девалось дотоле неприметное, как воздух, ощущение себя в мире как единицы великого бытия. Если бы появился двойник жалкий, пародирующий меня, я бы поднялся, возвысился на глазах других, а этот на каждом шагу меня убивал. Все мои горькие чувства еще больше обострились, как только я снова его увидел...

А я его увидел.

Веселый и беззаботный, он сидел в Дубовом зале клубного ресторана в кругу моих самых интимных друзей, и никто из них не заметил подделки. Вон с тем, солидно окающим, я знаком почти тридцать лет, виделся с ним все эти годы почти каждый день - и ничего. С той же поры знают меня и два других, тогда молодых и форсистых, подметавших своими матросскими клешами коридоры института. На их лицах нет и тени сомнения. А вон тот - конопатый, с головой апостола Павла, сколько раз он проигрывал мне на бильярде! А теперь сидит и, горячясь, напоминает моему двойнику о своих победах надо мной. Неужели же он не видит, что это не я? Только один - вон тот, с обманчивой простоватинкой на округлом лице, из расторопных саратовских мужиков, между прочим пристрастившийся к ростбифу, что-то уловил, но расценил это “что-то” как перемену к лучшему. Ласково щуря глазки, он сказал домашним скрипучим шепотком:

- Васек сегодня хорошо выглядит...

Да, да, да! Мой губитель действительно выглядел больше чем

прекрасно! Он выглядел на уровне моей юности, в печалах жизни не замеченной мной. Что было для меня минутным праздником, стало теперь его обычной нормой. Васек сидит с моими друзьями, за Васька пьют, Васек тоже пьет, пьет и невинно смеется. Вот его просят почитать стихи - из тех, с которыми не бегут в редакции журналов, которые из осторожности не показывают жене - еще что-нибудь подумает! - даже не записывают. И вот он читает мою давнюю шутку, сочиненную в какой-то клубной компании:

У нашей Гали
Мал росточек,
По-детски мал -
И в этом шик.
А в отношенье
Качеств прочих
У Гали
Все, как у больших.

Опять смех, опять Васек, прикидываясь забиякой, скалит свои белые зубы. А на меня - ноль внимания.

Почему?..

Почему же, наконец?!

Сто и тысячу раз - почему?!

Вот и я сижу за рюмкой, но ее подали мне, не замечая меня. Просто взяли деньги и подали. И от этого она вызывает во мне только презрение одинокого пропойцы. Мне видно: в Дубовом зале золотисто светится его приподнятая рюмка, как равная равным, она сходится с другими рюмками. На всех рюмках отражение лиц, а среди них - сияющее лицо моего двойника. А вот мое, отраженное на бутылке, тусклое и пустое.

Меня потрясает убийственная догадка: красота всегда за чей-то счет. Меня ужасает дикая мысль: красота, совершенство, гений - убийцы! Люди, умнейшие люди, знаете ли вы, что первым убийцей был не Сальери, а Моцарт! Сальери только мстил за собственную смерть.

О Моцарт, веселый, невинный Моцарт, ты все же догадывался о своем злодеянии, иначе не стал бы прятаться за спину бродячего

музыканта, перевиравшего твою музыку. Когда тот коверкал ее, ты смеялся, потому что хотел выглядеть невинным простачком, а Сальери помешал тебе, его убийце, спрятаться за спину уличного фигляра.

Мне не смешно, когда маляр негодный
 Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
 Мне не смешно, когда фигляр презренный
 Пародией бесчестит Алигьери.

Это не лицемерие, а только учтивость судьи, который еще только судит. Коверкая твою музыку, делая ее банальной, бродячий музыкант мешал ему осудить тебя. Как и в музыке, Сальери хотел быть скрупулезно точным, даже честным и здесь. Он хотел видеть в тебе то, что убило его, а не банальность и пародию. Банальность не убивает. Пародию можно было осмеять и выгнать, а что делать с хохочущим гением?

Мне казалось, что я разговариваю с воображаемым Моцартом, а увидел перед собой своего двойника. Незамеченный, тот подсел ко мне и уставился на меня пристальным, чуть-чуть ироничным взглядом.

- Дошел до оправдания убийства? - спросил он уже насмешливо.
 - А что? - взвился я. - Почему подсудно лишь физическое убийство?
 Разве духовная смерть безобидней?

Меж бровями моего визави высеклись две гневные складки.
 - Гений не убивает, а если убивает, то лишь трусов и ленивцев.
 - Ха-ха-ха!.. Вот новость!.. Сальери ленивец? Ха-ха-ха!.. Сальери, разъявший алгеброй гармонию, по-твоему, трус?! Трудолюбивейший Сальери, отдавший всю свою жизнь музыке?!

- Да, да, твой трудолюбивый Сальери - трус и лентяй! Жизнь надо отдавать жизни, а не музыке. Да, трус и лентяй, всю свою жизнь пробывший в шорах алгебры, побоявшийся сбросить их и заглянуть в бездны других исчислений. Он захотел утвердить себя в своей трусливой неподвижности. У него хватило прозрения лишь на то, что Моцарт, этот праздный гуляка, выше его, но не хватило смелости и дерзости с ним соревноваться...

Вид пустой рюмки почему-то расслабил меня, к сердцу подступила тоска поражения. В моем сознании закопошилась печальная мысль: "Неужели в своей ненависти к двойнику я похож на Сальери?" Нет, нет и нет!.. Лучше уйти самому, уйти и никуда-никуда не приходить. Врут поэты, когда их утешает мысль, что после смерти они взойдут

травинкой. Уходить так уходить, не запасаясь соломинкой. Я уже хотел сказать об этом двойнику, но встретился с его печальными глазами и обрадовался: "А-а, догадался шельмец, что он - это прежде всего я, что без меня его не будет. Да, но с ним, вот таким, не будет меня. Что за несุразица! С этим надо кончать!" - решил я и спросил его вызывающе резко:

- Зачем ты явился?

- Ты сам звал.

- Где и когда?

- Всякий раз, когда смотрелся в зеркало, видя в нем свой морщинистый лоб, свою рассеченную нижнюю губу, свои прокуренные зубы. Ты звал меня перед каждым своим выступлением, когда тебя обуревал страх провала. Наконец, ты звал меня после каждого своего сумасбродства, вспоминая свои дерзости и обиды. Мало? Могу назвать еще дюжину ситуаций, когда ты всей душой призывал меня, И я пришел.

- Но ведь я хотел оставаться самим собою, сохранять власть над своим именем и тем, что у меня есть.

- Так не бывает. За совершенство надо платить, за известность тоже. Впрочем, не все ли тебе равно! Народу нужны стихи, имя поэта, а я работаю на твое имя, понимаешь, на твое. Со мной оно стало громче.

- Значит, я буду работать, а ты меня представлять? Значит, работать такой я могу, а показывать себя людям не могу? Показываться будешь ты?

- А почему бы и нет, если я умею это делать лучше тебя, делать на твою же пользу. Когда ты уйдешь из жизни, уйду и я. Вся слава останется за твоим именем. На мою же долю падет совсем немного...

- сказал он элегическим тоном. - Мои портреты к твоим стихам. Редакторы непременно предпочтут мои портреты твоим...

- Не хочу, не хочу!..

И пока я кричал "не хочу, не хочу", к нам, вернее, к нему подошли мои друзья, с которыми он только что бражничал. Один из них, тот, обманчиво простоватый, обнял моего двойника за плечи и зашептал на ухо:

- Вечно ты, Васек, связываешься с пьяницами...

- Миша, не смей! - закричал я и... проснулся.

ГОЛОВА ЗЕМЛИ

24 августа 1968 года под Москвой я проснулся на рассвете с радостным ощущением только что увиденного сна и, не зажигая света, на попавшихся под руку листках записал его главные детали. А утром обнаружил, что листки еще накануне были мной исписаны. Поначалу между записями не усмотрел никакой видимой связи, но потом, по мере отделения первой записи от второй, по мере сгущения моих смутных догадок, она стала обнаруживаться все больше и больше. Получилось нечто похожее на археологию: чтобы понять загадки верхнего культурного слоя, надо было добраться до более раннего. Добравшись до него, я прочитал:

“Подражание - самый первичный акт всякого творчества. Несмотря на то что Первой жизни на Земле подражать было абсолютно нечemu, началась она все - таки с подражания. Когда перед ней, возникающей, встала проблема рациональной формы, Первая жизнь переняла у неорганической природы уже готовую конструкцию кристалла.

Даже теперь, на высшем уровне организации жизни, у нее есть качественно общие признаки с неорганической природой. Так, мелкозернистая структура сталей, камней - драгоценных и прочих - качественно всегда выше крупнозернистой. То же должно наблюдаваться и в живых организмах. Клетка доисторических животных была неизмеримо крупней клеток животных нынешних. Мелкоклеточная ткань обладает большей жизнеспособностью по сравнению с крупноклеточной, ибо за первой больше исторического опыта.

Между прочим, Земля изнутри - тоже звезда. В глубине ее нет в отдельности ни червонного золота, ни солнечной платины, ни лунного цвета бронзы и меди; нет в той глубине и редкостных камней-самоцветов - ни алмазов, ни рубинов, ни аквамаринов, а есть одно-единое, вечно бушующее звездное вещество. Все чудеса металлов и самоцветов рождаются потом, когда звездное вещество - праматерь всех веществ - устремится к поверхности Земли. Здесь звездное единство умирает и переходит во многое множество удивительных подробностей.

Если об этом догадался я, то ученыe-то знают это наверняка. Но кто открыл эту тайну женщине? Почему уже самая древняя из них потянулась к драгоценному камешку и украсила себя им, соединила

два чуда - чудо рождения этого камешка с чудом рождения своего тела? Знает ли она, что граненый камешек, мерцающий в матовой ложбинке ее полуобнаженной груди, приобщает ее к величайшей тайне мироздания, к его неповторимости, к исключительности. Ведь этот камешек - по тайне - родня ее телу, значит, и тело ее звездно и неповторимо, значит, и красота ее исключительна. Вот в чем магия драгоценных камней!

Но это уже поэтизация темы. Мне же надо быть только логичным. Речь идет о том, что у всех камней и металлов, порожденных звездным веществом, есть своя история, своя особая биография, свой исторический опыт, который подключится потом к опыту людей. Мелкозернистой стали в природе не было, ее сварили люди, как и многие сплавы, бывшие возможными только в звездном веществе. Если есть история, ее можно прочесть.

Была ли у неживой природы идея создания жизни на Земле? Конечно, конечно, она была заложена в том же звездном веществе, в его позднем распаде на металлы и камни, на кислоты и воды. В такой великой работе над жизнью случайности надо исключить. Случайность, конечно, могла быть, но только в порядке частности. Появление жизни было предопределено движением материи, а движение - уже идея, уже осмысленность в форме закономерности, предполагающая проекцию в будущее. Если мы однажды приняли движение материи как ее извечное состояние, мы с этим уже приняли все, что из этого может получиться. Поскольку это движение - процесс качественных изменений, то должны признать, что однажды встретимся с таким качеством материи, вернее, с такой совокупностью ее качеств, которые оказались подходящими для сотворения жизни.

Напрашивается некий итог: жизнь - закономерный, больше того - неизбежный этап в судьбе нашей Земли. В той же закономерности заложена главная пружина совершенствования и самой жизни. Но об этом я еще скажу более подробно, сейчас же для меня важен вывод, укрепляющий мою веру в неизбежное существование жизни на других планетах. Когда она зарождалась на Земле, в силу неизбежности она зарождалась не в одном месте, а на всех пенных отмелях Мирового океана.

Нас удивляет универсальность природы, ее предусмотрительность, ее находчивость, ее вседесущие связи и сообразности корней, тычинок,

семян, рук и ног, птиц и рыб, но все эти руки, ноги и лапы, когти и прочее, и прочее, и прочее - пустяки, их мог потом скроить и заурядный портняжка, благо у него было время перекраивать и перешивать. Меня удивляет мудрая простота первого шага, который сделала жизнь, притом сделала не в состоянии неведения, не в мучительных поисках сложного пути, а из простой необходимости опять же самого простого движения. Этот первый шаг дал ей потом неограниченные возможности развития и совершенства вплоть до нынешних ее форм. Я имею в виду переход от одноклеточных организмов к многоклеточным..."

Вот на этом-то тексте и был записан мой сон. Перебирая давние записи, я вспомнил, что должны бы быть еще два-три листка, но их почему-то не было. Должно быть, увлекшись поначалу собственной фантазией, я вскоре охладел к ней и листки уже не берег. Да и что было их беречь, если вся моя эрудиция в этом вопросе состоит из намека, что когда-то я прочел Опарина, иначе бы не появилось выспренней фразы о "пенных отмелях Мирового океана". О содержании этих утраченных листков намекала мне во сне и жена некоего ученого. Но не буду забегать вперед, а приступлю к прямому описанию своего странного сна.

Вообще-то все сны странные. Ну не странно ли - ложится человек спать, а через какое-то время видит себя идущим невесть где и невесть куда; идущим не просто по дороге или мостовой, а где-то во времени, в какой-то временной протяженности, вскоре сменившейся уже конкретностью пути и цели.

Так я оказался в нашей столице и с какими-то своими теориями в потертой канцелярской папочке шел к великому ученому с мировым именем, универсальность которого, редкая в наше время, была для меня особенно притягательной. Он был не только математиком, химиком и биологом, но и крупнейшим философом-социологом. В последнем своем качестве учений был привлекателен для меня своей смелостью, безбоязненностью суждений. Не то что некоторые - откроют что-нибудь, не ложащееся в известные рамки, чему не могут найти объяснение, и уже - на поклон к богу. Такие ученые думают в гордыне, что если их разум не может постигнуть открытие и приложить его к жизни человеческой, то остается взывать только к богу. Нет, мой ученый был не такой...

Путь к нему был и труден и долг. К заветной двери с медной

дощечкой "М. И. Глобов" шел я откуда-то издалека, из самой Сибири. На этот путь ушли годы исканий и терзаний, но теперь, нажимая кнопку звонка, я уже не испытывал никакого волнения: знал, с чем пришел. И все-таки...

Дверь мне открыла жена ученого - женщина без возраста, не то рано постаревшая, не то сохранившая себя - небольшого росточка, белокурая, голубоглазая и приветливая. Она встретила меня, как будто уже знала, что я должен был прийти, да и я, кажется, хорошо ее знал. Такие женщины не сами по себе, а всегда при ком-то. Знал я и то, что она была при философе не только женой, но и няней, личным секретарем, сиделкой, младшей и старшей научной сотрудникой, в свое время отказавшейся от аспирантуры и личной славы. Кроме того, на ней лежали все нравственные и этические проблемы дома, например проблемы отношений ученого с другими учеными, с их тщеславными женами, поскольку сам он на это не обращал никакого внимания. Особенно сердечной она была с молодыми, приходившими к мужу за своей будущей славой. В каждом из них она пыталась увидеть не просто ученика, а талантливого продолжателя своего маститого мужа, имя которого былоочно и неколебимо. С такой женой надеждой она смотрела на меня, вводя в библиотеку, но взглянула на мои ноги и деликатно улыбнулась.

- А калоши можете оставить вот здесь, рядом с калошами Митрофана Ивановича... - сказала она многозначительно в том смысле, что между ее знаменитым мужем и мной уже есть кое-какие общности, хотя бы в этом.

Да, на мне были грязные калоши. "Черт знает что! Откуда эти калоши?! В жизни своей не носил калош". Но это была неправда. В давние студенческие годы я их однажды носил. У меня были порванные ботинки, а на новые денег не было, тогда я купил калоши: они стоили намного дешевле. Вспомнив об этом, я даже испугался снимать их и ставить рядом с почтенными мокроступами Митрофана Ивановича - а вдруг на мне те самые ботинки? Так нет же, ботинки оказались новыми, даже модными...

Кажется, в библиотеку вводили не всех. Для явных граffоманов стоял столик в холле. В случае долгого ожидания в библиотеке можно было снять с полки книгу и почитать. Одна уже лежала на столе, видимо, кто-то до меня читал ее в ожидании. Как я обрадовался

знакомой книге! Это была поэма Лукреция “Природа вещей”, открытая на ее второй книге. Трепет прошел по моему телу, когда я узнал именно ту книгу, которую из любопытства прочел в юности. Она чудом оказалась в библиотеке нашего авиатехникума. Вот и мои карандашные пометки. Сдавая книгу, я их подтер резинкой, и теперь эти места остались шероховатыми. Какая экзотическая книга! Слева - латинский текст - его-то и читает ученый, справа - переводной русский. Что же меня тогда привлекло?

“Влага ко влаге течет, земля же из тела земного
 Вся вырастает, огонь - из огней и эфир - из эфира,
 Вплоть до тех пор, пока все до предельного роста природа
 Не доведет и конца не положит вещей совершенству...”

Блаженное чувство овладело мной. Замкнулся круг моих исканий. От этой книги и начался мой путь к ученому, и вот я снова пришел к этой книге. К блаженному чувству примешалось чувство горделивости. О том, как рождалась земля и жизнь, я знаю теперь больше, чем знал древнеримский поэт Лукреций Кар. Должно быть, на этой мысли во мне произошла нервная разрядка, и я ощутил усталость от безмерного пути: прислонившись головой к высокой книжной полке, я крепко заснул...

Очнулся я в тревоге. Пока спал, со мной что-то произошло, а что - непонятно. Около меня стоял великий Митрофан Иванович, на его строгом академическом лице, вознесенном надо мной, набегая, сменялись гримасы: удивление, растерянность, даже страх. В сторонке стояла его добрая жена и вымученной улыбкой пыталась сгладить какую-то неловкость, но и она не могла скрыть своей озадаченности. Было явно, что я не оправдал их надежд. Маститый ученый сосредоточенно хмурился и, ломая пальцы, пожимал плечами. Он был ошеломлен и не пытался скрыть этого. В его глазах я по меньшей мере смотрелся чудовищем, способным на самую невероятную выходку. А его жена наклонилась ко мне и заговорщики шепнула:

- Вы разговаривали во сне...

- О чём? - спросил я тревожно. Разговор во сне был для меня таким же постыдным, как всякое ночное недержание.

Бормоча какие-то извинения, я поднялся и, намереваясь уйти, стал

собирать свои бумаги. Аскетически суровый Митрофан Иванович сделал руками жест, означавший: дескать, в данной ситуации дверь для меня - самый верный выход. Уже у двери старушка - да, да, она была все же старушкой! - задержала меня и объяснила все так же боязненно-шепотливо:

- Вы говорили о математических закономерностях биологических функций, о биопроекциях в будущее и о каком-то полом шаре Поллинга...

- Ну!..

- Но ведь ваша проекция, или фокус будущего, как вы это называете, выполняет функции мозга, разума?!

- Да!

- Нематериальная точка откуда-то из будущего руководит живым организмом?!

- Руководит.

- Непостижимо! Митрофан Иванович назвал вашу идею... - тут она смолкла, не решаясь сказать мне, как назвал мою идею Митрофан Иванович, только жалостливо поглядела на меня и вздохнула: - А кто этот Поллинг?.. Физик - атомщик?..

Я ничего не знал ни о Поллинге, ни о его полом шаре, но уже не хотел отступать в полном унижении.

- Нет, у моего Поллинга два "л".

- Какое это имеет значение?

- Огромное! - ответил я с вызовом, - Второе "л" сделало его биологом!

- Ах, молодой человек, разве такими вещами шутят! - произнесла она страдальчески. - Вы нам говорили, что полый шар вашего Поллинга когда-нибудь станет Головой Земли... Вот что вы говорили!..

Мне и самому стало жутковато от моего сонного бреда. Подумать только - "Голова Земли!" Что за Голова? Откуда? Зачем?

- Все это я, наверно, сочинил во сне...

Не глядя на меня, она задумчиво покачала головой:

- Н-е-т, вы очень хорошо объясняли...

В смущении, даже больше - в смятении я еще раз пробормотал свои извинения и сломя голову выскоцил на лестничную площадку. У них, да и у меня самого в этот момент создалось впечатление, что я ношу в себе тайну какого-то великого открытия.

Как было жаль, что я заспал тот второй сон, который приснился

мне во сне. Вот почему бред того сна, услышанный ученым, был и для меня самого полной неожиданностью. Если биопроекция в будущее звучала для меня еще как-то знакомо, то полый шар Поллинга стал интригующей загадкой. А главное: почему бесстрашный Митрофан Иванович, услышав мой бред, впал в шоковое состояние? Проблемы, родившиеся во сне, остаются для меня проблемами в реальной жизни. Нужно было непременно найти утраченные листки моих биологических изысканий. В них мог оказаться намек на этот таинственный полый шар, претендующий стать руководящим органом всей Земли.

Наконец-то два листка были найдены. Оказалось, на их обратной стороне я набрасывал план перестройки нашего завалившегося сарая, а потом бросил в кипу разных бумаг. К горючению, о "Голове Земли" в записях не было ни слова, зато обнаружились забавные подробности в судьбе Первой жизни на переходе от одноклеточных организмов к многоклеточным.

"Дело в том, - продолжал я свои размышления, - что первичная клетка, получив новую форму движения, еще не обладала направлением. Она не имела тени, а потому и не могла иметь проекции в будущее. Ее жизни - только в настоящем - хватало лишь на одно мгновенье. Само ее рождение было уже умиранием. Но, потоптавшись вот так на месте какое-то время, жизнь нашла единственно правильный выход из тупика - это укрупниться. Как только укрупнилась до собственной тени, она приобрела проекцию в будущее, которую можно также назвать и "фокусом будущего". Возросшая телесность уже гарантировала некий срок жизни, который стал фиксироваться в какой-то точке будущего. Каждая клетка в отдельности стала проектировать себя в ней, а информацию из этой точки в смысле гарантийности жизни стал получать уже весь организм.

"Фокус будущего" был в идеи первым руководящим органом многоклеточного организма, который сразу же оказался заинтересованным в своем увеличении, чтобы по принципу радара получать извне как можно больше информации - что для него благо, а что гибель. Этот "фокус будущего" в качестве общего руководящего органа - еще только идея, но уже и реальность. Здесь и чудо, и полное отсутствие чуда".

"Вот, оказывается, что напугало моего наистрожайшего Митрофана

Ивановича и его добрейшую супругу, - догадался я, перечитывая найденные листки, - в моей теории они увидели еще одну попытку породнить идеализм с материализмом. Но, черт побери, материализм - это же не только то, что можно потрогать руками. У меня речь идет о закономерностях движения и развития, а закономерности всегда материальны". Мне стало даже обидно, что я уже не смогу вернуться в сон и прочитать им свои наброски. А в них вот еще что сказано:

"Так "фокус будущего" стал реальной идеей мозга, которую природе осталось потом только материализовать, с чем она и справилась блестяще. Это значит, что идея нашей головы родилась еще в самый начальный период жизни на Земле. В подтверждение сошлись на конструкцию почти всех руководящих органов сложных организмов - низших и высших. Все они вынесены вперед, по движению, все сторожат свое будущее. При этом голова любого из них вписывается в треугольник, вершина которого была когда-то "фокусом будущего", в том числе и гордо посаженная человеческая голова..."

Дальнейшие размышления оказались неразборчивыми. Текст снова налагался на текст, однако, на этот раз внизу я увидел наброски стихов. Все же можно было понять, что с первой проекцией в будущее как идеей мозга многоклеточное существо начинает обретать не только идею познания, то есть что ему хорошо и что плохо, но и самопознавать себя в окружающем. Впрочем, все это - лишь следствие моих прежних размышлений.

Наброски стихов, когда я их разобрал, показались любопытными. Прямого отношения к моему сну они не имели, все же какая-то связь с ним подозревалась. В перечеркнутых строчках выстругивалась мысль, что легенду о бывшем когда-то золотом веке придумали не поэты, а жалкие ленивцы, которым легче оглянуться назад, чем напряженно всматриваться в будущее. Одна строфа показалась мне законченной:

Зато поэт,
Он удивлен,
Что разум,
Не глухой к преданьям,
Терзается воспоминаньем
Далеких будущих времен.

Казалось, за отсутствием новых толкований сон можно было сдать в архив. Он все реже и реже приходил ко мне на ум, и то в связи с

тайным полым шаром, нареченным каким-то странным именем. Но однажды тайна Поллинга осветилась мне, и где бы вы думали - в застольной беседе.

На писательских собраниях, отчетно-выборных например, наступает момент, когда перед голосованием, пока готовят бюллетени, появляется свободное время. Тогда незаконченные споры переносятся за шатко-модерновые столики клубного буфета. Так, за одним из них оказались прозаик Ю. Бон, поэт Е. Ис, критик Л. Як и я. Говорили о том, какую невероятную нагрузку испытывает ныне психика человека. Ему надо вместить и осознать все противоречия века, а в них, в этих противоречиях, теперь сам черт ногу сломает. Одним словом, дошли до того, что я похвастал:

- Против крайнего пессимизма у меня есть спасительная формула...
- Ну-ка, ну-ка! - скептически улыбнулся Ю. Бон.

- Золотого века в прошлом никогда не было, - доложил я, - с фаюмских портретов двадцативековой давности на нас смотрят все те же печальные глаза. Когда мне становится тяжело, эта мысль приходит как спасение...

- Ребята! - воскликнул Л. Як. - Послушайте, что он говорит!.. Это же страшная мысль!.. - И в глазах Л. Яка появился испуг, сделавший его сразу же похожим на моего Митрофана Ивановича.

Видимо, причина их испуга была одинакова. Пока Л. Як пожимал плечами и разводил руками, я понял, что его испугало. С налету можно было подумать, что с моей формулой людям остается лишь безропотно принимать жизнь со всеми ее несуразностями уже потому, что в прошлом было не лучше. Нет, в моей формуле этой всеядности, разумеется, не было, но овладеть разговором не удавалось. Критик Л. Як уже начал строить свою теорию, поэт Е. Ис, воспользовавшись случаем, уже загарцевал на метафоре, только прозаик Ю. Бон, сдержанный и философичный, еще помнил мои слова.

- Дайте человеку договорить.

- Да, золотого века в истории человечества не было, повторил я твердо, - но это вовсе не значит, что его не было и нет вообще. Произошел обман памяти. Люди вспоминали будущее, а им казалось, что они вспоминают минувшее. Если бы "вспоминатели" вовремя о том догадались, то перестали бы искать утешения в памяти о прошлом, стали бы нетерпимей ко всему жалкому и постыдному на Земле,

торопились бы к своей единственной надежде - будущему...

- Хорошо поэтам, - с притворной завистью произнес Ю. Бон, - за счет метафоры им все сходит с рук!..

- На этот раз никаких метафор! - возразил я. - Только логика! Вы же знаете, как у Жизни на Земле появилась идея мозга?..

Прозвучал веселый смех.

“Как низко пали поэты, - подумал я, - от них сегодня ждут невероятных метафор, головокружительных образов, что-нибудь красивое о снеге, о дожде, вздоха о несчастной любви, гневных строк о жулике - всего, кроме проникновения в механизм самой жизни и ее совершенствования”. Свою горькую мысль я закончил репликой:

- Между прочим, когда Лукреций читал вслух “Природу вещей”, древние римляне над ним не смеялись!..

Лукреций, поданный в иронически-грустной интонации, возымел действие. Теперь мою версию происхождения мозга слушали почти серьезно. В новом изложении появилась и новая аргументация. У первых многоклеточных организмов “фокус будущего” был коротким, соответственным объему тела, а значит, и степени его организации. Вот почему мозг как проекция в будущее, вынесенный вперед, сформировался в пределах организма. Шейные позвонки - это мост, связавший само тело с “фокусом будущего”.

А не возникли мозг на раннем этапе, у жизни при ее тенденции увеличиваться телесно могла бы возникнуть грандиозная идея единого мирового тела с единым мировым органом управления. Правда, при этом потребовалось бы неограниченное количество биологического материала, тогда как лаборатория Земли, видимо, выдавала его скромно, по мере совершившихся химических реакций. Но однажды наши космонавты смогут ступить на зыбкую почву какой-нибудь далекой планеты и увидеть, как от их ног во все стороны до самого горизонта, побегут тревожные волны. Пусть знают, что они ступили на живую плоть планетарного тела...

- Шпарит, как по-готовому! - съязвил Е. Ис.

- Да, да, я это уже говорил.

- Где? Когда? Что-то не слышал.

- Во сне говорил... Это не главное... Вы послушайте!.. - уже в нетерпении просил я.

Действительно, память моя вдруг осветилась, и я начал вспоминать

то, что говорил в том, вторичном, сне, когда заснул в библиотеке Митрофана Ивановича. Где-то в глубине на колесиках памяти закрутилась и зазвучала магнитофонная лента забытого сна. И я снова заговорил, не обращая внимания на иронические улыбки собратьев по перу...

Природа не живет несбыточными надеждами. Она пошла не к единству, а к множественности, но идея единого органа управления как возможность не пропала. Помните, у первых многоклеточных “фокус будущего” стал уже реальным общим органом, потом мозгом и в конце концов - человеком. С появлением же человека, человеческих групп и масс благодаря все тому же “фокусу будущего”, но уже социально-духовному, появляется идея общего руководящего органа, которую сегодня я могу назвать идеей “мирового мозга”. Она у меня закавычена потому только, что воплощаться будет средствами не биологическими, а техническими. Обернитесь на историю человечества - и увидите, что все возникавшие, умиравшие и снова возникавшие формы человеческой организации неумолимо вели к этому. Прогресс - это как раз результат социально-духовной проекции в будущее.

Как и в первом случае, то есть в случае с многоклеточными, смысл проекции в том, что многое множество социально-духовных идей, “посланных в будущее”, возвращается обратно, но не все, а лишь те, у которых была историческая закономерность, притом возвращаются не в прежнем разрозненном виде, а в форме обобщений. По такому же принципу к нам вернулась из будущего проекция золотого века, а поскольку мы видим, что ничего подобного у нас сейчас нет, не было и в подконтрольном прошлом, то и отодвигаем его в смутное прошлое...

И раньше на пути моих рассуждений возникали побочные проблемы, но я сознательно отмахивался от них, чтобы не делать боковых петель, не отвлекаться на второстепенные связи. Когда же значительная часть пути была уже пройдена, можно было сделать шаг навстречу загадочным улыбкам, тем более что они меня давно сторожили.

- Все это любопытно, - признал Ю. Бон, - но как ты представляешь сам механизм отражения от будущего? И вообще, ты что-нибудь читал на эту тему?

- Что я читал?.. Кое-что, конечно, читал, но, признаюсь, ничего не

изучал сознательно. Подозреваю, если бы я стал читать, изучать труды специалистов-футурологов, я не выпутался бы из лабиринта научной последовательности, что, по-моему, сказывается сегодня на самих ученых. Они слишком сближены с предметом. Их читать почти невозможно, и не только потому, что я научно не подготовлен к такому чтению, а больше Из-за их лабораторного стиля: они размышают формулами и терминами, а не понятиями. Поскольку ученых трудов я не читал, то и рассчитываю быть в своих суждениях оригинальным. Что же касается механизма отражения от будущего, то начну тоже с вопроса: а каков механизм сбывающихся пророчеств?

- Опыт, - сказал Ю. Бон.

- Инстинкт, - сказал Е. И. с.

- Интуиция, - сказал Л. Як.

- Вот-вот, значит, какой-то механизм нам уже известен, притом он так освоен и обытован, что мы давно привыкли к странному, казалось бы, выражению: "давайте заглянем в будущее..." И заглядываем. Десятки и сотни наших посылок, спроектированных в "фокусе будущего", даже при несовершенстве нынешних прорицательных машин, дадут нам неизбежный результат. Сегодня ученые-кибернетики лишь начали угадывать механизм пророчеств.

- Это же машина!

- Да, но эта машина лишь подражает человеку.

- Нет, - возразил Ю. Бон, - я в том смысле - где та точка в будущем, от которой отражаются наши посылки?

- Давайте посмотрим, где она у прорицательных машин.

- Она сталкивает исходные данные и получает результат.

- Возможно, но сталкивает их во временном движении. У такой машины должно быть развито чувство времени в неизмеримо большей степени, чем обладает человек. Тогда исходные данные, заложенные в машину с направлением в будущее, сойдутся в какой-то определенной точке, которая и станет точкой отражения результата. Первичный "фокус будущего" был не только биологическим, но и геометрическим, доказательством чего может служить тот факт, что мозг сформировался в пределах организма, а как в случае социальной проекции? На первый взгляд кажется, что геометрия начисто отпадает. Но не торопитесь. Время - тоже геометрия.

- По Эйнштейну, кажется, так.

- Тем более. Значит, вершина проекции в будущее как результат сталкивающихся, накапливающихся и возвращающихся к нам идей где-то во времени уже обусловлена. Пожалуй, этим можно объяснить тот факт, что некоторые идеи, в том числе художественные, временами теряют свое значение, а потом снова воскресают для будущего. Их призывает будущее, и только будущее!.. Но это - к слову. Речь идет о величайшей идее, которую осуществит человечество, идее мирового мозга. Появится Голова Земли!..

- Как метафора? - спросил Л. Як.

- Мозг - как метафора, Голова - вполне материальной.

- Похожая на человеческую?

- Вероятнее всего. Сфера - наиболее совершенная форма.

- Где она расположится?

- Вне Земли, за ее пределами, но в районе ее влияния. Этим уже распоряждаются законы небесной механики. Голова будет удалена от Земли примерно в такой же пропорции, как человеческая удалена от его корпуса. На полной аналогии не настаиваю, утверждаю лишь принципы. Уже сейчас появились первые конструктивные элементы внеземной Головы. Это спутники Земли с их пока что крохотной информацией, не большей, чем у руководящих органов далеких примитивных организмов. Но когда-нибудь они породят одну, достаточно емкую, подвижную Голову Земли с универсальностью во сто крат большею, чем человеческий мозг, с глазами, охватывающими сразу полземли, замечающими все не только на ее поверхности, но и проникающими в ее глубины, предупреждающими о землетрясениях, наводнениях, засухах: со слухом, ловящим сигналы из дальних галактик и тихий плач заблудившегося ребенка; с нюхом кошки, сидящей у мышиной норы. Память этой головы будет изумительна - по первому желанию она выдаст любую справку по литературе, нужно - выдаст любой текст, известный в печати, запроси - выбросит формулу с новым поправочным коэффициентом, хочешь - о погоде, хочешь - о музыке. Ну, словом, это будет голова - всем головам Голова!

- И она родится от спутников?

- Не только. Спутники дадут ей форму, принципы приема и отдачи информации, оставив за собой роль ее специализированных подстанций, подключенных к нервной системе Земли. Скажу по секрету, что индивидуальному развитию человеческого мозга положен предел. Он уже не в силах охватить всех многотысячных и

многомиллионных комбинаций, возникающих в природе и обществе. В лучшем случае происходит шлифовка отдельных его узлов. Об этом сегодня говорит и слишком ревнивый процесс самопознания. Нужен новый стимул движения вперед, новая организация мыслительного органа. Ныне планетарный "мозг" зарождается на Земле в форме всяческих руководящих и планирующих, поправляющих и путающих организаций, кибернетических центров, конструкторских бюро и лабораторий, международных экономических союзов и многих прочих. К примеру, у Калининского моста стоит огромное здание, напоминающее раскрытою книгу, - это СЭВ со множеством людей из многих стран, счетных и вычислительных машин. В Голове Земли для таких же, но более совершенных функций будет выделен маленький уголочек, не больше головы самого посредственного писателя...

Давно звонил звонок, напоминающий нам о собрании, о современности, о гражданственности и задачах литературы. И тут кто-то, должно быть устыдившись, что увлекся какой-то фантастикой, не без ехидства бросил из-за моей спины:

- А что, американские спутники тоже пойдут в дело? Даже их спутники-шпионы!?

- К тому времени жизнь перешагнет через это. Когда у нее такая чудовищно великая идея, она не пощадит никого. Голова Земли не должна болеть от внутренних противоречий, как болит сегодня у человека. Жизнь с ее возрастающей проекцией в будущее сделает для этого все возможное, а возможности ее пока что неограниченные...

Столики вокруг уже опустели. Когда мы встали, Ю. Бон потер уголок нижней губы и, глядя исподлобья, сказал:

- Вот с чем надо выходить на трибуну, а ты сегодня выступал и говорил куда хуже, чем за этим столиком.

- Видишь ли, - стушевался я, - своей речи на собрании я до этого во сне не видел.

- А что, это все, что сейчас говорил, ты и впрямь видел во сне?

- Не все. Но видел.

- А Голову Земли?

- Понимаешь, как получилось... Однажды во сне я пришел к одному ученному с какими-то проектами, а пока ждал его, снова заснул и в этом, втором, сне проболтался о каком-то полом шаре Поллинга, а учений и его жена чего-то испугались, и я убежал...

Высказав все это, я сам почувствовал, что рассказ получился какой-

то бредовый. Ю. Бон посмотрел на меня более чем пристально, и в его глазах появился все тот же испуг ученого.

Потом он как-то стыдливо опустил глаза, пробормотал, что торопится, и быстро-быстро зашагал в зал. После большого внутреннего напряжения голова моя кружилась, тело испытывало незнакомое опьянение. Теперь я и сам не знал, что было во сне, а что наяву.

ЛОШАДИНЫЙ ЭМБРИОН

Мне снилось мое сердце. Оно лежало на низком алтаре какого-то готического храма. Через красочные старинные витражи на него падал высокий отчужденный свет, в тихой сумеречности и прохладе то сбивчиво-бурно, то приглушенно звучала органная музыка.

Неожиданно я почувствовал и догадался, что звуки органа - это голос моего измаянного сердца, как бы подключенного к чуткому организму малых и больших труб, которые хрюпели и задыхались в бессилии. Конечно же никаких нот не было, вместо нот была кардиограмма моего сердца, напоминавшая какой-то фантастический разрез горного хребта с высокими пиками гор и безмерными пропастями. Музыка и сердце шли вместе, то взинаясь на бредовую вершину горы, то безжизненно скатываясь в темноту пропасти...

В такие минуты наступала полная иллюзия правдоподобия. Казалось, все мы - и сердце, и музыка, и я - находились на дне глубокого ущелья, куда едва проникал свет. Алтарь был уже не алтарем, а глыбой камня, на котором лежал в шрамах и кровоподтеках еще живой комочек, служивший мне так долго и безотказно. По ущелью катился холодный ветер, трубы органа хрюпели и задыхались...

Как странно, что я впервые видел свое сердце, которое, оказывается, все мои прожитые годы было главным во мне. Больше всего на свете я боялся лишиться хоть малой долики разума, а о сердце никогда не думал, а если называл его в своих стихах и поэмах, то на тех же основаниях, как называл никому не ведомую душу. Мне казалось, что душа и сердце - только понятия, придуманные для удобства поэтов и влюбленных. А теперь оно лежало передо мной, поражая меня своей беззащитной явностью. Звуки органа стали напряженно взбираться на новую вершину, бока сердца вздулись, наступал момент чего-то непоправимого, о чем не хотелось даже подумать. Припав пустой

грудью к холодному камню, я зашептал что-то невнятное: "Прости! Я не знал, что ты есть во мне... Незнай, что тебе бывает так больно... Не знал, что ты такое маленькое..."

Музыка упала с горы, застонала и притихла под скалой. А меня мучила неотвязная мысль: "Как вот через этот живой узелок прошли все мои безрассудства - мои дурацкие влюблённости и увлечения с их надуманными переживаниями, ревностями, ожиданиями, с нудными выяснениями отношений, мои поздние застольные компании с водкой и коньяком, с ночными искааниями заблудшей памяти, с головными болями утреннего похмелья?!" Теперь вспоминалось только самое пустое, никчёмное и постыдное, как будто я никогда не радовал свое сердце настоящей любовью, плодами настоящего труда, после которого все мое существо испытывало истинную отраду. Нет, в голову лезло только такое, что впустую изнашивало мое сердце. Вспоминались и обиды, которые в горячке жизни я нанес людям, - не те, бесследные, а те, что в чувстве стыда и раскаянья оборачивались против меня же...

Доселе пустой полутемный храм стал наполняться обиженными. Никто из них не лез мне на глаза, а тихо подходил и незримо становился или позади, или сбоку. Они наблюдали за моим сердцем и за мной, припавшим к холодному камню в приступе покаяния: "Прости, я загнал тебя, как азартный хозяин загоняет свою единственную лошадь, - загнал не с радостной вестью людям, не с дымным факелом близкой опасности..."

Пока я каялся так под глухие всхлипы органа, с моим сердцем начали происходить странные превращения. Оно стало похожим на сморщеный лошадиный эмбрион с поджатыми ножками в копытцах, с откинутой мордочкой в осколке издыхания. Помня о стоящих позади и ждущих от меня покаяния перед ними, я даже обрадовался этой наглядности: "Видите, я не жалел своего сердца, а вы-то что хотели от меня!"...

Тогда стоявшие позади меня качнулись в мою сторону и воскликнули с непонятным для меня вздохом облегчения: "Признался!.. Признался!.." На миг возглас этот заглушил звуки органа и, затихая, стал подниматься к солнечным витражам купола, где повторялся торжествующим эхом: "Признался!.. Признался!.."

С ПУШКИНЫМ НА БАЛУ

Знаю, знаю - есть опасность, хотя и во сне, оказаться похожим на Хлестакова, который, как помните, похвалялся, что с Пушкиным на дружеской ноге: "Ну что, брат Пушкин?" - "Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то все..."

Однако что делать? Сон - не выдумка, не фантазия разгоряченного ума, а реальность души, с которой надо считаться.

Сон распахнул передо мной свои крылья прямо на великосветском балу в момент, когда после очередного танца мы снова сошлись с Пушкиным и в ряду других пар пошли по вытянутому кругу мягко освещенной дворцовой залы. В золотых гнездах хрустальных люстр горели восковые свечи, и падающий от них ничем не замутненный свет делал лица особенно четкими, в то же время близость людей, идущих по кругу, казалась призрачной.

- Ну, как тебе пришла княжна Урусова? - весело спросил Пушкин, скосив на меня оливковый глаз.

- Княжна Урусова? - переспросил я.

- Милый, да ты совсем ошелел от ее красоты! - чем-то довольный, воскликнул он и громко засмеялся.

Пушкин был еще совсем молодой и не похожий на все портреты, когда-то виденные мной, - ни Тропинина, ни Кипренского, ни мой собственный, нарисованный в детстве. У Тропинина ракурс пушкинского лица такой, что делает его при пышных баках почти скучастым, возвышенно-фундаментальным. И, странное дело, именно эта возвышенность и фундаментальность продиктовали художнику такую драпировку, как домашний халат, пышный шарф, сделавшие фигуру великого поэта более основательной. Пушкину было тогда двадцать семь лет, он уже написал "Бориса Годунова". Словом, художник привел в соответствие внешний облик поэта с его славой, что отметил и сам Пушкин:

Себя, как в зеркале, я вижу.
Но это зеркало мне льстит.

Теперь я видел Пушкина еще более молодым и настоящим. Во фраке он был гармоничней и грациозней, если грациозность не путать с

вертлявостью, как часто делают в наше время. Фрак как-то особенно подчеркивал его идеальное телосложение, а в этих случаях нейтрализуется фактор роста: высокий может показаться обычным, а низкорослый, наоборот, высоким. Пушкин был ростом намного ниже меня, но я этого не замечал. Был он подвижен и вроде бы даже развязен, в стиле светскости, как будто находился в состоянии сдержанного опьянения. Лишь мимолетные порывы выдавали его импульсивную натуру.

- Княжна разборчива, - поиграл он пальцами у головы, - а между тем я видел, как она тебе благоволила.

При этом жесте кудрявая, я бы сказал - вольно-кудрявая, голова его на мгновенье застыла, пальцы руки его, подвигавшись, тоже замерли, а потом легко опали, как длинные лепестки какого-то бледного цветка. Тут я еще раз уличил Тропинина, хотя мне и по душе была пушкинская рука, им выписанная, - полнокровная, почти мужицкая. В действительности же, то есть во сне, она была узкой. Длинные пальцы делали ее похожей на женскую.

О, эта пушкинская рука еще разыграет меня!

Лишь приглядевшись, я заметил в гармоничном облике моего любимого поэта изумительные контрасты. Когда он откинул свои каштановые волосы и на мгновенье замер, мне рельефно, именно рельефно, открылся его крутой, нервный, именно нервный, лоб мыслителя-аскета с узким смуглым лицом и непышными баками. Будь у него тонкие губы при узком носе, действительно приплюснутом на конце, это был бы классический образ иезуита. Но, слава богу, у него были добротные, чувственные, больше того - неустрашимые губы. Тут Тропинин не погрешил. Особенно в улыбке и смехе, а они царили на пушкинском лице.

- Не скажи, княжна - прелестъ!..

Странные вещи происходили со мной и злополучной княжной Урусовой. Когда Саша Пушкин - да, да, мы были уже по имени! - так вот, когда он представил меня ей, она приняла меня приветливо, но и важно. Ее вздернутый носик при повороте бледного лица оказался с горбинкой, что срезу же придало ее лицу высокородное и даже надменное выражение. Пушкин шепнул: "Признак породы!" А ее плечи! Она держала их с такой горделивой осанкой, как будто на них покоилось все мироздание. Словом, это была типичная великосветская

львица пушкинской поры. Но когда я начал с ней танцевать, когда мы с ней обосбились в танце, с нее сразу же слетели и высокородность, и надменность, и светскость. Со мной танцевала уже не княжна, а обыкновенная девушка с какого-нибудь Сибсельмаша. Вздернутый носик был просто вздернутым носиком, а полуоткрытые плечи просто плечами, правда, хорошиими, но без блеска и великого бремени. В танце она была так старательна, что при выкручивании какого-то сложного па с ее ноги соскочила туфля, которую она тут же подцепила ногой и, словно на вечеринке, продолжала беззаботно танцевать. После танца она повела себя и того проще: оставила меня и убежала к подруге.

На этом мои странные отношения с княжной не закончились. Слыша "прелест" да "прелест", я думал о ее загадочных перевоплощениях и пожимал плечами, а Пушкин относил это за счет моей ошалелости от ее красоты и посмеивался. Вот и теперь, когда она шла по кругу уже навстречу и что-то бойко рассказывала подруге, с ней случилась такая же неожиданная, но обратная смена планов.

Первым увидел ее я, и она оставалась все еще простушкой, потом ее заметил Пушкин, при этом сказавши: "Кажется, про тебя, моя душенька, речь идет". С этого момента она снова стала княжной Урусовой - ступала важно, обмахивая испанским веером свое прекрасное лицо и блестательные плечи. С Пушкиным я видел ее глазами Пушкина, а без него - только своими собственными. Во мне появилось предчувствие первой эпохальной трещины, разделявшей нас. Но не буду забегать вперед.

В отношениях со мной у Пушкина не было превосходства гения, но замечалось нечто такое, что я назвал бы покровительством столичного поэта провинциальному, приехавшему из далекой Сибири. Он опекал меня, представляя дамам, знаменитостям, не скучился на добрые слова. Казалось, ему доставляло удовольствие сделать приятное не только мне, но и себе - показать этому увальню-сибиряку, какой он любимый и всевхожий. Так в столице поступают только с близкими друзьями и родственниками. Что ему выказывать это перед Жуковским и Карамзиным??!

Кстати, они тоже присутствовали на балу. Еще раньше Пушкин подводил меня к ним. Они сидели в одной из лож, похожих на перламутровые раковины, расположенные по обочине танцевального круга. Их ложа выделялась. Если в других поблескивали эполеты,

аксельбанты и ленты, галуны и ордена на военных мундирах, то в этой все выглядело по-домашнему: о чем-то тихо беседовали Жуковский и Карамзин, в широком кресле покоился задремавший Крылов, за ними стояли и шушукались какие-то молодые заговорщики. В одном из них я узнал Баратынского. При появлении Пушкина все - и молодые и старики - оживились. Даже дремавший Крылов причмокнул толстыми губами и открыл один глаз, сказавши: "Наш пострел и здесь поспел!" На лице Пушкина широко засияли зубы.

Он представил меня как поэта и потомка первопечатника Ивана Федорова, чем несказанно обрадовал и привел в смущение. "Поэту нужна легенда", - шепнул он мне, косясь на маститого историка, наверняка знавшего, что потомство первопечатника давно затерялось в истории. Тактичный Карамзин не стал оспаривать ошеломляющую новость своего юного поклонника, лишь снисходительно покачал головой - дескать, принимаю к сведению. Сначала меня удивило это пушкинское легкомыслie, но потом я догадался, в чем дело. Пушкин в то время ревниво занимался своей собственной родословной, нашел в ней много утешительного и не хотел, чтобы я оказался совсем безродным.

Догадывался ли он, кто я такой? Думаю, что нет. Наш разговор все время велся в такой плоскости, что временные грани почти не замечались, а то, что у меня прорывалось, относилось им на счет моей оригинальности. Мое вольнолюбие, полагал он, порождено Сибирью, не знавшей крепостного права, а непосредственность - близостью к ее природе. Нас мог бы разграничить разговор о поэзии, хотя бы о его собственной. Мое слишком большое знание даже того, что он еще напишет, могло бы его насторожить, но таких разговоров Пушкин избегал и на мой стереотипный вопрос, что-де, Александр, сейчас пишете, отвечал небрежной уверткой: "Так, одну безделицу". Вообще, как я заметил, на балу он проявлял преувеличенную беззаботность и легкомыслie. Делалось это, по-моему, для той легенды, что более всего поэт думает о женских ножках, а стихи ему даются походя, легко и беззаботно,

Для меня было полной неожиданностью, когда Пушкин заговорил о моих стихах, прочитанных ему еще до бала. Снова по его лицу пробежала тень озабоченности, снова брови приподнялись в недоумении, обозначив на крутизне лба тогда еще первую морщинку.

- Дивно и странно! - пожимал он плечами. - В них совсем нет устаревающих форм, нет и следа ороговелости нашей милой архаики. Вот меня хвалят за язык, а я еще не могу по-змеиному выползти из состарелой его кожи. Что-то слишком приросло, отрывать больно, да и заменить нечем. Ума не приложу, в чем загадка?! - И он с пожирающим любопытством уставился на меня.

Бедный Пушкин! Вероятно, он думал, что мой язык - это мое личное достижение, а не полуторавековая работа всего русского народа. У меня появился порыв открыть ему эту неразрешимую для него загадку, но сон крепко держал в своих правилах игры. Плоскость достоверности настолько смешилась, что я и сам теперь не знал, что было сном - или этот великосветский бал, или моя жизнь из моего двадцатого века. Все же последнее перевешивало, иначе бы мой слух не уловил два резких ударных сдвига в одной его коротенькой фразе, брошенной как-то о царе: "Когда я думаю о нашем деспоте, работа на ум нейдет", - сказал он, даже бравируя ее складностью. В его речи необычно звучали слова под иными ударениями, чем у нас, - музыка, Моцарт. А вот когда однажды я сказал "Бетховен", меня высмеяли. Между тем, ничего во мне не высмотрев, Пушкин продолжал размышлять:

- Язык развивается совокупно с другими формами жизни. В движении нашего языка мы во многом, прости господи, обязаны Бонапарту, этому выскочке. Такие потрясения, какие испытала наше любезное отчество, просветляют умы и подвигают язык. Но, право, я не полагал, что просвещение теперь же затронет такие его конечности, как Сибирь. Твои стихи возбуждают мое любопытство к ней. В них что-то есть, а две строчки, друг мой, прелест как хороши...

Я чуть было не проснулся от радости. Сердце мое учащенно забилось в нетерпеливом ожидании того, что Пушкин вот-вот назовет мне эти две "прелесть как хорошие строчки". Но в это время зазвучала огненная мазурка, и мой великий друг суетно покинул меня. Танцевать мазурку я не умел, да и не хотелось. Приятней было стоять у колонны, слушать победную музыку, так отвечающую состоянию моей души, наблюдать за белой поземкой танца и ждать своего бесценного собеседника.

Пушкин вернулся возбужденный и озабоченный. Расстроила ли дама, с которой он танцевал, или кукольно-нарядный гусар, перехвативший моего друга на пути ко мне, догадаться было трудно.

На попытку вернуть его к моим стихам он не отреагировал. И вообще литературные темы, казалось, были ему уже неинтересны. Тогда по наивности я решил употребить, как мне думалось, самое сильнодействующее средство:

- Пушкин, ты - гений!

- Звание сие обременительно и мне вовсе не к надобности, - ответил он желчно, - а обществу гений надобен и того менее.

- Как?! - удивился я, - И это говоришь мне ты?!

Мое искреннее удивление немного развеселило Пушкина, но к моим стихам не вернуло. Вместо препирательств он предложил мне метафизическую игру, то есть, по-нашему, философскую, в которую, как он сказал, они частенько играли в Лицее. Игра велась в духе платоновских диалогов. Тема обозначалась заранее. Сейчас она была сформулирована как "Жизнь без гения".

- Итак, зачем тебе гений?

- Чтобы стремиться к совершенству!

- К какому совершенству?..

- К совершенству разума и духа.

- А зачем тебе это совершенство?

- Чтобы наслаждаться красотой.

- Однако ты боек, - засмеялся он, - но окунемся в наслаждение.

Какое из наслаждений ты бы поставил превыше всех?

- Наслаждение любви!

- Вот-вот!.. Лезь в эту петельку!..

- Почему же?

- А вот почему!.. В наслаждениях любви наивысшим, надо полагать, ты считаешь близость. А разве в этих делах гений тебе помощник?! - и Пушкин засмеялся во все свои блестящие зубы.

- Да, он утончает чувства, открывает глаза на суть явлений.

- А благо ли это?.. Представь, какой-нибудь Митрошка, насмотревшись на Венеру Праксителя, уже не захочет свою толстопятую Авдотью.

- Нет, Пушкин, нелукавы!.. Наша игра на этом еще не закончилась, она только начинается.

- Изволь начинать.

- Да, ты сузил тему, ты направил ее лишь по биологическому и эстетическому руслу, игнорируя социальные условия жизни Митрошки

и Авдотьи.

- Прости, что значит социальные?
- Общественные!..
- Бог мой, у нас еще нет метафизического языка, и каждый должен придумывать свои слова. Это я к слову. Продолжай!..
- Нет Пушкина, нет Праксителя - прекрасно! Для Митрошки и Авдотьи благо! Благо одной ночи! А утром толстопятая Авдотья пойдет еще больше натруживать свои пятки!
- Это уже речь, а не диалог.
- Для любви нужна свобода, а свободе нужен гений!
- Т-с!.. Да ты законченный карбонарий!.. - удивился Пушкин. - Надо тебя познакомить с Пестелем и Рылеевым! Вы сойдегесь!..

Если бы я на этом остановился и не стал проговариваться уже не терминами, а такими понятиями, как “художественное воспитание масс”, “искусство принадлежит народу”. Еще прежде при незнакомых ему словах он настораживался, теперь же начинал нервничать, бросать на меня быстрые подозрительные взгляды. Видимо, ему пришло в голову, что я его разыгрываю, иначе трудно объяснить то, что произошло минутой позже.

- Мы рождаемся с пушкинским ямбом в крови! - говорил я, не обращая внимания на его озорную усмешку.

С этого момента началась какая-то мистификация. Показалось, что по правую руку Пушкина появилась не то княжна Урусова, не то ее подруга. Мне хотелось взглянуть на нее, но Пушкин все время ее загораживал то движением плеча, то откинутыми кудрями. Между тем за кудряшками и плечом вдруг мелькнет и белое кружевце, вдруг обрисуется изящная женская рука. Мы подходили к литературной ложе, когда послышались первые звуки гавота.

- Потанцуйте! - предложил Пушкин, обращаясь ко мне и якобы к даме, выдвигаясь несколько вперед и давая мне возможность сойтись с ней для танца.

И тут со мной произошло какое-то наваждение. Из-за спины Пушкина “дама” протягивает мне свою изящную руку, моя тянется к ней навстречу и... повисает в воздухе. Ни Пушкина, ни дамы, ни ее руки. Какое-то мгновенье, ошеломленный, я одиноко стою с протянутой рукой. И тогда в поисках выхода из нелепого положения я начинаю дурашливо пародировать танец. При этом вижу, как колышется в смехе

живот Крылова, как сдержанно улыбается Жуковский. Оживился даже Карамзин. Слава богу, кажется, они думают, что мы с Пушкиным просто-напросто озорничаем.

Пушкин стоял неподалеку и тоже смеялся. Гнев охватил мою душу. "Что же он делает?! - думал я во гневе. - Он же напрашивается на дуэль! А ему же нельзя рисковать! И без того с ним случится беда!.. Ах, да он же не знает об этом!.. Надо предупредить!.. Надо предупредить!.."

Пушкин не знал о себе того, что знал о нем я, и смеялся. В нем еще было дружеское расположение ко мне, но незримая грань между нами была уже обозначена. Уже не было прежней простоты отношений. Подойдя к нему, я сказал с робким укором:

- Александр, что же ты делаешь?!
- Полно, не огорчайся!..
- Я же люблю тебя, я всю жизнь буду тебе служить!..
- А где же твоя свобода?..

Мы стояли около широкой мраморной лестницы, ведущей куда-то вверх. Только что закончился танец, и нарядные пары с какой-то особой торжественностью стали подниматься по ней. Что было там, за этими мраморными ступенями, за белыми мраморными фигурами богов, украшавших лестничные площадки, я не знал, но догадывался: там что-то значительное и важное для Пушкина, который, слушая меня, нетерпеливо поглядывал на восходящих. Вот он кого-то подглядел, взбежал на первые ступени лестницы, обернулся ко мне с веселым лицом, оперся правой рукой о перила и сказал с каким-то намеком:

- Вася, тебе меня никогда не переиграть, а я тебя всегда переиграю!

Провожая его взглядом, я еще успел подумать с болью и грустью: "Не взял меня с собой... Неужели разгадал, кто я такой?"

Когда я сел записывать этот сон, мне казалось, что для него хватит двух-трех страниц, но краткое во сне стало раздвигаться в подробностях. Сон похож на сжатую гармошку, стоящую на коленях игрока. Молча поблескивают оковки на ребрах ее мехов. Но во время игры она может раздвинуться от плеча до плеча. Хорошую песню можно переиграть. Как жаль, что нельзя повторить сна. Тогда бы я все-таки выспросил у Пушкина, какие же две мои строки ему понравились?

Между прочим, позавчера в Гагре я видел княжку Урусову. Да-да,

она шла навстречу, молодая, высокая, красивая, настоящая, живая, как будто только-только вышедшая из-под моего пера. О, я сразу узнал ее вздернутый носик с высокомерной горбинкой. Она была точно такой, какой я видел ее во сне глазами Пушкина. А вчера в ресторане "Родничок" она запросто отплясывала с молодыми абхазцами. В горячке танца она все же бросила на меня быстрый взгляд, возможно, припоминая нашу встречу во сне. Когда этот узнавающий взгляд повторился, детский писатель Иосиф Дик, сидевший со мной за столиком, тоже его заметил, и особенно оживляясь, спросил:

- Ты ее знаешь?
- Да, - ответил я небрежно, - это княжна Урусова...
- Княжна?! Откуда?!
- Меня с ней познакомил Пушкин...
- Александр Сергеевич?!
- Да, Саша...

Я так вжился в описанный сон, что уже не замечал нелепости своих ответов, на которые Иосиф Дик отреагировал по-своему. Он вдруг вернулся к прерванному разговору и стал с еще большим жаром убеждать меня, что в нашем возрасте ужедавно пора - пора! - от коньяка переходить на легкое вино. Забавный народ, эти детские писатели!

КАТАКЛИЗМ

*Когда пробьет последний час природы,
Состав ее разрушится земных...*

Тютчев

Только что на экране телевизора выступал космонавт Береговой. Мне и прежде доводилось видеть и слушать этого во всех отношениях крупного человека с седеющей головой патриарха, испытавшего страсти земные и страсти небесные. В общих чертах мне был известен и весь его путь от детской зыбки, от первого шага на Земле, который легко себе вообразить, до невообразимого взгляда на Землю, мерно кружящуюся в пелене голубого сияния.

Какая ошеломительная отвлеченность от всего привычного!

Какой фантастический разрыв между привычным и непривычным!
Чем заполнить этот разрыв?

Тренировкой?

Нет, тренировок для этого недостаточно!

Человек должен или сойти с ума, или родиться заново, как бы приобщиться к какой-то новой цивилизации, неведомой нам, а для нее необходимо и новое сознание. Значит, в Звездном городке должно тренироваться не только тело, но и разум. Все же сегодня человек в космосе - пока всего лишь куколка того нового человеческого духа, что выбросилась из плена земной условности.

Земля!.. Это мы так называем свое обиталище, а как его называют те, глядящие на него из какой-нибудь соседней галактики?.. Может быть, у них для нашей Земли нет даже имени, может быть, она у них значится под каким-нибудь номером в какой-нибудь подгруппе небесных тел десятого порядка.

Береговой конечно же этого не говорил. Облеченный крупными чертами и тяжелой земной плотью, он вовсе не походил на куколку и требовал каких-то других определений, а их у меня не было. Для таких случаев есть одно мудрое правило: если тебе чего-то не дает близкое будущее, оглянись, не даст ли его далекое прошлое.

Такое время было.

Не совсем такое, совсем такого не бывает, но похожее. Тоже душевно ждали нового Человека. Сначала появился его Предтеча. Христа еще нет, но уже есть Иоанн Креститель. И вот что любопытно: тогда и сейчас великая роль выпадает небесам. Тогда, помните, Бог посыпает на Землю своего наместника, но здесь с ним обходятся плохо: его распинают, что вызывает гнев Божий, человечество обрекается на искупление грехов, а люди продолжают грешить... Все же тогда Небо повелевало, сегодня оно покоряется, однако же, покоряясь, и учит. Зато к Небу нас сегодня привело повеление Земли...

Так торопливо, даже нервожно, думал я, слушая спокойный рассказ Берегового о своей жизни. А нервничалось потому, видимо, что и эти мои мысли не давали мне ключа к нему как Предтече, даже не столько лично к нему, сколько к нему как обобщающему образу. Казалось бы, все было постижимо в жизни этого человека - аэроклуб, военная летная школа, война в небе, мирное время летчика - испытателя, а уж потом Звездный городок и первый взгляд на Землю с высоты Седьмого неба...

Вот здесь у меня и застопорило.

К Береговому-космонавту мой ключ не подходил. Было слишком

много неизвестных. Что изменилось в нем после первого взлета?.. Что отошло, что прибавилось?.. Осознает ли он себя в роли Предтечи?.. Гагарин как-то обмолвился о новом взгляде на мир. Вызрел ли этот новый взгляд теперь?..

И вдруг одна фраза озарила мне не только весь его путь в смысле веления времени, но и мой собственный путь, больше того - даже мой сон, долго не дававший покоя. Прежде чем рассказать об этом сне, я должен пройти вместе с Береговым его путь, к которому косвенно причастен. Обстоятельства сна прячутся где-то в глубине поздних событий, о которых мой читатель должен все же знать.

Когда Берегового спросили о самом сильном его ощущении в жизни, он вспомнил свой первый полет - не в космос, нет, а тот первый самостоятельный полет на учебном самолетике У-2. Большой и тяжелый, в этот момент космонавт весь подобрался, оживился и посветлел.

- Я почувствовал, что - могу!.. - сказал он.

"И я бы мог!" - отзывалось во мне.

Мой внутренний возглас относился нек одному моменту, а ко всему его пути, включая и космос, ведь его первое "могу" когда-то пережил и я, а главное - в одно время с ним.

Это было в 1937 году, только у него в Донбассе, а у меня в Новосибирске. Оказывается, мы в одно время с ним пережили восторг первого самостоятельного полета.

Полет!
 Из всех самостоятельных,
 Из всех хороших и плохих,
 Лишь три полета знаменательных
 Еще свистят в ушах моих.
 Ах, память!
 Горе слабонервному!
 Припоминая жизнь свою.
 Из этих трех полету первому
 Я предпочтенье отдаю.

Счастливое было время! Трудное и счастливое! Теперь, когда Береговой говорил о нем, мне вспоминались новые и новые

подробности на моей небесной стезе. По существу, его воспоминания на каком-то отрезке были моими, пока тогдашняя жизнь не развела наши пути. Хотя мы и продолжали оставаться в одной упряжке, но свою лямку я потянул уже только по земле, а он по-прежнему - в небе. Тогда же его приняли в летное училище.

Пришли повестку и мне.

Шел набор в Балашовскую летную школу, где-то под Саратовом. Попасть в нее можно было считать привилегией. Но в то время я заканчивал Новосибирский авиатехникум. Через месяц предстояла защита диплома. "Бог с ним, с дипломом!" - решил я и пошел к директору. Наивному, мне казалось, что чуткий директор сразу же благословит меня на мой будущий подвиг. Однако моего энтузиазма он не разделил.

- А наш техникум тебе что - игрушка?..

- Но я же пилот ОСО, я обязан...

- Пилотом ты стал за один год, и то без отрыва, а в техникуме учишься четыре года!.. Четыре года тебя учили строить самолеты, не построил ни одного, а легать собрался!.. На чем?..

Словом, через месяц после этого разговора я с дипломом техника-технолога ступил на территорию Иркутского авиационного завода.

Как выпускникам Новосибирского авиатехникума, нам очень повезло. У нас были преподаватели институтского уровня, волею судеб оказавшиеся в Сибири. Нас действительно ждали и сразу же назначили технологами, конструкторами и мастерами. В двадцать лет я еще не был испорчен стихами и оказался неплохим мастером, а вскоре начальником мастерской.

В мастерской было три отделения: механическое, гипсомодельное и свинцово-цинкового литья.. Сейчас даже странно, что я хорошо справлялся со своей работой, даже приобрел технический авторитет. В двадцать один год мне предложили стать начальником цеха, но я почему-то отказался. Должно быть, втайне боялся справиться и с этой работой.

А во мне уже приживался поэт.

Позже меня назначили технологом-экспериментатором с большими полномочиями. Я мог приостановить любую работу, на любых прессах - на огромных, похожих на мамонтов, и маленьких, горбатеньких, напоминающих кенгуру, из сумки которых кенгурутками выскачивали

детали. К тому времени я уже познал косную душу металлов и во многом знал, как ее покорить. Если решение задачи было только вероятно, я ее непременно решал. О, если бы все потраты моей души, горячий трепет моего сердца и холодное напряжение рассудка переложить в стихи, они, думаю, были бы прекрасны! Но огненную чашу вдохновения дважды выпить нельзя. Металл покорялся мне, становился какой-нибудь деталью и молчал. За восемь лет такой работы я надсадил свою память сотнями таких деталей с их замысловатыми конфигурациями и размерами, с их многобуквенными обозначениями узлов. Вместо них было бы легче выучить назубок "Одиссею" Гомера. И все-таки сердце еще что-то помнит!

Чувство причастности к тяжкому пути в космос не покидало меня, пока я слушал Берегового. Поначалу казалось, что, сменив цеха - цех заводской на цех поэзии, я утратил эту причастность, но все во мне восстало против этого. Нет, нет и нет! Я был причастен к Небу как пилот, как техник-самолетостроитель и как поэт. Вот здесь-то во мне снова заговорил мой совсем уже странный сон, который из-за своей странности начал почти забывать.

Мне снился центральный пролет главного корпуса. Такие пролеты есть почти на всех авиационных заводах, вернее, тогда были. Над эстакадой во всю длину располагались многие главные отделы, среди которых и отдел главного конструктора, куда я часто наведывался в качестве технолога-экспериментатора, чтобы как можно больше узнать о трудных деталях, которые мне надлежало освоить. При нынешнем разделении труда конструкторы мало беспокоятся о том, как изготовить ту или иную деталь, оставляя эту заботу на совести технолога, а между тем в конструкции могут оказаться сложности, вовсе не обязательные для изготовителей. К тому же настоящий конструктор должен знать, как его деталь изготовить. Говорят, Микельанджело укорял Леонардо да Винчи за то, что тот слепил ангела, а отлить его в бронзе не смог.

Я шел в конструкторский отдел с одним из их "ангелов". В этом отделе работал мой дружок-однокашник Толя Егоров, часто приходивший ко мне в мастерскую, иногда чтобы по гипсовому слепку проверить положение детали в пространстве. Мы с ним быстро разводили гипс и лепили из его теста нужные фигуры. В последний раз Анатолий приходил с чертежом такого изогнутого во всех плоскостях патрубка, что даже трудно было представить, каким он

должен быть. Мы долго добивались схожести с чертежом, и, когда добились, друг унес затвердевшую модель к себе в отдел. Теперь за выручкой шел к нему я. Еще в техникуме мы выручали друг друга. Иногда эта выручка давала трагикомический эффект. Помню, в одну из студенческих вылазок на берегу Оби нас застал с ним крупный град. Я еще успел скрыться под крутизной берега, а его беднягу, крупные, с голубиное яйцо, градины набили так, что мы едва добрались до общежития. Толя весь дрожал, как в лихоманке. Его белесый ежик так вздыбился, что каждая волосинка стояла отдельно. Мы соскребли все наши студенческие копейки, и я, сбегав в магазин, налил ему полный стакан водки и заставил выпить. Никогда по стольку не пивший, он сразу же ошелел и, глядя на меня дикими глазами, повторял:

- Гр-р-рад!.. Гр-р-рад... Вот такой!.. Вот такой!.. - И всякий раз его градины становились все больше и больше. - Вот такой!!! - показывал он свои кулаки.

Теперь спустя более сорока лет после этого события и лишь на три года менее того, когда мы разлучились и я написал ему прощальные стихи, все тот же я во сне шел к нему в конструкторский отдел. Не странно ли?.. Как будто не в счет, что уже давно он директорствовал на каком-то заводе, как будто я не писал ему таких строк:

Анатолий, Анатолий,
Расставаться время, что ли,
Расставаться время, что ли,
Анатолий-свет?
Выпьем, выпьем, Анатолий.
Что покрепче да поболе,
В час последний, Анатолий,
За семь дружных лет!

На последнем пролете лестницы из настежь распахнутых дверей отдела меня, как из ушата, окатили странным шумом. Поднявшись еще на ступеньку, я увидел стол Анатолия, окруженный сотрудниками отдела. Перед ним на кипе чертежей, изгибаясь, лежал гипсовый патрубок, похожий на белую змею. Сам он стоял над нею, бил ее кулаком и кричал:

- Она меня укусила!..

Он даже не замечал, что змея дробится, что ее обломки, именно обломки, приобретают признаки жизни. Каждый обломок начал сжиматься и округляться в изломах. Вскоре они стали походить на крупные градины, подернутые изморозью. Задичавшие глаза Анатолия стали еще шире.

- Гр-р-рад!.. Гр-р-рад!! - выкрикивал он, как сорок с лишним лет назад, хватал градины и разбрасывал по отделу. Несколько из них попали в окна. Зазвенели разбитые стекла.

Безумие заразительно. В каждом человеке сидит безумец и ждет, когда ослабевший разум освободит его из темного подвала. Безумие начинается с растерянности, с испуга в глазах. Это начало распада. Люди, берегите свой разум! Увидев испуг и растерянность в окружающих, я бросился к двери главного конструктора. Дверь нехотя, со скрипом распахнулась сама, будто ее открыли с другой стороны, а между тем человек на другой стороне стоял посередине кабинета, обхватив голову.

- Поздно!..
- Что поздно?..
- Все поздно!..
- Что все?..

Человек посмотрел на меня замороженными глазами и снова закрыл их ладонями, цедя сквозь пальцы какую-то невнятницу. Я опрометью бросился к открытой двери отдела, уже без Анатолия и сотрудников, на коленчатую лестницу эстакады.

Массовое безумие наступало волнами, с гнетущей тишиной между приступами. Впав в угнетенное состояние, люди пытались отринуть от себя гнетущие тяготы и снова впадали в хаос безрассудных движений. Это напоминало кинематографический прием, когда на киноленте двигающиеся предметы замирают, а потом снова начинают суматошно двигаться. И меня коснулась трагическая амплитуда психоза, хотя сознание еще работало и воля была не сломлена.

Надвигающаяся опасность погнала меня во второй цех, где работала близкая мне девушка, которую еще до знакомства я окрестил именем Зары, именем героини моей отроческой поэмы об одном трагическом событии в султанском гареме.

Ревность змеем забилась в груди:
“Нуже, проклятый султан, погоди,

Вспомнишь, лаская здесь севера дочь,
Бедную Зару в кровавую ночь!..”

К тому времени от всей поэмы в памяти осталось лишь одно звучное имя. Кстати, оно пристало к моей девушке не только по ее облику, но и по обстоятельствам. Зара была младшей сестрой известного тогда поэта.

Во втором цехе Зары не было.

Тогда я помчался в свой цех. “Должно быть, ищет меня там!” - догадался я, и не ошибся. Во сне не бывает расстояний. Во сне память экономна. В ней что-то мигнуло и - передо мной уже стояли наши прессы и верстаки. Рабочих при них не было, те стояли отдельными скорбными группами, как роденовские “Граждане Кале”.

Зара увидела меня и ринулась было ко мне, но какой-то незримый канат откачнул ее. Она сделала попытку в другом месте и снова отшатнулась назад. Со мной произошло то же, что и с ней. А какая-то неведомая сила сужала и сужала круг наших движений, до тех пор, пока мы не остановились, обращенные друг к другу. Зара пыталась что-то крикнуть мне, но губы ее раскрывались, а слов не было. Слова умерли. Умерли не просто только ее и мои слова, умерли все слова, известные людям...

Дальше началось еще более страшное.

Мы стояли и смотрели друг на друга. Вдруг с болью в сердце я стал замечать, что юное и прекрасное лицо Зары начало меняться - красота печали в темных изломах бровей сменилась полным тупым равнодушием. В ее черных кудрях появились буровато-серые пряди, нарядное платье, облегавшее молодое тело, начало свисать с жалких перекосов. Опльвала и перекашивалась ее девичья стать. Тело и вещи дряхлели вместе. То, что могли сделать только годы, теперь совершали мгновения. Стоило мне лишь на миг отвлечься, как вместо Зары уже стояла исхудалая женщина с впалыми глазами и грудью, едва прикрытая жалким тряпьем. Те же превращения происходили и с другими. Люди и вещи дряхлели одновременно и поэтапно. Мгновения были равнозначны десятилетиям и векам. И тут меня потрясла мысль: “Так это же гибель цивилизации!..”

Прежде я много читал и слышал о гибели цивилизаций, но никогда не видел, как они гибли. И вот увидел. Что же происходит при ее гибели?

Погибает Человек.

Не физический человек - все-таки кто-то остается, - гибнет Человек как вершина знаний и умений, как хранитель духовных ценностей, как творческий дух. Когда у народа гибнет такой Человек, оставшиеся в живых, сколько б их ни было, не смогут удержать цивилизацию на своих плечах. Так, при прежних цивилизациях люди наверняка оставались, и все-таки нам достались лишь обломки былой красоты.

На моих глазах происходило запустение. Старели камни и люди, старело дерево и железо, истачивалось и выпадало стекло цеховых перекрытий. В пустых просветах засвистел ветер, с ветром полетел холодный снег вперемешку с кусками льдин, более крупными, чем градины моего обезумевшего друга. В свисте ветра и снега начал нарастать далекий небесный гул, с неба начали падать огромные каменные блоки неземной шлифовки, циклопических размеров стальные цилиндры и валы алмазной расточки, как будто Земля стала вселенской свалкой.

Мысль о спасении во мне еще жила.

Прячась от снежной бури с космическим камнепадом и металлом, я забрался под выступ цеховой эстакады. Но небесный хлам стал угрожающе падать все ближе и разрушительней. Оставаться под шатким прикрытием стало опасно, к тому же она распадалась и по частям переходила во прах. Сначала отпала и куда-то упала дюранцевая обивка, потом на бездымном огне истлели доски, обнажая устои в ржавой коросте железного ревматика. Когда я выбрался из укрытия, цех был уже пустырем с бушующей на нем снежной бурей, сразу же поглотившей меня...

Но вот стихла буря, и я смог осмотреться. Вокруг меня ничего не было. За считанные часы с лица Земли исчезло все, что не исчезает и за столетия. Тут я заплакал и, продрогший, побрел по холодной и дикой пустыне.

Когда я потом оглянулся, прошлого уже не было. Только оказалось, что уже давно за мной плелась тощая собака - первый друг первобытного человека. Я назвал ее Альфой, и она отзывалась. В пустынных сумерках поодаль от меня перемогались жалкие группки людей, зябко жившиеся друг к другу, среди них, одетых в лохмотья, были и дети...

В этот трагический момент зарождения новой, бог весть какой эры

судьбе было угодно сделать меня первым археологом Земли. Этому способствовала моя голодная Альфа. На одном из пригорков она стала принюхиваться и разрывать лапами землю. Силы порой оставляли ее, Альфа часто отдыхала, так что я поневоле стал помогать ей. Видимо, здесь когда-то было жилье, которое и учудила Альфа. Вместе с ней мы дорылись до дверного косяка, почти нетронутого тленьем. Под приподнятым косяком мой пес обнаружил лягушку, а я несколько пластмассовых игрушек и обыкновенную ученическую тетрадь в косую линейку. На ее первой странице было написано всего два слова: "МАМА" и "ПАПА". Порывшись в мусоре, я обнаружил школьный пенал с единственным карандашом шестиугольной формы. Со сладостной болью я поднял и прижал к своей груди и школьную тетрадочку, и школьный пенал первоклашки. Сердце мое забилось так сильно, что я проснулся...

Не записанные на свежую память, сны легко забываются. А этот, хоть и не был записан, все же не позабылся. Он даже не был рассказан близким, что я иногда делаю с иными, чтобы закрепить их в памяти, а главное - проверить, есть ли в них смысл. О смысле же этого сна нельзя было и говорить, особенно с другими, когда и сам я еще не находил с ним связей. Их подсказал мне Береговой...

Но почему Береговой?..

До него мне приходилось слушать других летчиков, тоже по-своему интересных, а между тем сон во мне дремал, не просился на бумагу. Может быть, сказалась его особенная природа? Есть сны линейно-плоскостные, есть многослойные, а этот какой-то многослойно-симбиозный. Время в таком сне не просто накладывается друг на друга слоями, а по закону диффузии проникает одно в другое и становится причудливо единым. Обстановка сна была из жизни давних лет, а вошли в него впечатления всей жизни. Отозвался же он на рассказ Берегового, видимо, потому, что каменно-стальной хлам, падавший с неба, был явно космического происхождения.

На мое восприятие Берегового, в свою очередь, повлиял опыт этого сна. Разве невозможно, что картины, которые я здесь описал, в истории человечества повторялись уже не раз? Все-таки человек живет на Земле миллионы лет, и что в эти умопомрачительные сроки какие-то десятки и десятки тысяч лет? Разве невозможно, что и в те крушения цивилизации какой-нибудь чудак вроде меня сидел и записывал свои

сны. И в его далеких-далеких снах уже была фраза: "Люди, берегите свой разум!"

Нет, все же история возрождающегося человечества не может повторяться. Наш мучительный опыт не должен пройти даром. Было бы идеально, если бы одичавшие люди моего сна дошли до первобытного коммунизма и не выходили из него вплоть до настоящего, о котором мы сегодня мечтаем. Тогда бы они избежали всякие эти формации - и рабовладельческое общество, и феодализм, и капитализм с их вечными разделениями на богатых и бедных. Построение коммунизма даже в нашей стране - процесс не для одного поколения.

Весь наш путь говорит о его необходимости, а путь космонавта - о его возможности. Надо исполнить повеление Земли. Иначе зачем бы обыкновенному человеку забираться так высоко?

Путь космонавта начинался с зыбки.

Зыбка!.. Вы, наверное, уже забыли, что это такое? Это первый летательный аппарат русского человека. С нее мы и начали летать. Она подвешивалась к березовому шесту, укрепленному одним концом у потолка. Родившегося человека клади в зыбку и начинали качать, так что он сразу оказывался между потолком и полом, точнее, между небом и землей.

Зыбка - прообраз кабин всех летательных аппаратов, которые существуют сегодня. Говорили, что зыбка - от бедности. Пусть. Только жаль, что ее забыли. Для нового человека она тоже необходима. Впрочем, к моему сну это не имеет никакого отношения.

ЧЕРНАЯ ПРЯДКА БУКЕТА

В Марьевку обычно мы с женой приезжали к той поре, когда в совхозе заканчивали посевную. Пока мы обживались да обглядывались, поправляли упавшую изгородь да высматривали новые дырки в полу, проделанные мышами, проходила, глядишь, неделя - другая, и нас, не пахавших и не севших, приглашали на Праздник Борозды.

Моя жена, будучи на селе пришлой, от приглашения почти никогда не отказывалась, а у меня как односельчанина на этот счет был хоть и не сложный, но свой физиологически-психологический комплекс. Во-первых, я по давнему опыту знал, что Праздник Борозды для многих здесь заканчивался буквально бороздой. Во-вторых, на празднике, само

собой разумеется, надо было бы выступить, а выступить перед земляками в ранге писателя и артиста не хотелось. Это могло бы привести к полной утрате той иллюзии, что я все еще марьевский, что между нами все еще сохраняется первозданная простота отношений. Не скажу, чтобы эти отношения были сложными, но где-то в душе отмечал, когда какая-нибудь молодуха, потерявшая телка, кричала своему сынишке: "Сашка, посмотри его за писательским домом!"

Нынешней весной мы появились в Марьевке даже позже, когда белый цвет черемухи уже сменился оранжевым цветом огоньков, а моя любимая черемша, по-сибирски называемая колбой, уже стала волокнистой и не хрустела на зубах, как она хрустит в своем раннем сроке. Между прочим, встретили нас, вернее меня, как-то странно. Если жену привечали, хоть и в повышенных тонах, но вполне нормально и привычно, то меня - с некоторым удивлением, даже смущением.

- Жив-здоров?

- Пока что жив.

- Ну, слава богу!.. - и что-то недоговаривали.

Смущение было понятным. К весне на нашем дворе сохранялась густая, сочная отава, и хозяйствственные соседи напускали на нее свой скот.

Словом, к празднику мы едва-едва подсчитали свой урон, среди которого, если не считать объеденных овцами посадок, на первом месте оказалось осыпающееся подполье, угрожавшее кирпичным столбикам переводов. Не надо было быть великим плотником, чтобы представить, как начнут отваливаться стенки и вместе со столбиками сползать в яму, как на упавших переводах перекосится пол, как с треском нарушится хитроумная система моих перегородок...

И тут я проявил оригинальнейшую черту русского характера: сначала запустить, а потом героически спасать. Обнаружив опасность, через полчаса я уже разыскивал на своем "Урале-2" по всем нервным точкам совхоза милейшего Ивана Павловича, пекаря и художника, столяра и слесаря, плотника и гармониста. Несмотря на трудность задачи со многими неизвестными - на каком из этих поприщ действует сейчас Иван Павлович, через полчаса мы уже стояли с ним в полураке злополучного подполья.

Свет проникал с двух сторон - через продушины и открытый люк. Именно в пересечении двух потоков оказался глиняный пирог с какой-

то зыбкой трещиной излома у самого столбика. В том же свете оказался и сам мастер, вернее - лицо его, умудренное и тихое. Как печник Иван Павлович любил глину с нашей Назаркиной горы за ее разварчивость. Она быстро распускалась в воде, а заправленная песочком, крепко потом держала кирпичи. Вот и теперь, привезенный мною с лесопилки, он протянул руку к глиняному пирогу и, взяв кусочек глины, затер на ладонях древесную смолку.

- Дело сверхсрочное, - наконец-то изрек он, - очень и очень! - подчеркнул он, и тихие глаза его посмотрели на меня виновато...

Вообще-то обычный взгляд Ивана Павловича бывал скорее философски-безмятежным, а виновато смотрел он лишь в минуту высшей ответственности, которую брал на себя. Это была виноватость авансом, виноватость на всякий случай. Еще далекий до расшифровки этой авансовой виноватости, в, казалось бы, критический момент я был даже обрадован его категорическим заявлением об опасности. В нем прослушивалась деятельная нота, которой надо только воспользоваться.

Так оно и случилось.

Выбравшись из подполья, мастер на все руки по собственному почину осмотрел мои запасы кирпича, поинтересовался наличием цемента и песка, сохранностью железного корыта для замески. При этом он обнадежил, что такую небольшую работу сможет провернуть до Праздника Борозды, до которого оставался всего один день. Все выходило складно. Завтра с утра около Арышевского мостика на Уде он будет сколачивать скамейки, а потом...

- А потом мы займемся облицовкой! - пообещал милейший Иван Павлович с обнадеживающей улыбкой, которая, однако, не заслонила его затаенной печали.

Предпраздничный день выдался неровный, он ставил под сомнение место проведения праздника - то ли в чистом поле, то ли в старом клубе. "Если второй вариант уже принят, то Ивана Павловича время разыскивать", - подумал я, сел на свой транспорт и покатил к лесопилке. Она оказалась закрытой на замок. Тогда я выехал на шоссе и помчался к Арышевскому мостику; недоезжая его, свернул направо и въехал на зеленую арену естественного цирка.

Да-да, я въехал в широкую зеленую чашу с отколотым краем для въезда и поворота речушки, уходящей за высокий уцелевший край.

При этом единственном нарушении чаша была совершенно правильной круглой формы с одинаковым откосом по всей окружности. Лишь справа эта удивительная геометричность скрдывалась группкой берез, сбежавшей с откоса на арену. Шум мотоцикла мешал мне восхищаться красотой природы, и я выключил его. А если не природы?.. А если все это - великое творение рук человеческих?.. А если вот под этими скамейками, что стоят по откосу, под зеленою травой уже лежат кедровые блоки бывестной поры или мраморные плиты времени какого-нибудь Хулибая?..

Белые скамейки, однако, сколоченные Иваном Павловичем, вдруг отрезвили меня жгучим вопросом: а где же он сам? Уж не разминулись ли мы на перепутье? Может, милейший Иван Павлович уже замешивает глину и не знает, где ему взять цемент? Тут я принялся заводить свой хитрый мотоцикл, с которым в минуту спешки всегда что-нибудь стряется. На этот раз потек и захлебнулся левый карбюратор. Долго я мучился с ним, пока не догадался продуть его насосом, а когда двинулся, то сразу же включил высокую для меня скорость. Нельзя было заставлять ждать человека, столь отзывчивого на беду!..

Весь наш двор на горе около спуска на заливные луга хорошо виден сулицы. Подкатив к этому месту, я окинул взглядом свой двор и никого, кроме жены, не увидел. Она выхоливала на грядке тот единственный, пока еще не родившийся патиссон, впрочем красивый, который я, задержавшийся после нее в Марьевке, привез потом в Москву. Так что плоды ее трудов уже теперь намекали о себе, тогда как у моих еще не было и завязи. Когда жена оторвалась от грядки, я задал ей тот немой вопрос, который понимают только жены, обладающие большим терпеливым стажем. С ехидной улыбкой она закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Не говоря ни слова, я развернул мотоцикл в сторону улицы. Жена что-то кричала вслед, но слушать было некогда. Снова я объехал все нервные точки совхоза, даже магазин, но милейшего так нигде и не встретил.

Виноватая улыбка Ивана Павловича набирала силу.

Было бы тяжело, если бы не отвлекали от заботы и не рассеяли мою печаль предпраздничные визиты. Первым, еще без меня, пришел трехлетний Иван, мой однофамилец, живущий наискосок от нашего дома. Он решительно открыл калитку, закрыл и твердым шагом прошел к крыльцу, где жена чистила картошку.

- Где писатель? - спросил он сурово.

- А тебе какой нужен?.. Я тоже писательница!..

Иван посмотрел на нее так, как будто видел впервые, что-то подумал, нахмурился и сказал решительно:

- Нет!.. Мне нужен писатель-мужик!.. - и тем же шагом маленького командора направился к калитке. Он не остановился и не обернулся даже тогда, когда жена предложила ему шоколадную конфетку.

Примерно через час, уже при мне, на гору с лугов поднялись и перелезли к нам через изгородь школьницы с букетами цветов. А если точно, то не с букетами, а тремя охапками луговых огоньков. По законам японского букета этих цветов хватило бы на сотню букетов. Щедрые девочки наперебой поздравили нас с наступающим Праздником Борозды и начали заваливать цветами. После первых же слов благодарности в голосе жены зазвучали назидательные нотки:

- Девочки, сколько же вы цветов испортили!..

- Лариса Федоровна, а их на лугах много...

- Будете помного рвать, скоро совсем не останется!..

- Так их же все равно коровы не едят!..

Этот диалог меня позабавил. Казалось бы, все четко: с одной стороны, умудренная опытом защитница природы и ее красоты, с другой - юные разрушительницы прекрасного с их утилитарным подходом к красоте. Но коровы действительно не едят этих цветов ни в сыром, ни в сущеном виде, а выросли они в местах, где скоро будут косить сено. Так зачем же их берегать? Девочки были бы совсем правы, если бы с такой же легкостью не рвали охапками и другие, - такие чудные цветы, как цветы марынного корня, как венерин башмачок, как любку двулистную, которые тоже в пользу не коровам, а людям. Угостив и проводив девочек, оказавшихся менее гордыми, чем трехлетний Иван, жена высказала мне упрек:

- Что же ты не поддержал меня своим авторитетом?.

- Боялся за свой авторитет.

- Что же ему угрожало?

- А то, что в случае с огоньками правы были девочки.

- Ну конечно!.. Ну конечно!! Ну конечно!!!

Так в писательских семьях, когда пишут он и она, на почве какого-нибудь малого цветка зарождаются великие конфликты. С троекратно повторенным "ну конечно" она с презрением отвернулась от меня к

окну веранды и, глядя во двор, возможно, обдумывала продолжение своей явно не законченной фразы, но тут же обернулась и сказала уже примирительно;

- Идут!

В дискуссии о пользе цветов мы не заметили, как ко двору подъехал директорский вездеход. Как правило, новый директор Борис Андреевич ездил не один, а с новым парторгом Николаем Карловичем. С тех пор как давний директор по фамилии Салехов подбил меня построить наш дом, в совхозе сменилось шесть директоров, разумеется, столько же и парторгов. В должности они входили в разное время, а с должностей, как правило, уходили вместе. На этот раз одновременно сменилось и хозяйственное, и партийное руководство совхоза, что наложило свой отпечаток на их отношения. Они оказались не только в одной руководящей лямке, но и в одной машине, поскольку у парторга своей еще не было. В райкоме, как я знал, на них возлагались большие надежды, их особенно ценили за спаянность в работе.

- Работают душа в душу, как один, - сказали о них.

- А если их разделить, - пошутил я, - будет два руководителя?

Вот и теперь, идучи рядышком, они пересекали наш двор. Одинаковые ростом, новые руководители сильно контрастировали внешне. С фигурой спортивного вида, в мягкой короткополой шляпе, еще больше округлявшей лицо в рыжеватых усах, директор походил на преуспевающего прибалтийского фермера довоенной поры, а худощавый, в серой кепочке парторг - на рабочего с плаката двадцатых годов. Однако их образная отдаленность нисколько не мешала им с дружным и веселым видом пересекать наш двор. Их приподнятое настроение было понятно: как-никак справились с первой посевной. Подумав об этом, я сразу понял, что увильнуть от праздника будет почти невозможно.

- Как вы тут?.. Не заскучали еще на своей горе? - с веселым видом спросил директор, подходя к нам, сошедшим с крыльца.

- На нашей горе не заскучаешь, - попытался я на всякий случай блокировать подходы к главной теме, но после рукопожатий директор сразу взял быка за рога.

- А вот мы заехали к вам, Лариса Федоровна и Василий Дмитриевич, пригласить вас на наш трудовой крестьянский Праздник Борозды.

- Да вот как погода? - посмотрел я на темные тучки.

Директор приподнял перед собой ладони и слегка склонил голову.
- С погодой все уложено.

- Тогда все в порядке, - опередила меня жена, - пойдемте пить чай!

От чая гости отказались, говоря, что хотя с погодой все уложено, кое-какие мелочи остались несогласованными. Мне показалось, уходя, директор покосился на горку кирпича, заготовленного мной для облицовки подполья, но затевать новый разговор было уже поздно, да и не к чему перед праздником толкаться с этой мелкой заботишкой. С другой стороны, авансовая виноватость Ивана Павловича, судя по всему, стала фактом действительности, Ложась спать, я подумал: "А не взяться ли за облицовку мне самому?"

Замесить раствор - дело нехитрое. Где-то валяется мастерок, можно его найти, кирпич заранее спустить в подполье. Надо только расчистить простенки, чтобы кладка шла на одном уровне. Да, но у меня нет того самого инструмента, которым раскалывают кирпич и откалывают от кирпича... Как он называется-то?.. Э-э, да у меня же есть молоток-гвоздодер с острыми загнутыми рожками... Чертка расколет!..

Мысленно я нашел и сделал все что надо, спустился в подполье и начал кладку. Вот появился первый ряд, потом второй и третий... И как часто бывает, в какое-то мгновение картина воображения перешла в картину сна.

Четвертый ряд я клал уже во сне, потому что, обернувшись, не увидел задней стенки. Она отошла почти на метр. Я принялся выкладывать кирпичом этот разрыв и уже выложил ряд. До стенки оставалось расстояние в полкирпича. Пока я отбивал гвоздодером нужную по размеру половину, пока смазывал ее раствором, стенка отошла еще дальше. А главное, после каждого случая казалось, что все так и было изначала. Встревожило другое: не хватит заготовленных кирпичей. "Надо все обглядеть как следует", - подумал я и подошел к прыгающей стенке. На ней отвисал такой же глиняный пирог, как на противоположной, больше того, он вздрогивал, и глиняные крошки сыпались к моим ногам. Едва я протянул руку, чтобы придержать сдвиг, как стенка рухнула и обдала меня пылью...

- Вот это да!..

К моему изумлению, за осевшей пылью зиял узкий пролом. За рваными краями пролома стала видна рукотворная стена из белого мрамора. Страх и любопытство овладели мной. С холодком на загривке

я выглянул из пролома и увидел длинный-длинный коридор в мглистом отсвете стен. Где-то там, уже в непроглядности, маняще пульсировал какой-то источник света. Желание ступить на базальтовые плиты загадочного коридора стало неодолимым. И я ступил...

Странно. Как только я переступил через обвал глины, то сразу же почувствовал утрату времени. О-о, оказывается, время - явление физическое, ибо познается в движении. Более чем странно, я двигался и не чувствовал времени. Его не было ни во мне, ни в окружающем. Вообще-то в снах не бывает времени, но все же прежнее отсутствие было не так заметно, как оно стало заметно теперь. Оказывается, у времени есть тяжесть. Если во сне механизм времени только отключался, то на этот раз он просто-напросто был вынут из меня и я оказался без тяжести.

Пульсирующий свет становился все ярче. Неожиданно коридор оборвался, и я с размаху оказался в каком-то огромном вестибюле сферической конструкции с той же беломраморной отделкой и розоватым полом, расчерченным замысловатыми белыми линиями. Здесь тоже не было тяжести времени, но был ощутимый вес тишины. Я физически ощутил, как тяжесть безмолвия стала заполнять во мне ту пустоту, которая образовалась с уходом тяжести времени. Вместе с тем ко мне стало возвращаться и прежнее чувство равновесия. Стал я замечать то, что не заметил раньше. Задник вестибюля чем-то напомнил аэровокзал с рядом загоравшихся и гаснущих табло. Не успел я подумать о причине такого глубокого безмолвия, как на одном из табло вспыхнули крупные голубые буквы: "ОТДЫХАЕМ!"

Кто отдыхает?

Может, это санаторий?

Не тот ли это подземный санаторий, где, говорят, лечат астму?

Пока я ломал голову над этими вопросами, в облике странного вестибюля произошел какой-то геометрический сдвиг. Это автоматически открылись высокие и широкие двери - множество дверей, которые я вначале принял за настенные украшения. Во все двери одновременно хлынули потоки молодых и грациозных женщин с букетами цветов. В легких полупрозрачных одеждах, развевающихся в беге, весело размахивая полевыми цветами, не обращая на меня никакого внимания, они пробегали мимо - куда-то дальше. Лишь одна, какая-то шалая и дурная лицом, на минуту остановилась, воровато

разделила свой букет и, вручая мне половину, посмотрела на меня мглистым взглядом. Убегая за подругами, она дважды обернулась на меня, и дважды с явной насмешкой.

Букет был прекрасен. Полевые цветы гляделись только что сорванными, особенно голубые колокольчики, которые, казалось, даже тихо звенели. Но что это?! Из середины букета заметно выдавалась черная прядь какого-то нездешнего цветка. Его мелкие соцветия чернявыми букашками лепились к длинному разветвленному стеблю. Радость обладания букетом как-то сразу погасла. Вокруг снова стало пустынно и тихо.

С тоскливым чувством я побрел в направлении пробежавших девушки. Их путь привел меня в зал со множеством боковых сооружений, сплощадками и переходами. Скорее всего, зал был улицей, а боковые сооружения неким подобием домов, какие лепятся по склонам горных ущелий. Только все это приближено и связано одним залом и одним перекрытием. Негаданно из тумана боковой площадки вышел человек и стал пересекать улицу. Общий контур его показался мне знакомым.

Да, это он!..

Я сразу понял, где нахожусь. Этот человек умер несколько лет назад. Острый холодок вновь пробежал по моему загривку. По-спортивному собранный и сдержанно модный, он шел с озабоченным видом - шел так, когда вокруг никого нет и можно оставаться самим собой. На нем, как и при жизни, был хорошо вынутюженный мелкоклетчатый костюм, сорочка загробной белизны с горошковой "бабочкой" и мягкие узконосые туфли. Да, да, да, это был он!..

- Миша!

Человек поднял голову в начесе поредевших волос, стал всматриваться, открывая мне скулу, и подбородок жесткой конструкции, и губы как на стянутом шнурочке.

- Луконин!

Тугая стяжка губ распустилась.

- Вася?!

Мы разом шагнули друг к другу, но никаких поцелуев, объятий и тормошений не было, как не бывало всего этого наверху. При встречах в жизни мы обычного ограничивались крепким рукопожатием. Сейчас же встреча проходила в легких полукасаниях. Луконин по старинке

крепко жал мне руку, а я ее не чувствовал. Вместе с тем шла обоюдная приглядка. При этом меня осенил каверзный вопрос: "Знает ли он, что мертвый? Если Миша передо мной живой, то как же с ним разговаривать - как с живым или как с мертвым?" В свою очередь, приглядываясь ко мне, Луконин обратил внимание на букет, который я переложил в левую руку.

- Как?! - удивился он, - Ты уже успел побывать на вечере графоманов?.. Вот уж не ожидал от тебя!..

- На каком таком вечере?..

- Сам знаешь, у нас же ведь любят графоманов. Воспитывают, перевоспитывают, затевают их вечера. Сотня бездельниц рвет для них утешительные букеты, торжественно вручает. И вот что удивительно: находятся высокопоставленные покровители и поклонники. Они, видите ли, устают в заботе о серьезной литературе - вот и ходят на графоманские вечера поразвлечься нелепостями. На последнем секретариате я им, старым мурзилкам, выдал как следует. Накипело, Вася! Ну да ладно!.. Мы еще покажем, что такая настоящая поэзия!..

"Нет, Миша не знает, что он мертвый, - заключил я, - иначе бы не играл в эти вечера и секретариаты. Здесь же много секретарей почти в полном старом составе. Они заседают, решают литературные проблемы и не знают, что горячатся в другом мире, что их стенограммы уже давно никто не расшифровывает..."

Мы переходили какой-то мост, висевший почти над самой водой, безмятежно тихой и темной. Лишь восходившая луна бросала на него свинцовые блики. "Если это все под нашим домом, то, видимо, это мост через озеро Кайдор, - строил я догадки, - но не верхнее, где я ловлю окуней, а то, подземное, откуда качает воду совхозная водокачка. Интересно, есть ли здесь рыба?" И словно в ответ на мой вопрос, на озерной тишине появились рыбные всплески. "А может, у них так же, как у людей? Выловил я в Кайдоре чебака, поджарил и съел, а этот чебак, вернее, то, что является высшей сущностью чебака, раз - и сюда!" На минуту забывшийся, я встряхнулся от недовольного голоса Луконина:

- Все экономят!.. Опять выпустили эту луну, а у меня от нее уже глаза стали побаливать!..

По всему чувствовалось, что наш разговор пока что не главный, что Мише Луконину хочется перейти к нашим личным отношениям,

которые когда-то были им испорчены, а потом восстанавливались долго и медленно. Еще при жизни мы несколько раз подходили близко к такому разговору, но всякий раз в какой-то момент шнурочек на губах Миши затягивался, и мы останавливались на подступах к нему. Сейчас же, когда мы перешли мифический мост над мифическим озером с мифической рыбой, он потянул меня в укромный уголок, где одиноко стояла уютная скамеечка.

- Давайте поговорим без дураков. Надо кое-что вспомнить.

Это было ровно тридцать лет назад. В Литературном институте шла защита дипломов. До меня все защищались благополучно, получая за дипломы или хорошие, или отличные оценки. Когда очередь дошла до меня, все добрые слова в адрес дипломников были истрачены. Вместо рецензий на дипломные книги, которые зачитывались при защите, зачитали, как ни странно, критическое письмо Луконина, адресованное мне лично. Незадолго до этого он получил Государственную премию за поэму "Рабочий день", что усилило печальную роль его письма. В нем мои стихи были представлены как вирши запутавшегося поэта, а среди них, между прочим, уже были те, за которые меня потом хвалили. Но обвинителей на моей защите было много, а защитников не оказалось. Сам же я вел себя так строптиво, что мне отказалли в дипломе.

Меня спасла моя строптивость.

Сам по себе диплом не имел для меня никакой цены. Я не собирался идти в аспирантуру, а в качестве очеркиста уже сотрудничал во многих журналах. Была лишь одна опасность: не одолеть дурной славы бездарности и затоптаться на месте. Инстинкт самосохранения привел меня как поэта к одной спасительной формуле. Если друзья-приятели начинали мусолить случай с дипломом, я отшучивался: "Они сделают меня гениальным". Тогда же и появились строчки:

Пусть недруги бранят,
Терплю, не споря.
Они меня гранят
Себе на горе!

Когда я рассердился и написал такие поэмы, как "Белая роща", "Проданная Венера" и "Золотая жила", те же друзья-приятели стали

напоминать Луконину о его письме. На этот раз отшучивался он: "Не будь моего письма, Федоров не написал бы этих поэм". А правда состояла в том, что после луконинского письма, все же немного потоптавшись на месте, я стал более решителен в своих осужденных заблуждениях. Луконин это видел. Об этом-то он и начал разговор на потусторонней скамеечке.

- Когда поэт ударит другого поэта, возникает эффект сопричастности, даже какой-то родственности. После письма моего к тебе я стал больше приглядываться не только к тому, что делал ты, но и к тому, что делал я сам. А с появлением твоих новых поэм мои старые представления о тебе как личности рухнули окончательно. Признаться, мы, бывшие фронтовики, грешили высокомерностью, думая, что две-три атаки, если они были, уже дали нам универсальное знание жизни. А тут я понял, что человек твоей убежденности должен был пройти не менее суровую школу. И не случайно после поездки в Чехословакию, если помнишь, я тебе сказал: "С тобой хоть в разведку!" Между прочим, в докладе, который я готовил к плenуму, ты поставлен мной в наш фронтовой ряд. Жаль, что плenум отменили и доклад лежит...

- Ты, наверное, просмотрел или запамятовал, - слукавил я, - этот доклад напечатан в "Новом мире".

- Все-таки напечатали?! - удивился он с торжествующей ноткой в голосе и откинулся на спинку лавочки. - Читал?..

- Как же!.. Спасибо, Миша, за добрые слова!..

- Главное - вовремя помириться, - засмеялся Луконин, - да... За это надо благодарить наши совместные поездки в Чехословакию и Югославию. Как славно мы ехали в Дубровники и как хорошо поговорили о вечности!..

Помнится, после Мостара нас везли по правобережной Герцеговине. С высокогорного плато открывался величественный вид на вершины окрестных гор в синем отсвете близкой Адриатики. Все располагало к большим категориям и резким контрастам. Мы удивлялись той чудовищной подземной силе, которая смогла поднять, вздышить и возвысить эти горы. От гор мы перешли к социальным сдвигам и потрясениям, которые породили таких гигантов, как Данте и Петрарка, как Пушкин и Лермонтов, как Есенин и Маяковский, с их голосами, не ослабевающими во времени.

- Это все голоса громкие, - заметил Луконин задумчиво, - а вот как

через века приходят и волнуют нас голоса тихие?.. Задолго до твоего Данте, в одиннадцатом веке, жила в Японии одна придворная дама, и написала она четыре строчки...

- Ты имеешь в виду:

Я не о том грущу, что ты забыл так скоро,
Не о своей судьбе в тревоге я,
Но жизнью мы клялись, богам клялись мы оба,
И я боюсь, что ждет теперь тебя?

Луконин приподнял брови, чуть отвернулся и сказал вроде бы на публику:

- Знает!

Его тогда удивляла во мне даже такая малость, как знание какой-то средневековой японской поэтессы. Все же в этом удивлении, как я сейчас думаю, не было никакой высокомерности. Еще до войны он учился в Институте философии и литературы, то есть обкатывался в Москве, тогда как я в это время работал на авиационном заводе. До этого ли мне было.

Потусторонний Луконин оказался со мной куда откровеннее, чем прежний. После короткой исповеди Миша вернулся к своему обычному застольному тону - к шуточкам и остротам в солоноватой приправе. Неожиданно он смолк, повел плечами и признался:

- Что-то я продрог до костей...

При упоминании костей мне тоже стало почему-то зябко.

- Да, хорошо бы сейчас погреться...

- Запустил я это дело... - признался Миша, - сухой закон!..

- Какая жалость! - вырвалось у меня.

- Постой, Вася, постой, - оживился Луконин, - есть у меня знакомый выпивоха. Он знает все злачные места. Правда, он... - и Миша замялся.

- Ну, что он? - допытывался я.

- Ладно!.. Пошли!.. - сказал он решительно, не давая ответа.

Вскоре мы оказались в комнате, заваленной каким-то антикварным хламом. Прямо на полу, а точнее, на потертом ковре, полулежал пожилой человек в темной медвежьей дохе нараспашку и нарядных тапочках. Шерсть дохи перепуталась с волосами груди, из которых поблескивал серебряный крестик. Небрежный седеющий пробор, усы

и бородка, хотя и не подстригавшиеся давно, показались мне удивительно знакомыми. Как?! Неужели?! Я вопросительно посмотрел на Луконина. Тот опустил глаза, легонько кивнул головой и шепнул:

- Император...
- Проходите, устраивайтесь! - говорил нам бывший венценосец.
- Да мы так, по пути заглянули...
- Проходите, проходите, - наставивал хозяин, - рад поэтам!.. Как никак, а дом Романовых имел и стихотворцев, - не без гордости сказал он и процитировал:

Умер бедняга в больнице военной,
Долго родимый стонал...

- Простите, я не представил вам своего друга. Это поэт Василий Федоров. Сибиряк.

При слове "сибиряк" император поморщился.

- Собственно, по случаю встречи мы хотели с ним немножко развеяться, - продолжал Луконин, - и конечно же в вашей компании...

- Все подоржало, - пожаловался хозяин, - да и поиздергался я изрядно! - и он сделал выразительный жест.

- У меня есть, - вмешался я, - а в случае чего к себе на гору сбегаю! - и осекся при оговорке.

Казалось, все было на мази. Император не обратил никакого внимания на мою оговорку, улыбаясь, похмельно почесал грудь и начал было уже подниматься. Но тут в комнату влетел молодой человек, рыжий и шустрый, как собака динго.

- Михаил Кузьмич! Начинается!..

Что начиналось, где начиналось, так и осталось неизвестным. На лице Луконина появилась озабоченность, в движениях - суетливость.

- Вы тут поговорите о поэзии, а я скоро вернусь! - и как-то быстро-быстро, призрачно-ломко высокользнул из комнаты.

Обернувшись на императора, я увидел его в новом убранстве. На его проборе сидела коронка с высоким крестом на золотом яблоке. Под коронкой, сидевшей набекрень, происходили странные перемены. Его набрякшие подглазницы выгладились, и выражение глаз стало другим, другими стали и очертания губ - он все больше и больше начинал походить на знакомого мне писателя Арсения Ивановича,

зядлого шахматиста, совсем недавно бывшего со мной в Малеевке. В доказательство того, что моя догадка верна, Арсений Иванович с лукавой хитринкой потянулся к шахматной доске, что обещало мне долгое сидение. Я извинился и, нескладно оправдываясь, ушел в надежде догнать Луконина.

Не успел сделать и десятка шагов, как горько пожалел, что снова обрек себя на одиночество. Никого я не догнал и не встретил, только заблудился. Никакого моста на моем пути не оказалось. Не было и озера. "Почему не остался у Арсения Ивановича, - сетовал я в отчаянии, - ведь он же здесь такой же пришлый. Стал бы выходить на свет, вывел бы и меня. Кого-то звать, кричать? Но, говорят, кричать здесь не принято, надо брать левее, левее, левее!.." - подсказывал я себе, поворачивая левее и левее. И тут кто-то резко осветил меня ручным фонариком!..

Это солнце выкатилось на высокий горизонт и, как пушка, стрельнуло по окнам дома утренним светом. От узкого луча, бившего в щель занавески, зарозовела кедровая обшивка стен. Какое же блаженство после ночных мытарств снова проснуться в тепле и свете. Я быстро поднялся и распахнул окно. В раму в рассветном трепете жизни вписался прекрасный фрагмент земли и неба. Этого мне оказалось мало. На мне еще была пыль подземелья, которую суеверно захотелось стряхнуть не в комнате, а под открытым небом. Проходя мимо кухни, я невольно глянул на люк подполья. Разумеется, он был закрыт и никаких следов на нем не было.

Когда я подошел к обрыву над озером, солнце уже стало крылато и оторвалось от земли, но не настолько, чтобы прогреть воздух. Слоистый туман стелился еще только по низинам, особенно заметно вдали - над рекой, клочковато над lugom и совсем густо внизу - над озером. Видимо, на меня еще влияла ночная фантасмагория, отчего река под слоистым туманом казалась двухэтажной.

Жена еще спала. С нетерпением я ждал, когда Лара проснется, чтобы поделиться с ней своими ночными приключениями. Наконец она проснулась и, не найдя меня в доме, вышла на крыльцо. Тут же я вкратце рассказал ей о своем сне - о том, как мне подарили странный букет, как встретился с Лукониным, как тот познакомил меня с императором и он превратился в Арсения Ивановича. Лара засмеялась:

- Ты его еще не назвал, а я уже подумала, что это он...

- Почему?
- Не знаю...
- Ну, а как тебе букет?
- Он мне что-то не нравится...
- Да и мне признаться не очень.
- Если бы он был просто графоманский, - рассуждала жена игриво, - я бы не стала печалиться, но эта черная прядка!..
- Ладно тебе!
- Нет-нет, ты послушай... Во всяком случае, это знак, чтобы ты не очень-то увлекался в День Борозды.

Несмотря на такое слишком уж утилитарное толкование сна, жена, хоть и старалась не подавать вида, была заметно встревожена. За завтраком она сама вернула меня к некоторым деталям сна, особенно к отношениям с Лукониным, - не обнялись ли, не поцеловались ли? В своей настороженности она, казалось, что-то не договаривала, как не договаривали что-то сельчане при первой встрече со мной. "Все ясно, - сказал себе я, - хочет внушить мне чувство уверенности". Признаться, такое внушение в Марьевке не бывает лишним. Марьевцы любят угощать.

В сборах к празднику жена наконец отвлеклась от неприятной темы. В таких случаях женщины при выборе, например, только платья забывают о более серьезных вещах, чем странные сны их мужей. Все они похожи на дошкольниц, с великим нетерпением ждущих первого урока. Моя жена в День Борозды не была исключением. И все-таки, когда сели в директорскую машину и, выезжая за окопицу, свернули на гравийное шоссе, жена наклонилась ко мне и шепнула:

- Помни о черной прядке букета!..

Красота без надобности запоминается плохо.

Въезжая в зеленое кольцо "цирка", я заново увидел его. В группах празднично одетых людей он выглядел привычно обжитым, еще более историчным, извечно предназначенным для зрелищ и праздников. Перед временными скамьями уже стояли стол для президиума и передвижная трибуна для выступлений со змеиной головкой усилителя. Неподалеку, слева стола, - автобус с оркестром и шефской самодельностью, оснащенный всеми техническими атрибутами. Около автобуса были уже выставлены барабаны и разложены прочие музыкальные инструменты. Солистки оркестра бегали в соседний

автобус с утюгом.

Зеленое поле условно делилось на две половины: левую - деловую и правую - гулевую. Совхозное начальство во главе с подъехавшим председателем райисполкома с левой стороны поля внимательно наблюдало за правой. Мы тоже посмотрели в ту сторону. Она была более людной и подвижной. Там под сенью берез стояла автолавка и два грузовика с кузовами того же назначения. Шла бойкая торговля съестным и горячительным. Истины ради эти имена существительные в данном случае следовало бы поменять местами. Вот это и тревожило.

- Не засиграла бы гармошка раньше времени! - сказал председатель райисполкома, а он как бывший, наиболее устойчивый директор нашего совхоза знал, что говорил. Тем более что это поле для Праздников Борозды было открыто им еще в то время.

А машины с участниками праздника из двух других отделений совхоза все прибывали и прибывали. Мы обратили внимание, что все были нарядные - женщины в модных платьях, мужчины в дорогих костюмах. Это дало жenе повод упрекнуть меня в пренебрежительном отношении к своему туалету.

- Ходят же на примерку к портным другие поэты...

- За Лукониным не угонишься.

Фраза вырвалась сама собой. Мне и в голову не приходило, что даже на празднике во мне будет сидеть мой неразгаданный сон. Он проявлялся исподволь. Во время призывной музыки, возвещавшей о сборе, темный клубок сна вроде бы съежился в моей памяти, а когда, приглашенные в президиум, мы несколько преждевременно присели к столу, он начал снова распускаться и, больше того, - корректировать происходящее событие. Все просматривалось с позиции вечности. Парадоксально, но такая позиция повысила мое внимание к мелочам. Вот в третьем ряду скамеек немолодая женщина обхватила цветастое платье руками и села, а потом начала расправлять его на коленях. По нежному шелку трижды скользнули и замерли на коленях огрубленные руки.

Это неповторимо.

По-новому увиделся мне выход директора на трибуну с докладом. Будет еще много и много докладов о посевной, о сенокосе, о хлебоуборке, но этот первый выход на общесовхозную аудиторию с явным желанием, чтобы у него все было к месту - и усы, и слово...

Он неповторим.

По-новому я взглянул и на происхождение зеленого "цирка". Сначала сон усилил мою фантазию в ее прежнем виде, т. е., я стал воображать, что где-то под ним существует целая архитектурная система, связанная с той архитектурной системой, которую я увидел во сне. Но близость Уды, подступавшей к полю правым берегом, смела все мои фантастические картины. Вместо них появилась одна, более правдивая и не менее величественная.

В незапамятные времена, когда рождались могучие реки, незаметная ныне речушка была дерзкой и сильной. Выйдя из берегов, однажды она врезалась в боковину холма и начала выкручивать его глинистую сердцевину. Сотворилось некое подобие гончарного круга, где вода раздвигала и выглаживала стенки великой чаши в чутких ладонях земли. А когда народившиеся реки отбушевали и стали стареть, поток нашей Уды ослабел и попятился в свое прежнее русло, после чего природе-художнице оставалось лишь расписать подсохшую чашу цветастой росписью трав и цветов.

Она неповторима.

Весь Праздник Борозды проходил под знаком неповторимости. Совсем другими глазами я смотрел на выступление жены, которой дали слово сразу же после доклада и обязательных речей. Раньше я избегал совместных выступлений, чтобы из-за повышенной ревнительности не подвергать ее и себя лишним переживаниям, хотя за нее можно было не беспокоиться. Женщине нужно только раз поверить в себя, и этой веры хватит ей на всю жизнь. Литературный институт мы с женой заканчивали вместе, и, когда мне отказали в дипломе, она получила свой с отличием. Не попасть бы снова в такую же ситуацию. Не об этом ли предупредила меня черная прядка букета?

Пока с трибуны звучал голос моей жены, подкрепленный усилителем, я лихорадочно думал о том, что сказать и что прочитать. Некоторые мои собратья по перу в разговоре с сельчанами стараются быть доходчивыми, к чему я сам никогда не стремился, исходя из убеждения: если я, бывший деревенский, понимаю самого себя, то почему меня не поймут другие деревенские? Разве они не понимают, что радость весеннего праздника в какой-то мере условна. Зерно толькоброшено в землю. Его надо вырастить и довести до конечного результата. Конечно, хорошо, что на совхозном поле сегодня трудится

и авиация, но разве же не позорно для нее сбрасывать на луга и поля неразбитые глыбы удобрений, а в борьбе с сорняками сжигать гербицидами березовые рощи? “Нет, - поправил я себя, - сначала надо сказать о чуде жизни, о благодати неба и земли, а в заключение прочитать стихотворение “Земля”, как-никак написанное в Марьевке”.

Заступив место жены, сошедшей с трибуны под дружные аплодисменты, я так и начал. Змеиная головка микрофона, поставленная не по моему росту, оказалась на уровне моего сердца, особенно близко, когда в забывчивости я подавался вперед, однако, голос мой был слышен на всем поле. Но переход от прозаической речи к стихам, как я почувствовал, остался плохо замеченным. Дело в том, что начало стихотворения было слишком в русле уже сказанного. Речь шла о том, что однажды ночью, выйдя за село, я услышал утомленные вздохи работяги-земли.

Тогда после первой строфы я повысил голос:

В таинственных долинах небосвода
Подружки-звезды в блестках золотых
Веселые водили хороводы,
А ей, усталой, было не до них.

И тут змеиная головка микрофона нанесла мне удар в самое сердце: она отказалась работать. Кто-то, еле волоча ноги от речки, разъединил провода, протянутые по траве. Я остался один на один с огромным полем. Следующую строфиу следовало читать на пониженных тонах, а мне пришлось напрягать весь голос.

Сама звездой она сияла прежде,
Теперь лежала в молодых мирах
В своей лесной и травяной одежде,
Протершейся на мускульных буграх,

Ловил мой слух, как трудно сердце билось
В чередованье спадов и прыжков,
Что ж, накружилась, дымом накурилась,
Целебных наглоталась порошков.

Ей на курорт бы, на веселый праздник,
А там опять кружиться и рожать,
Ей отдохнуть бы в лучшей из галактик,
В хорошей атмосфере подышать...

К радостному удивлению, меня слышали и слушали. Оказалось, у зеленой чащи "цирка" была хорошая акустика, но все же для страховки в конце чтения я поднял голос еще выше:

Так думал я о ней, а с нею слитый,
Уже зарозовел небесный плес.
Ей и на час нельзя сойти с орбиты,
Ей суждено работать на износ!..

"Слава богу, пронесло! - думал я, возвращаясь на свое место, - Черная прядка букета пока что не сработала!" Видимо, меня спас эффект заини. Заин всегда хорошо слушают. Если заинка просто выговаривает слова - это уже хорошо, а если в его словах есть еще и смысл - это прекрасно. У меня же и того больше - почти глухонемой вдруг оказался с голосом!

Деловая часть праздника затянулась. Отличившихся на посевной оказалось много. Три стопки конвертов с денежными премиями по трем отделениям таяли медленно, Каждого премированного, подходившего к столу, встречала и провожала бравурная музыка. Аудитория заметно ожила. Но многие смотрели не на премируемого, а на отчаянного барабанщика в красной рубахе, лихо бившего барабан и успевавшего ударить в литавры.

Какое-то время аудитория была единой, с общим взглядом в сторону президиума и оркестра, но вот наступил момент, когда от нее сначала одиночками, а потом группами стали отпочковываться уже премированные. Наступило особое оживление и в президиуме. Были слышны тихие переговоры: "Где?" - "Да здесь, вон в стороне!" - "Нет, надо ехать на большой берег!" - "А какая разница?" - "Там уха вкуснее!"

Долгое сидение утомило меня, но предвкушение аромата ухи на берегу реки делало терпеливым. После шефского концерта жена не выдержала новых ожиданий и попутной машиной уехала домой, не преминув повторить свое утреннее наставление в сокращенном

варианте: "Помни!"

Прекрасен праздник на берегу реки - праздник с ухой на высоком костре. Какое удовольствие бросить в этот костер хворостинку и думать, что ты приобщился к сотворению мира. Чудесен не только сам костер, но и то, что делается вокруг костра: эта веселая суеверность, чистка рыбы, уже пойманной и непойманной, беготня под обрыв и обратно, расстилка брезента и расстановка всего, что было прихвачено из дома, нетерпеливое поглядывание на выставленные бутылки и первый ковш почерпнутой ухи, и первое восторженное "о-о!"...

Мне бы достало сил в деталях описать и то, что бывает и что было потом, однако сами по себе интересные детали вышли бы из круга моего сна, вернее, имели бы к нему лишь косвенное отношение как факт моего участия в этих событиях. Возможно, потом-то все это имело какое-то значение, но за два часа, проведенных на берегу, с точки зрения трезвости небезгрешно, на черную прядку букета не было и намека. О наказе жены я довольно часто забывал, тем не менее оставался в хорошей форме, доказательством чему может служить моя память, сохранившая некоторые детали обратного пути.

В Марьевке осталось мало гармоней, зато в праздники они и работают - каждая за три. В былые времена полем гармониста была улица, а в наши дни они почему-то тяготеют к шоссе, проложенному за селом. Когда наш вездеход одолел все рытвины поймы и вымахнул на шоссе, нас встретил, все усиливаясь, надрывистый голос старой трехрядки. Около автобусной остановки в окружении подвыпивших мужчин и женщин, с блаженной улыбкой клонясь над гармонью, стоял наимилейший Иван Павлович, а за ним какой-то верзила, вдруг запевший трагическим голосом:

Я хожу, как чокнутый,
Я тобой зачеркнутый!..

Дома я рассказал о только что виденной картине, о блаженной улыбке Ивана Павловича, которая говорила о том, что в ближайшее время его можно к себе не ждать.

- А если все-таки самому?
- После такого сна что-то не хочется.
- Ты бы его записал. Забудешь.
- Записать не штука. Без толкования букета он не играет.
- А Луконин?

- С ним более ли менее все ясно. Во-первых, - начал я свое толкование, - он умер, когда мы были с тобой здесь же, в Марьевке. Об этом мне напомнила старая газета, на днях попавшаяся на глаза; во-вторых, в наших отношениях было много недосказанного, в моем сознании он повисал в некоей неопределенности. То, что я прочел в "Новом мире", меняло картину, а его уже не было. Вносить поправки в одностороннем порядке для моего сознания оказалось недостаточным. Для полной ясности и законченности отношений нужен был он сам. Вот Михаил Кузьмич и появился.

Разгадывая одну загадку сна, я не знал, что уже на следующий день мне откроется и тайна черной прядки букета.

Она оказалась пророческой. Утром я проснулся больным. К обеду стало ясно, что нужно ехать в районную больницу. На своем мотоцикле поехать я уже не смог, пришлось просить соседа, который отвез меня туда на своих "Жигулях", где я и остался. Вернее, пришлось упрашивать знакомого хирурга не отправлять меня в Кемерово, как хотело больничное начальство, а оперировать в райцентре.

Сыграл психологический момент: если в Кемерово - дело уже серьезное, если в райцентре - обычное и рядовое, тем более я вполне доверял резчику по живой плоти - человеку сравнительно молодому, с темными подкорочеными усами правоверного семьянина. Через день Геннадий Григорьевич сделал мне операцию. Может быть, сама по себе она была и не сложной, но, как он потом говорил, каверзной по своим возможным последствиям. Это была не просто информация, а деликатное предостережение. Мне ли было забывать о предосторожностях, когда в сознании все время маячила черная прядка букета на красном фоне бинтов.

Две недели пробыл я в больнице.

Не буду описывать подробности хирургического отделения с его высокой тележкой, отвозящей и привозящей больных, с его кровавыми бинтами, наскоро брошенными в железные ведра, с костылями, меж которых с неловким торможением начинали двигаться немощные полосатики. Не буду описывать и свою болезнь, поскольку к основной теме моего рассказа она не имеет прямого отношения. Есть люди, которые не только охотно рассказывают о том, что сделал с ними хирург, но и показывают швы, как ветераны войны свои доблестные шрамы. Скажу лишь одно: выписывая меня из больницы, Геннадий Григорьевич

посоветовал:

- В Москве покажитесь хирургу. Сообщите ему, что шов надо смотреть на "девяти часах циферблата".

Заметив мое удивление, добавил:

- Хирург знает, что к чему.

Возвращался я домой в полном сознании, что все мои мистические загадки разгаданы. Черный цветок, выпрошенный мною во сне, выходит, предупредил меня об опасности. "Как же все это получается?" - думал я в пути. - Конечно, мозг знал о моей болезни задолго до того, когда она стала болью. Боль - тоже еще предупреждение, но уже на грани добра и зла. Ему, мозгу, надо было сделать более раннее предупреждение, и тогда сознание прибегло к символу сна, сочинило сценарий, предусмотрело в этом сценарии и печника с неуложенными кирпичами, и поэта Луконина с его незаконченными отношениями в этом мире, подсунуло девушку с букетом и черным цветком в этом букете. А если бы остановилась не та шальная девушка, а другая, все равно в букете этой другой был бы тот же предостерегающий символ..."

За две недели поднялись и загустели всходы. Их прежде красноватый цвет заменился ярко-зеленым. Но листья берез под лучами яркого солнца еще отливали младенческим глянцем. Боже, как изумительно хорошо, как изумрудно-светло было в поле, но мысли, скользнув по возрожденной красоте, снова полезли в глубину самих себя.

"Мозг человеческий видит в человеке все, - продолжал размышлять я, - по крайней мере должен видеть. Ему подотчетна каждая живая клетка, а у каждой живой клетки есть свои, может быть, дремлющие глаза. ДРЕМЛЮЩИЕ - потому что отдали свои первоначальные функции глазам внешним. Да-да, в раннюю пору человечества внутреннее зрение человека было сильней внешнего. Недаром же у древних изображений человека существовал третий глаз, умевший заглядывать в себя. За сущностью внешней жизни он сделался ненадобным. Как же он, этот третий глаз, нужен теперь, когда потребность заглядывать в себя стала насущной. О, человек еще вернется к этому третьему глазу!"

Природе вовсе не обязательно демонстрировать его на высоком человеческом челе, как было, поскольку он нужен только на потребу себе. Вот я однажды глотал какую-то японскую резиновую кишку с

зеркальцем, чтобы врачи увидели мои язвы. При третьем глазе ничего этого делать бы не нужно - включил бы я телевизор своего третьего глаза и получил бы нужную информацию. Ведь мы же знаем, что тело видит, ведь мы же говорим: "Видит нутром". Не отзвук ли это тех человеческих качеств, которые мы утратили?"

Так в размышлениях я быстро добрался до своей Назаркиной горы. Своим внешним взором я окинул диковатое поле двора и ощутил небывалый прилив нежности. На нашем мини-огороде поднялись бирюзовые перья лука, замохнатились кустики укропа и ботвы моркови. Над шестью огуречными лунками кружилась пчела-разведчица. Жена увидела меня, когда я начал разыскивать в лунках первые огуречные цветы. Потом мы долго стояли у обрыва к озеру, любовались заозерными лугами, рекой и речной перспективой. Все было ясно обозначено и раскрыто, всему нашлось объяснение. Никаких тайн. Однако и на этот раз я ошибся.

К вечеру мне захотелось показаться сельчанам и двоюродной сестре, жившей неподалеку. Мария сидела за швейной машинкой и, обо всем осведомленная, встретила меня без эмоций неожиданности.

- Обошлось?..
- Пока обошлось.

Она даже не оторвалась от своей незаконченной строчки, продолжая шить и разговаривать. У нее это выходило как-то ловко и естественно - глаза в очках глядели на шитье, но они успевали взглянуть и на меня поверх золоченой оправы. В какой-то момент она взглянула на меня, да так и осталась в этой позе.

- Слушай, Василий, что я тебе скажу...
- Скажи... Почему бы тебе и не сказать...
- Давно собиралась, да не хотела расстраивать...
- Ну-ну!.. Теперь, значит, можно расстроить?!
- Ты слушай, в дальнейшем все поймешь...

Мария сняла очки и отложила их за машинку, что говорило о важности предстоящего разговора. Ее подготовка меня заинтриговала.

- За несколько дней как вам приехать, - начала она, поджимая губы, - зашла я в сельсовет. Там сидели председатель Скумай, ты его знаешь, ну, и другие мужики. Как я зашла, они о чем-то разговаривали, а у самих глаза какие-то такие, ненормальные. "Что это вы?!" - удивилась я. Гляжу на них, а

они глаза отводят. "Может, - говорю, - помешала?" - "Да нет, - говорят, - мы так". А я им не верю. Тогда Скумай спрашивает меня: "От брата Василия давно письмо получала?" - "С месяц, наверное, будет, - говорю, - а что такое?" А председатель, грустный такой, переглянулся опять с мужиками и сообщает: "Умер Василий". - "Как, - говорю, - умер?!" Откуда знаешь?..." - "По радио извещали. Многие слышали". Верить, не верить - не знаю. Побежала на почту, думала, телеграмма какая есть. А там никакой весточки. Жду день, второй... Переживаю... А на третий день вы появились...

Слушать рассказ о собственной смерти, скажу вам, занятие не совсем обычное. Явная нелепость, а воспринимаешь ее на серьезный лад. Мне вспомнились таинственные недомолвики сельчан при первых встречах, их любопытно-настороженные взгляды, как будто я был уже не я, а нахальный выходец с того света. Даже в поведении жены примечал что-то недосказанное.

- А Ларе ты говорила?
- Говорила.
- Странно!..
- Я ее попросила не пересказывать...
- Дуры!..
- Так уж и дуры? - обиделась Мария.
- Конечно, дуры!.. Из-за вас я в больницу попал!..

Последняя фраза вырвалась у меня на полном серьезе, хотя я не мог объяснить Марии, почему из-за умолчания ложного слуха я ухитрился попасть в больницу.

А все-таки в этом была доля истины. Расскажи Мария обо всем вовремя, я бы успел оградить себя от гипнотической атмосферы ложного слуха. Мой организм оказался незащищенным... От чего?.. Да от сил, у которых еще нет имени. Черт побери, да все от того же черного цветка, сидевшего в голове каждого, кто подходил ко мне, в глазах каждого, кто глядел на меня! Мой организм, попавший в мистическое поле этих сил, помимо моего сознания начал СООТВЕТСТВОВАТЬ обстановке.

Правда, хирург мне говорил, что к весне мои жизненные силы оказались ослабленными от витаминного голода. Тем более! Такая чертовщина, да еще на ослабленный организм!

Так родилась моя новая теория третьего глаза и безымянных сил в

обстановке витаминного голода и недоделанного подполья. А что касается Ивана Павловича, то с ним в конце концов все обошлось как надо. Узнав о моей болезни, человек, по натуре добрый, он зашел спрашиться, как чувствую себя в больнице, и наскоцил на самого меня, уже вернувшегося из нее. В тот же день все лазейки в подземное царство нашей горы были заделаны кирпичами на добротном цементе.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОРТРЕТА

Мне долго было смешно, когда говорили о раздвоении личности. “Как это, - думал я, - при одной голове, при одном сердце и, можно сказать, при одной душе личность вдруг раздваивается?” Я привык сознавать себя единым, действовать от себя единого, видеть себя единым. Первый удар моему единству и цельности нанес один курьезный случай...

Однажды ночью я размашисто шел по Красному проспекту освещенного Новосибирска. Освещение было такое, что моя тень все время шла впереди меня и была вроде бы моим путеводителем. И вот на перекрестке, меж двух фонарей, моя единственная тень резко раздвоилась, и уже две тени мотнулись от меня в разные стороны. От неожиданности я чуть не упал. Остановился и долгоостоял в середине ее странного излома...

Мне пришло в голову повторить этот момент, вернуться и подойти к этому месту уже тихим шагом. Вот тень еще едина... Но вот начала набухать ее голова... Вот превратилась в два полушария... Вот между ними вошел светлый клинышок... И вот стало две головы, пока еще на одних плечах, но вот раздвинулись и они... Светлый клинышок стал лезвием колуна, который раскалывал мою тень, как раскалывает длинное кедровое полено, и оно разваливается от одного взмаха, а лезвие колуна доходит до самой земли. Все было так, не было только треска.

Долго еще этот случай оставался в моей жизни просто казусом, просто световым эффектом, а не символизацией каких-то закономерностей жизни. Но, случилось, он вспомнился мне при разборке своих фотографий разных лет. В памяти воскрес не первый резкий раскол тени, а его второй вариант - тихий. Даты различных снимков недалеко отстояли друг от друга, так что не было резкости

переходов. Память подходила к ним как бы малыми шажками.

А что такое портреты вообще?

Это ряд неизбежных расколов. Чем твои портреты дальше от тебя по времени, чем отдаленное друг от друга, тем расколы в тебе резче. В конце концов я постиг, что они - дробление человека, мельчание его сущности. Портреты тебе говорят: ты был таким-то, а в действительности ты уже давно не такой. Одно желание вернуться к чему-то, что было в тебе, - уже проявление твоей слабости. Только мы всего этого незамечаем, пока подспудно не станет явным столкновение.

Твои портреты - это печальный ряд междуусобиц, из которых ты никогда не выходишь победителем. Уже первый вздох при встрече со своим прошлым говорит о твоем поражении. Что бы там ни было, все против тебя: вспомнишь хорошее - затоскуешь, вспомнишь недобре - покроешься краской стыда. Даже если тебе не за что краснеть, все равно уже сам процесс узнавания себя сопряжен со многими сложностями, о чем меня и надоумил мой собственный портрет, написанный еще в молодости.

В ту пору, кажется - еще совсем недавною, я захаживал в областное отделение Новосибирского союза писателей, что ютилось тогда на углу Советской улицы и Октябрьского переулка. Там же, где-то по соседству, были художники и, представьте себе, гортоп - по тем временам учреждение солидное, занимавшее три-четыре комнаты. И вот, когда я, молодой и начинающий, приходил к писателям, мне встречались невесть кто - не то художники, не то гортоповцы.

После войны все ходили в том, что бог послал. На мне, например, были совершенно разбитые сапоги, потертое пальто, суженное в плечах, и косматая шапка рыжей собачины. Шапка покрывала все. Видевший себя в зеркало, я был спокоен за свой общий облик, пока у дверей писательского закутка не встретил высокую белокурую женщину с голубыми глазами. По тем временам она выглядела элегантно. Из-под горностаевой шапочки выбивались белокурые локоны и падали на пышный мех чернобурки. Ее голубые глаза взглянули на меня с любопытством. "Должно быть, взяточница из гортопа!" - подумал я и проскочил мимо. Вскоре "взяточница" обернулась художницей, искающей объект для воплощения своего нелегкого замысла. Выбор ее почему-то пал на меня.

- Я ищу новый тип интеллигента, - говорила она потом, когда нас

познакомили, - мне кажется, что...

- Что вы его нашли? - продолжил я.

- Представьте, да! - ответила она весело и, отклонив головку набочок, оценивающе осмотрела мое лицо.

Мне понравилась ее легкая, доверительная болтовня, сразу же снявшая все неловкости первого знакомства. "Если даже она ничего не умеет, - подумалось мне, - для нее это не грех". Сохраняя прежний тон, я развел руками, как бы распахиваясь и определяя этим жестом новое поле обозрения.

- Не дискредитирует ли все это новый тип интеллигента?

- Все это мы оставим сапожникам и портным!

Туманная фраза, возможно, намекала на сапожника, который в своих суждениях о картине решил подняться выше сапог, а может быть, ее фраза получилась сама собой. Тогда меня занимал другой вопрос - каким она представляет новый тип интеллигента, если выбрала для него меня, начинающего поэта из заводского мастера? Но задавать такой вопрос прямо, несмотря на легкость атмосферы нашего первого разговора, я все же не решился, а попробовал подойти к нему от противного:

- Чем же вам не нравится старый тип интеллигента?

- Совсем старый?

- Что значит "совсем"? - переспросил я. - Разве есть такая градация?

Если есть "совсем старый" - значит, есть "просто старый", а уже потом и "новый" ...

- А так оно и есть! - подтвердила она почему-то обрадованно.

Мы шли по направлению к художественным мастерским, где у нее была своя рабочая площадка, что само по себе уже говорило о ее настоящей принадлежности к цеху художников. Она не собиралась приступать к работе, ей только хотелось показать нужный дом, чтобы я потом не тратил времени в его поисках. Наш разговор, принявший философскую окраску, часто нас останавливал, особенно на тех местах, когда нужно было что-то сформулировать, что давалось ей с трудом.

- Совсем старый тип интеллигента - это... это потомственные, этс те, у которых и прадедушки и прабабушки уже были интеллигентами. Независимо от своих личных качеств они по наследству восприняли что принадлежат к особой категории людей - грамотных, воспитанных честных и прочее, не замечая, что эти качества в них уже ослаблены

Выделяются только претензии, скепсис, рефлекторность и подслеповатость. Они, как правило, все ходят в очках и поправляют их заученным жестом...

- Ничего себе картинка!..

- А что, вы не согласны?

- Вы слишком категоричны, - возразил я. - Тип Клима Самгина появился еще до революции. Согласен, он - типичное порождение русской интеллигенции, но ведь дореволюционной.

- Вы думаете, что у него нет сегодня своих наследников? - насмешливо спросила она. - В каждом из них сидит свой маленький Клим Самгин, только ослабленный временем и обстановкой. Возникнет подходящая обстановка, и он зацветет всеми цветами подлости, но никогда не признается в ней, а прикроет ее личиной долга или бдительности.

По всему было видно, что в ней говорит что-то личное, слишком пристрастное, говорит, конечно, не обо всей интеллигенции, но особенный нажим на одну отрицательную черту, порождаемую этой категорией людей, приводил как бы к всеобщности их греха. Возможно, художница нарочно заостряла свою программу в работе над образом интеллигента нового типа. В тот момент это меня интересовало куда больше, чем исторические изыскания в области русского интеллекта. "Работа покажет", - подумал я и, чтобы не обострять нашего первого разговора, решил внести свой примирительный аванс в разработку темы.

- Всякий открыватель и деятель, будь он потомком трижды старого типа или просто старого, всегда интеллигент в первом поколении.

- Это почему же?!

- Потому, видимо, что открытия делают не по привычке, а в отрешении от них. Открытие одинаково ново для всех.

- О-о! - весело воскликнула она. - Я не ошиблась в выборе! - и тут же перешла к теме, далекой от только что законченного разговора, - о весне, которую она хотела бы изобразить, но не может, о цветах, которые она могла бы нарисовать, но не хочет.

Из деликатности я не называю имени художницы. В этом не ее вина, а моя роль рассказчика, взявшегося описывать все, как было. И хотя она признала во мне интеллигента нового типа, все же сомневаюсь, что в то время вполне соответствовал этому высокому званию. Боюсь

неосторожным словом оскорбить ее память или обидеть близких родственников. Забегая в своих оценках ее несколько вперед, скажу, что она была милой женщиной, что позволит мне потом называть ее и милой художницей. Но - все по порядку.

Через день я пришел в ее мастерскую, а вернее - в закуток, отгороженный сухой штукатуркой на втором этаже краеведческого музея. В нем, этом закутке, не было никакого интеллектуального камуфляжа. Стоял какой-то перевернутый ящик вместо стола и два стула, на одном из которых я и должен был представлять "нового типа". Хозяйка мастерской встретила меня с радостным оживлением:

- Не обманули! Для начала уже хорошо.

Без верхней одежды она была еще привлекательней: высокая, почти вровень со мной, так что, когда здоровались - посмотрели в глаза. В солнечном проеме окна ее пышные волосы отливали золотым сиянием, а глаза - небом в окне, и волосы, и цвет глаз, и статная фигура скрадывали ее возраст. Во всяком случае, передо мной была уже не та женщина, что третьего дня так сурово судила старую русскую интеллигенцию. Притом она оказалась по-женски деловита, но без лишней хлопотливости, бесцеремонна - без оскорбительности. Мой пиджак она забраковала сразу - велела снять и повесить на спинку стула; потом подошла, одернула на плечах рубашку и поправила галстук.

- Ничего, к белой рубашке пойдет.

Я был не женат и подумал: "А наверно, хорошо, когда о тебе вот так хлопочут изо дня в день". Мысль забежала и выскочила, вытесненная другими. В свете прошлого разговора меня интересовал уже сам процесс конструирования моей особы как нового типа. Изображать меня стоящим - отдумала: были бы слишком на виду брюки, и милая художница пообещала пригасить мою послевоенную бедность. Поза сидящего тоже была найдена не сразу.

- Смотрите прямо. Так. Повыше!

Она отходила к окну, высвечиваясь, и снова подходила ко мне.

- Брови у вас темные - это хорошо. Будут контрастировать с выгоревшим чубом. - И она снова примерялась принять меня к стулу, а руки к ногам. - Правой рукой обопритесь о колено. Так, так. Решительней!.. А вот что будет делать левая рука?..

- Она будет курить!..

- Попробуйте!..

Таким я и увидел себя в первом карандашном наброске - отчаянно решительный и устремленный поверх всех барьеров. Правая рука жесткой кривулиной, наподобие клешни, опиралась ладонью о правое колено. Между прочим, о моих руках она сказала, что они у меня, как у самого старого интеллигента, но утешила тем, что для такой категории людей, к каким отношусь я, главное не руки, а голова. Все же пальцы рук выписала подробно.

- Это оболочка, а содержание дадут краски! - подвела итог своей работы над моим портретом с будущей любопытной судьбой.

В первые наши встречи художница работала увлеченно, не предъявляя мне никаких претензий, наоборот, старалась развлечь меня непритязательной болтовней о чем угодно - о весне, о любви, о живописи, о стихах. Собою моя собеседница, видимо, тоже была довольна. Об этом я судил по тому, как она замолкала, как накладывала невидимые мне мазки и, довольно улыбнувшись, возвращалась к прежней болтовне. Мысленно я ее тоже рисовал, но по-своему. С каждой встречей палитра моих красок обогащалась и образ ее становился для меня все интересней. Уж не знаю, что виной - художественные ли упражнения моей фантазии или что другое, только выражение моего лица стало меняться. Однажды она пожаловалась:

- Вот не думала, что вы такой!..

- Какой - такой?..

- Рефлекторный!..

- Я?! Рефлекторный?

- Именно! - засмеялась она. - Вчера было одно лицо и выражение глаз, а сегодня совсем другое!

- И что же мне с этим выражением делать?

- Выработайте какой-то общий знаменатель!

В качестве общего знаменателя ей пришло на ум выбрать для разговора поэзию, видимо полагая, что разговор о ней будет приводить меня к более устойчивому настроению. Может, так бы и оказалось, выбери она верный объект - ну, скажем, Пушкина или Лермонтова, способных вызвать во мне устойчивый энтузиазм. Тогда бы она и запечатлела меня на холсте, как ей надо. Но художница решила польстить мнением моих стихов...

А на висках
Две жилки бьются,
Две жилки бьются...
Любовь кричит,
Как поступить:
Переступить или вернуться?
Переступить или вернуться?
И решено - переступить!

Кажется, я слегка “переступил”, и это стало причиной того, что портрет остался недописанным.

В то время я не осознавал всех последствий нашего невольного интимного полусближения и не подозревал, как оно может отразиться на моем портрете. Она продолжала его писать, даже напускать на себя прежнюю легкость, будто между нами ничего особенного не случилось, но интеллигент нового типа на полотне явно перестал продвигаться к совершенству. Нет, все же появились новые оттенки складок на рубашке, на брюках, уточнился разлом и цвет выгоревшего чуба, но цвет лица и рук оставался недописанным. Казалось, работая над портретом, художница нетерпеливо ждала момента, когда можно было объявить “перекур”.

Между тем близилось время, когда я должен был уехать в Литературный институт, где с заочного отделения меня перевели на очное. Начались хлопоты по отъезду - оформление документов, подготовка к возможным экзаменам и разные другие мелочи. В мастерскую милой художницы я забегал все реже и реже. О законченном портрете нечего было и думать. Когда я пришел к ней в последний раз, прощаясь со мной, она с жаром пообещала:

- Не беспокойтесь, портрет я допишу по памяти...
- Не подведете?
- Нет, - засмущалась она. - Я все помню...

В Москве у меня появилось столько новых и неожиданных забот, что они надолго отодвинули в сторону все остальные. Переход из заводского цеха в соблазнительный цех поэзии оказался не пустой формальностью. Если в заводском цехе я был мастером, то в новом получил лишь звание студента. Компенсация предполагалась в будущем, а в то время я утешал себя декларацией, громко заявлявшей,

что я свое прежнее званье сумею стихами вернуть. К тому же моя декларация, судя по всему, была далекой от воплощения. Московская жизнь складывалась трудно, но об этом я никому не писал - хвастать было нечем, а жаловаться не хотелось. Словом, от интеллигента нового типа, придуманного художницей, во мне ничего не осталось. Вот таким растерявшимся я и приехал на летние каникулы в родной город.

Наша встреча была печальной.

В мастерской я увидел как бы совсем иную женщину - болезненно усталую, встретившую меня тихой улыбкой. Ее волосы, когда-то пышные, теперь приняли будничные границы, а глаза изменили цвету неба. Под стать нашему настроению потускнело и высокое музейное окно. На дворе было пасмурно, на душе - неуютно. Она первая вспомнила о портрете, словно спохватилась:

- Посмотрите, какой вы были молодой и озорной - и она вынесла из угла знакомый портрет, натянутый на подрамник.

Портрет мало чем изменился. Вторая часть ее характеристики продолжала оставаться за портретом. На меня, вернее чуть мимо, смотрел все тот же молодой человек, правда, с лицом, все же подправленным по цвету, и глазами, ставшими еще более пристальными. Перемен в руках я не нашел совсем, тогда как брюки немного подновились. Однажды портрет выставлялся, но, видимо, успеха автору не принес, иначе бы она не преминула сообщить мне об этом. В этой мысли я утвердился еще и потому, что она предложила мне взять его на память.

- Да куда же я с ним?! - удивился я. - Живу в общежитии...

- Не обязательно вывешивать, - настаивала она, - Я сверну его в рулон, и пусть до поры тихо лежит...

Тогда я не понял ее настойчивости.

Сначала рулон у меня хранился в углу общежития, за кроватью, потом я перенес его в кладовку сестры-хозяйки, где, забытый мною, он и лежал. Я вспомнил о нем, когда моей художницы не стало. Она умерла от болезни, исход которой ей, возможно, был уже известен или подозревался. С грустью я разыскал портрет, чтобы сохранить его как память. К тому времени у меня был в разгаре роман с моей будущей женой. К ней-то вскоре я и отнес не только портрет, но и все свое хозяйство - чемодан и папку со стихами. Студентка нашего же курса, она была обладательницей семиметровой комнаты, стены которой

могли принять только фотографии, так что заветный рулон пришлось снова упрятать - на этот раз в старой тахте среди сезонной одежды. Там, по крайней мере, его никто не трогал. Более четверти века он пролежал в таком положении. За это время наши жилищные дела улучшились, но так незначительно, что "интеллигент нового типа" не мог получить прописки для настенной жизни. Только в последний раз, когда мы перебирались в новую квартиру с относительно просторной комнатой, я вспомнил о портрете и извлек его из-под кровать-дивана, но к этому времени с него уже стали осыпаться краски. К счастью, им заинтересовался однажды бывший у меня Семен Иванович Шуртаков, мой друг еще с институтских времен. Обладая универсальными качествами писателя, в том числе и любопытством, он заметно стал отличаться еще двумя - любовью к поэзии и букинистическим книгам, в обоих случаях исповедуя одну истину: не все плохо, что старо. Пока я доставал рулон, на худощем лице моего друга было выражение активного нейтралитета, после которого можно легко переходить и к "да" и к "нет". По мере того как я его разворачивал, лицо Семена Ивановича начало определяться в положительном смысле.

- Отличный портрет! - объявил он. - Сразу все видно.
- Что видно?
- Характер есть.

Семен Иванович подробнейшим образом объяснил мне достоинства работы безвестной художницы. Ничего не зная о ее высоких замыслах, он между тем был очень близок к толкованию образа самой художницей. Была оправдана и рука, костылем упершаяся в колено.

- Портреты и картины становятся еще интереснее, когда знаешь, при каких обстоятельствах они написаны, - сказал он между прочим.

Не берусь передать прямой речью всего разговора, вернее, побаиваюсь. Зная о пристрастии Семена Ивановича к тонкостям стиля, опасаюсь исказить его речь какой-нибудь лишней запятой или восклицательным знаком. Словом, портрет ему понравился, и он посчитал преступлением не только перед памятью художницы, но и перед потомками держать его под диваном.

- Давай условимся, - продолжал он уже деловито, - ты его далеко не закладывай. У меня на лестничной площадке живет хороший реставратор. Я договорюсь с ним и сообщу тебе, как и что...

Месяца через два на стене нашей большой комнаты появился мои

многострадальный портрет в приличной раме. В семье сразу что-то прибавилось, и притом заметно. Семья - это не только люди, это сообщество родственных людей и вещей. Портрет же - больше чем вещь, особенно если он ваш; настолько больше, что становится молчаливым свидетелем вашей жизни, если хотите - ее ревнителем, а коли так, на него уже надо реагировать. Кроме того, для семейной гармонии нужно, чтобы он был принят всеми. На этот счет у моего портрета было все в порядке, но ревнитель из него получился слишком ревностный. Впрочем, об этом я еще расскажу.

Быть ревностным ему, кроме Семена Ивановича, помогли и другие мои друзья. Каждый в меру своей любви баловал молодого человека на сибирской холстине. Некоторые явно перебарщивали. Однажды у нас в гостях были поэты - ныне уже покойный Владимир Туркин и разумно здравствующий Михаил Годенко. В своих рассуждениях, сами того не подозревая, они еще больше заострили мою мысль о душевных раздорах между копиями человека и самим человеком. Надо сказать, Володя Туркин, ростом и фигурой с Маяковского, отличался прямотой суждений, но, боюсь, воздерживался от резкостей, чтобы не выглядеть подражателем своего великого тезки. В нем чаще всего проглядывала доброта большой, умной собаки, наблюдающей за игрой щенят. Он стоял с потеплевшим лицом почти вровень с верхней кромкой рамы.

- Какая прелесть! - сказал он. - Само откровение!
- В смысле?
- В смысле характера, а может быть, и честолюбивых замыслов!
- Какие там замыслы!
- Приглядеться, здесь в его лице все уже есть - и "Проданная Венера" и "Седьмое небо".
- И моя седина?
- Вася, не спорь! - вмешался Михаил Годенко, в проявлениях чувств более экспансивный и непререкаемый. Балтийский матрос в прошлом, он размахивал указательным пальцем, как пистолетом, приводя в исполнение свои же приговоры и чеканя почти что стихами: - Здесь про тебя все есть!

- Преимущество молодости - еще не резон! - возразил я, но Михаила Годенко поддержал Туркин.
- Нет, свидетельство молодости тоже что-то значит.

А что, если ты сегодня - всего лишь искушенный исполнитель

жизненной, ну, скажем, и творческой программы вот этого молодого человека? А мне, Васенька, не все равно, кто тебя запрограммировал и когда!..

- Во! - поднял палец Годенко. - Запрограммировал!

Заканчивали дискуссию уже за столом.

Здесь в нее вступила моя жена, до того хлопотавшая над обеспечением именно этой части нашего разговора. Когда он достаточно повеселел, она обратила внимание гостей на другую стену своей комнаты, где было вывешено все, что можно было повесить в причудливой мозаике, - чеканка моего начинающего племянника, приглянувшаяся чеканка из ларьков и магазинов, пейзажи с любительских выставок писателей, плоские русалки, вырезанные из дерева, красочный герб Севильи с рыцарским шлемом и мечами, привезенный из туристической поездки в Испанию. Сюда же была вмонтирована репродукция с портрета Блока, а ниже, на достаточно объективной дистанции, фотография с моего портрета работы Павла Судакова. На него-то больше всего и хотела обратить внимание друзей моя собирательница сокровищ.

- А по-моему, этот портрет лучше!

- Лара, это прекрасно! - воскликнул подобревший Годенко. - Не в том соль! Паша Судаков - художник замечательный, но не он встретил Васю неразгаданного. Постойте! Постойте!.. Дайте сформулировать...

- Ты, Миша, пока подумай над формулой, - сказал Туркин, - а я вот что скажу, ребята... У Судакова Вася уже солидный, можно сказать, важный, - видите, как руку с сигаретой поднял, нет, важный не игрой, а серьезностью и знанием цены...

- Так я же, Володя, о том и говорю, - снова вмешался Годенко в запальчивости, - у Паши Судакова Вася - результативно-банальный...

- Так, так, значит - банальный?

- Вася, не перебивай!.. Результативно-банальный, потому что тебя здесь можно измерить такими эпитетами, как известный, талантливый и прочее, а того трудно измерить... Сибиряк обещает москвичам больше, чем сделано.

- Значит ли это, что неизмеряемая величина в искусстве всегда кажется больше измеренной? - спросил я и невольно перевел разговор в иную плоскость, где мои портреты уже не играли никакой роли, при этом на память пришли строчки Есенина:

Люблю я поэтов. Забавный народ.

Да, люблю я застольные разговоры товарищей по перу, почти всегда скачущие, почти всегда озаренные гипотезами и догадками, почти всегда тут же забываемыми ради догадок и гипотез. Собственно, это не разговоры, а болтовня о всякой всячине, как думают они сами о таких разговорах, но если прислушаться со стороны, в их скачущей болтовне можно слышать что-то значительное, напоминающее отдельные наброски, вроде пушкинских на полях рукописи, или что-то вроде эскизов на замызганном картоне художника. После моего вопроса начали вспоминать художников и писателей минувших времен, где они измерены и где остались неизмеряемы, сравнили реалистов и романтиков, конечно, не обошли и Достоевского в постижимом "Подростке" и непостижимых "Братьях Карамазовых" с их космическими проекциями в нравственность. Не буду, однако, входить в подробности наших новых застольных изысканий, поскольку они к сибирскому портрету отношения не имеют. Михаил Годенко вернулся к нему, уже прощаясь со мной и Ларой. Еще решительней взмахивая своим указующим пистолетом, он говорил с железным нажимом и директивной расстановкой:

- Вася!.. Ты должен каждый день являться к этому своему молодому портрету и докладывать, что тобой сделано за двадцать четыре часа суток. Да и рамочку ему надо бы, Вася, дать получше...

- Будет выполнено!

- То-то!

Так шутливо мы закончили смотрины моего сибирского портрета, заново начавшего свою публичную жизнь. Какое-то время это меня занимало, и я действительно, заходя в большую комнату, останавливался перед портретом и говорил: "Ну, молодой человек, сегодня я поработал на славу" или: "А знаешь, друг, поэмка у меня что-то не выплясывается". Случалось так, что выплясывалась сама жизнь, и тогда я забывал о портрете, о молодом человеке, требовательно смотрящем из рамы. В один из таких периодов, когда я заснул тревожным сном неудачника, ко мне пришел этот молодой человек из портрета.

В литературе и кино с портретами уже бывали всякие фокусы. У одних портреты начинали смотреть осмысленным взглядом живого

человека, у других они вели разговоры, не выходя, однако, из рамки холста, мой же двинулся дальше - он вылез из рамы портрета в том виде, в каком я позировал художнице, пришел в мою комнату и присел на кровать. Кажется, он же и толкнул меня в бок со словами:

- Подвинься...

Спросонок я огрызнулся, еще не видя своего заполночного гостя, а когда увидел, почему-то нисколько не удивился, как будто людям из портретов можно свободно расхаживать там, где им захочется.

Он сидел еще более суровый и решительный, чем на портрете, глядевший теперь прямо на меня из-под темных строго очерченных бровей, отчего мне была отчетливо видна полоска на брюках, ниже которой уже не было краски, подновлявшей их вид. Скосив взгляд, я увидел старые ботинки, смазанные вазелином и зашнурованные надвязанным шнурком. Узелок подвязки оказался слишком на виду. "Неужели я так и приходил к ней? - подумал я почти в сердцах. - Что это он демонстрирует передо мной свое пролетарское происхождение? Никак что-то затеял!" И тревожное чувство ожидания охватило меня.

Оказывается, ожидание неизвестного во сне еще тягостнее, чем наяву. Нормальное мгновение жизни становится чудовищной вечностью сна. Ну что мне мог сказать человек из портрета? Но мнилось, что во сне он угрожает уже одним своим появлением. Во сне сумасшествие всегда где-то рядом. Может быть, сон - это одна из форм сумасшествия, когда человек блуждает по запретным дорогам нормальных, как лунатики по карнизам высоких крыш? Меня всегда занимала роковая грань, переступив через которую, люди лишаются возможности возврата к прежнему состоянию - к ясности взгляда и разума. Вполне оформившийся сумасшедший меня не интересует, поскольку он - уже по "ту сторону". Чтобы понять его, надо идти за ним, а это бесплодно, ибо "там" кончается аналитик - вместо одного сумасшедшего появляются уже два. Только и всего.

- Не дрожи! - сказал человек из портрета.

- Разве я дрожу?

- Почему ты перестал подходить ко мне?

- Зачем?.. Это не обязательно. Ты ведь всего лишь портрет.

- Думать о смерти и бессмертии всегда обязательно.

- Еще рано...

- Нет, Василий, пора - стареешь!

- С чего ты это взял?
- Из твоей заботы о портретиках...
- Какой заботы? Ты валялся в диванах не из-за моей молодости, а по моей молодой бедности.
- Мне-то все равно, а тебе, вижу, уходить не хочется, а еще больше осознавать, что ты уйдешь, а я останусь вместо тебя. Так что ты со мной в прятки не играй, не закрывай глаза на неизбежное...

На губах “портретного” человека появилась горьковатая усмешка, не замечавшаяся мной прежде. К тому же он затяг разговор, которого я в жизни старался избегать и часто от него отшучивался. Что ж, теперь с этим юнцом, жившим вдвое меньше меня, можно и поговорить начистоту.

- Слишком большая ясность в делах смерти равнозначна цинизму, - изрек я, уязвленный, хотя сам никогда не ощущал свою жизнь как нечто испокон данное. - Почти всю жизнь я подозревал - слышишь? - только подозревал случайность и временность своего земного существования. Вот почему я был терпелив. Я мог доводить свое терпение до крайности, до полного испытания судьбы!

- Да, но ты не был аскетом!

- Небыли не собирался им быть. У меня не было слишком большого греха для аскетического воздержания, как не было и пресыщения жизнью.

Мне показалось, что я ошеломил своего собеседника, но догадывался, что он явился ко мне не за тем, чтобы соглашаться с моей поздней мудростью. На мою резонерскую тираду он ответил своей:

- Для законодателя грех нарушения закона увеличивается вдвое.
- На что ты намекаешь?
- На то, почему я остался недописанным...
- Молчи, жена услышит!
- Ты тогда ее не знал.
- Все равно молчи! - понизил я голос. - У меня есть внуки, а им кажется, что я знал их бабушку с детства.

Лицо молодого человека смягчилось, он даже улыбнулся.

- Спасибо, хоть юмор остался.

Заметив перемену в его настроении, я решил вернуться к теме, которая, как мне показалось, озадачила моего собеседника. Мне требовалось, чтобы он отказался от навязчивой мысли о своей

недоделанности и моей вины в этом.

- Да, я был готов ко всем испытаниям, - заговорил я, - и не избегал их, зато всякий раз благодарил судьбу за те радости, которые она мне посыпала. Ты не все знаешь о себе, потому что художница не все знала обо мне. Она не знала, что в детстве я почти не верил в смерть, видел, что такая загадка есть, но не верил. Мне казалось, будь во мне живой одна-единственная клетка, она оживит все остальные, если те уснут. Такая вера облегчала мне жизнь в труднейшие минуты, заставляла мой разум смотреть на все трезво и смело. Кстати, теперь смотрю еще трезвея, но уже не так смело. Нет, не трушу, просто знаю, что одна живая клетка бессильна, когда отпульсируют остальные...

На лице портретного человека появилось высокомерное, презрительное выражение. Он отвернулся, как на портрете, и стал смотреть куда-то в сторону.

- Мне твоя исповедь не нужна!
- Но ведь ты хочешь остаться после меня?
- Не я хочу. Время захочет.
- Тогда не пойму, чего тебе надо?.. Тебя вытащили из хлама, подчистили и подновили - с портретами это можно! - Живи и здравствуй!

- Каков подвиг! - с притворным восторгом воскликнул он. - Посмотри, каким ты меня оставил после себя!.. Посмотри на мое лицо, посмотри на мои руки! - и сложил свои красные руки в позу, какая была на холсте. - Учи, что после тебя я уже целиком буду тобой. Тебе-то "там" будет все равно, а мне жить с руками, похожими на клешни вареного рака, с этими пятнами на лице. Если хочешь, у меня на этот счет своя эстетика. Недумаю, чтобы и тебе было все равно, каким тебя увидят потом...

- В смысле "потомки"?
- Потомки - понятие темное.
- Хочу, чтобы ты повинился передо мной.

Человек из портрета явно наглел. Так наглеют дети, ставшие независимыми, начинающие вспоминать, что их притесняли - в трудное время отдавали в сиротский дом, да и вернув к себе, обходили их потом родительской лаской. Самое обидное в том, что все это было правдой, хотя правдой несправедливой, правдой формальной. Сведение со мной счетов начинало меня обижать и сердить.

- Вини того, кто тебя изображал.
 - Она виновата перед своей кистью, а ты - и перед нею, и передо мной, еще перед законами творчества. Ты помешал ей изобразить меня.

- Странная претензия!

- А все-таки припомнни!

Вот так, подчиняясь его настойчивости, а точнее, назойливости, я стал припоминать забытое. Он предлагал мне уйти в новый сон и вернуться к той обстановке, какая была в мастерской. При этом сам он ушел в портрет, который писали, а меня посадил на колченогий стул. Этот вторичный сон-припоминание был вроде бы вольной цитатой из жизни, подкрашенной временем и фантасмагорией сна.

...День тогда выдался солнечный.

Из проема окна шел безудержный ливень света. Налагая мазки и проверяя их эффект, художница часто отходила к окну - ее пышные волосы начинали светиться, все ее лицо оказывалось в ореоле красоты и женственности. Вот я переменил позу, и она с лукавой улыбкой погрозила мне кистью (помните, как она упрекала меня, что оказался рефлекторным, а потом стала читать мне мои стихи).

Она что-то во мне высматривала, поводя головой, голубые глаза ее сужались, губы забормотали какое-то бессвязное заклятие. От этой ворожбы губ ее и глаз голова моя начинала кружиться, а художница, становясь все милее, отложила кисть и палитру.

- Перекур! - объявила она весело и вернулась к солнечному ливню.

Теперь она стояла спиной к свету, откинувшись и опершись о подоконник. Волосы ее снова засветились, а лицо заалело легким румянцем. От горящих волос вспыхнула и стала изгорать на ней легкая одежда, заменяясь дымчатой фикцией, за которой почти зримо виделось сильное тело в подробностях женских форм. Вся она оказалась открытой, откровенно высвеченной для моих глаз - с косо поставленной грудью и прелестью крупного живота, и читала она то мое стихотворение, о котором я говорил вначале:

Переступить или вернуться?

Переступить или вернуться?

И решено - переступить!

Догадка озарила мое сознание: "Да ведь она сама зовет меня к себе?"

С чувством любви и благодарности я подошел к ней и, наклоняясь к губам, поцеловал; при этом мое бедро встретилось с ее бедром. Она не изменила позы и не оторвала от меня своих губ. Странные вещи происходят во сне.

Глаза мои только что видели ее раздетой, а руки уже скользили по тонкому шелку платья. Видимо, я допустил какое-то неосторожное движение...

Ее тело, еще минуту назад чужое, стало понятливо отзываться на каждый мой сумасбродный жест. Когда моя ладонь опустилась по желобку спины, тело ее выломилось в повороте и вся она подалась ко мне с легкой готовностью...

Диво дивное происходит с человеком в минуту любви и близости с женщиной. Не знаю, хорошеет ли мужчина, но женщина становится удивительно красивой. Возможно, достаточно даже отраженной красоты, чтобы два человека стали сразу красивыми, при этом нет ничего восхитительней зримой страсти в момент ее возгорания, когда в слитности набирается головокружительная высота - до предела счастья.

Нет, нет, есть еще нечто гипнотическое.

Как ни странно, но это был момент, когда красота восторга исказилась обезображивающей гримасой. Губы, как обожженные, покривились в напряжении с промельком оскала волчицы. Светло-золотистая голова ее, как большой цветок на подломленном стебле, неожиданно упала мне на плечо...

Сон во сне оказался откровенней и подробней текста моей памяти. Переживая его, я не испытал первичности чувств, иначе бы совсем проснулся, но как актер, лишь повторяющий игру, вернулся к прежней мизансцене. Человек из портрета, как свидетель моего розыгрыша, тоже только что возвратился из рамы и по-прежнему сидел напротив меня насупившись.

“Наивный и непреклонный дурачок”, - подумал я с завистью, уже зная, что огорчу его принижением искусства и поэзии. Я только ждал от него вопроса, и он не замедлил с ним.

- Ну и как? - спросил он, очевидно, имея в виду ту мимолетную обезображивающую гримасу.

- Все равно это прекрасно!

- Соблазны и должны быть прекрасными, на то они и соблазны! Ты так и не понял своей вины?

- Почему моей, а не ее?

- Потому что, уступив тебе, она как бы перестала оставаться художницей. Ты виноват и перед нею, и перед мной, и перед искусством! Соблазняться предметом художества художникам так же противопоказано, как пьяным зачатие детей.

- О, куда ты пошел!.. А знаешь: искусство вторично. В тебе сейчас говорит начинающий, идущий в поэзию, а не человек, обретший в ней некоторый опыт. Вершина любви и поэзии находится не в самой поэзии, а в чем-то большем - в жизни. Ради торжества любви великий Есенин - надеюсь, ему ты как поэту веришь? - так вот, Есенин готов был поступиться поэзией:

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонкой касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

- Всего лишь метафора! - воскликнул он.
- За эту метафору поэт заплатил жизнью... Не стихами, не искусством, а наивысшей ценой - жизнью!

Все это я сказал резко, потому что назидательный тон человека из портрета начал меня раздражать. Мне казалось, что последними доводами наконец-то я поставил его на место. И впрямь, в первое мгновение он растерялся, даже поднял свою прорисованную руку к нижней губе и начал ее нервно выглаживать, потом резко поднялся, вроде бы с намерением уйти, и даже сделал шаг в направлении двери. Внутренне я уже торжествовал победу, когда он резко обернулся и сказал, как ударил:

- Если поэзия вторична, тогда в ней не будет подвижников!
Изворот его мысли показался мне значительным.
- Остановись! Это серьезно! Постой! - закричал я и потерял его.

Проснувшись, я еще долго пребывал во власти увиденного. В комнате стоял утренний полумрак, и вставать не хотелось. Сознание отяжеляла незаконченность сна и ночного сопреживания. Даже наяву последний довод человека из портрета представился мне серьезным. "Он, пожалуй, прав, - думалось мне, - но я-то прав без сомнения. А может быть, две правды просто-напросто должны существовать? Ведь как было в молодости? Помню, после завода я все свободное время

отдавал поэзии. Проходила неделя-другая, и я, взглянув на жалкие результаты труда, начинал себя спрашивать: "На что я трачу свою жизнь?.. Стоит ли все это моего затворничества?" Дав отрицательный ответ, я срывался с места и уходил в "жизнь". Проходила неделя - другая, и снова я повторял вопрос: "На что же я трачу свое дорогое время?.. Разве все, на что я потратил его, стоит одной строчки хороших стихов?" И снова, выходя из проходной завода, я отдавался стихам".

Не правда ли, смешная ситуация? Но как она потом отразилась на моем характере! Несмотря на то что я уже давно-давно вплотную занимаюсь поэзией, все же не вполне считаю себя профессиональным поэтом. Почти все это время я на кого-то и на что-то оглядывался, будто ждал, что кто-то мне скажет: "Ну, хватит баловаться, пора и дело делать". Но до сих пор, а мне уже много, никто меня не окликнул, никто не отзывал на другое дело. Значит ли это, что я работал вполсилы? Наверно, не значит. Просто это была какая-то особая форма самоконтроля.

"Все-таки не может истина остановиться на признании двух правд, - размышляя, - должно же быть что-то, что объединило бы две правды моей жизни?" Без ответа на этот вопрос мне даже не хотелось подниматься с постели и встречаться с юнцом, который все же одержал верх. "А-а, вот оно что! - подскочил я, - все дело в уровне творца. - Ход моих мыслей оказался прост. - Да, жизнь первична, но поэт призван заниматься не ее пустяками, а такими ее явлениями, чтобы жизнь и поэзия встали в один качественный ряд. Тогда жизнь и поэзия станут равнозначны. Для этого-то и должен родиться подвижник!"

Войдя потом в большую комнату и поприветствовав жену, я посмотрел на портрет. Ночной спорщик сидел в нем по-прежнему независимо и глядел мимо меня, делая вид, что не являлся в моей комнате. Заметив мой взгляд, обращенный к портрету, жена заторопилась сообщить:

- Тебе звонил краснодеревщик, это насчет рамы к портрету. Он еще будет звонить...

- Ничего, побудет и в этой, - ответил я, строго посмотрев на себя молодого. - Слишком уж он стал зазнаваться.

СНЫ С ТАРТЮФОМ

Амадея Гофмана надо читать в больнице, особенно на каких-нибудь исследованиях. На фоне его сказочной чертовщины все неудобства больничной жизни покажутся мелочью. В этом я убедился, попав в один из белохалатных корпусов на Открытом шоссе.

Случалось мне брать в руки томики гофманских фантасмагорий и раньше, но всякий раз, натолкнувшись в них на говорящих змеек, на кричащее семечко чертополоха, наконец, на философствующего кота, я их откладывал. Не мог мой разум переступить за грань даже расшатанного реализма, который, на мой взгляд, составляет основу каждого нормального слагателя стихов.

На этот раз пойти в библиотеку за Гофманом меня заставила не только сама больничная обстановка. Дело в том, что часть моих "Снов поэта" была уже напечатана и до того читатели начали искать моих "прозаических" родителей. В первую очередь, конечно, был назван Гофман. Мне оставалось только постыдно молчать, втайне подозревая, что к моей родословной он не имеет никакого отношения. Не мог же я, окончивший Литературный институт, признаться, что не читал этого автора, хотя он в программе и значился. Больше того, на государственных экзаменах по западной литературе я получил "пятерку". Так что, беря в больничной библиотеке Гофмана, я хотел одним выстрелом убить нескольких зайцев, перебежавших мне дорогу.

Еще до того, как я раскрыл книгу, вокруг нее стала создаваться ее своеобразная атмосфера. Недумаю, что она уже существовала сама по себе. Нет, просто-напросто моя память начала мобилизовывать все впечатления, близкие ей. Разумеется, она тут же вытянула на свет известные строчки Маяковского: "Какому небесному Гофману ты выдумалась, проклятая?" Вспомнился и наскоро записанный сон, который прежде с этим именем и не ассоциировался.

Вот эта запись:

"Сегодня видел во сне говорящего кота. Он появился в сумерках какого-то чердака, где я будто бы спал. А загнал меня на чердак давнишний страх. Чего боялся, мне было неведомо, но почему-то тревожил каждый шорох. Особенно настораживало чердачное отверстие с лестницей вниз. Скрипнет лестница - и я просыпаюсь, конечно же тоже во сне. В одну из таких тревожных минут передо

мной появился огромный кот с бледно светящимися глазами, похожими на два проема из чердачного сумрака. Он трижды обошел меня, завороженного, и трижды произнес тихо, но решительно четко: "Гляди в оба!.. Гляди в оба!.. Гляди в оба!.."

Мистический ужас сорвал меня с места и бросил на скрипучую лестницу. По ней я спустился в какую-то пустую комнату и стал нервно по ней ходить,

"Странно, говорящий кот? - подумал я, - А что странного? Есть же говорящие вороны и попугай, почему бы не быть и говорящему коту? - Эта мысль меня несколько успокоила. - А говорящий ли? Может быть, мне это почудилось?

Ведь кот похож на нашего Тартюфа, как же при его жизни я не заметил в нем такой способности? Надо бы дослушать и проверить. Он же о чем-то предупреждал.."

И вот я снова поднимаюсь на чердак. Но что такое? Чердачное отверстие уже кем-то прикрыто рувероидом и присыпано охапкой соломы. Сдвинув рувероид и солому, а поднялся на чердак, и тотчас в его сумрачном пространстве возникло нечто белое, надвигающееся на меня. Кровь прихлынула и отлила от моего сердца. Кто это?.. Что это?..

Хотя мое пробуждение и было тревожным, однако, мучился я недолго. По здравом размышлении сон показался мне слишком туманным, если не банальным. Что-то белое надвигалось на меня, а что - я так и не разглядел. В больнице это белое сразу же трансформировалось в белизну белых халатов, салфеток и простынь. Таким образом, сон утратил для меня всю свою загадочность. Ну а "гляди в оба", произнесенные котом, объяснялись теперь и того проще. Ясно же, человек, попавший в больницу, должен "глядеть в оба". Не удивил и человеческий голос кота, поскольку он принадлежал нашему Тартюфу, существу настолько разумному, что от него не только во сне, но и в жизни ждали, что он вот - вот заговорит. Словом, на этом можно было бы успокоиться, но...

Вскоре мне был второй сон с присутствием Тартюфа и его более решительными предостережениями, которые наводили на подозрение, что успокоился я преждевременно. Судя по сну, причину опасности надо было искать не в больничной ситуации, не в исследованиях врачей, проходивших более или менее благополучно, а в чем-то другом. На этот раз Тартюф явился мне в более детальных подробностях своей

предсмертной жизни и ее трагического опыта. Для полной ясности не могу не коснуться некоторых злоключений этого в высшей степени разумного, благородного и несчастного существа.

Вы знаете, конечно, что все котята рождаются слепыми. Мать едва успела своим нежным язычком выгладить его дымчатую в темных полосках шерстку, как грубая рука хозяйки бросила его в помойное ведро и отнесла к мусорному ящику. Еще слепой, он уже почувствовал грубость жизни. Потом он услышал, как над ним плакала добрая девчонка, дочка той хозяйки. Она стала приносить ему молоко, но длилось это недолго. И когда раскрылись его глаза на мир, он увидел себя в полном одиночестве. У мусорного ящика кормиться было нечем, люди еще помнили хлебные карточки войны... Но вкусные запахи все-таки существовали: они доносились из открытых форточек домов, и котенок повлек свое тщедушное тельце туда.

Выражаясь языком старой университетской латыни, в ту пору мы с женой были еще студиозусами Литературного института... Жили не очень красно, но и не голодали, один из нас даже повышенную стипендию получал. И вот, проходя однажды по своему двору в переулке Садовских, мы услышали обессилевший бедственный голос. Видимо, до встречи с нами котенок все-таки как-то существовал - он подрос. А шерстка его, закаленная холодом, была густой и красивой. Но хвост! И если позднее - при нашей усиленной кормежке - сумел подняться указующим перстом, то в тот вечер он сразу вызывал сострадание.

- Миленький ты мой! - разжалобилась жена, беря его на руки. - В чьи же двери ты так неосторожно совался? Бедняга, животишко совсем пустой. Все, Вася, все, мы его берем! У нас первый этаж - будет прыгать в форточку.

А Тартфом его назвали позднее. Мы уличили его в некотором лицемерии по отношению к нашему коммунальному соседу-рентгенологу. Днем он к нему ластился, выражал свою преданность, но стоило тому оставить жареные котлеты на кухне (в ту пору холодильники еще не входили в наш быт) - как утром их невозможно было обнаружить на сковородке никаким рентгеном... Он умудрялся даже сковородную покрышку водружать на место... Конечно, не совсем плотно, как было у соседа, но приблизительно... Однако добрый холостяк-сосед все прощал этому пройдохе. Самое интересное было в

том, что лично у нас он ровным счетом ничего не крал, хотя мы нередко нарочно испытывали его порядочность, оставляя на тарелке что-нибудь вкусненькое...

Коты растут гораздо быстрее, нежели дети. За гранью нашей семиметровой комнаты плакали по ночам ребятишки другого соседа, но мы спали безмятежно, Тартюф рос, ничем нам недосаждая. А сосед-рентгенолог в своей любви к нему дошел до того, что когда жарил котлеты на кухне, кот лежал на его плечах, ничем не выдавая своей вороватой натуры. Попутно сосед именно Тартюфом, его теплым животом и густой шерстью, лечил на своей шее "прострелы" от коммунальных сквозняков...

Знакомясь с "Житейскими воззрениями" кота Мурра, я с удивлением и даже гордостью заметил, что судьба способного мемуариста кое в чем удивительным образом пересеклась с судьбой нашего Тартюфа. Того тоже на самом раннем этапе спас от гибели некий маэстро Абрагам, но прозрение его, как он сам пишет, было более счастливым - не то что у Тартюфа, прозревшего на свалке. С этого и начинаются разительные контрасты их судеб. Если маэстро Абрагам поднял Мурра куда-то высоко-высоко, откуда потом Мурр выработал маршрут - прямо на крышу, а оттуда на чердак, то мы принесли своего Тартюфа в полуподвал. Такого рода контрасты вырабатывают мировоззрение: Мурр стал романтиком, Тартюф - правоверным реалистом.

Большое окно нашей маленькой комнатки своим основанием стояло на уровне земли, так что, глядя в него из комнаты, мы видели себя как бы по пояс в земле...

В простенке возле окна, на том же уровне, стоял стол, что облегчало для Тартюфа выработку его маршрута уже в раннем возрасте: стол - форточка - земля. Не менее удобным был и обратный маршрут: земля - форточка - стол, пол, диван - по желанию. На первых порах при возвращениях Тартюф оставлял на моих стихах свои отпечатки, однако, вскоре заметил, что я этим не восторгаюсь, и начал спрыгивать на пол и подоконник. Он уходил и приходил куда хотел и когда хотел; даже при закрытой форточке зацепится, бывало, за переплет рамы, левой лапой держится, а правой отталкивает створку - и будь здоров. Эта способность научила его потом слишком многому...

Ел Тартюф, можно сказать, с вилки - не то что другие коты. Подцепит, бывало, когтями правой лапы кусочек мяса и поднесет ко

рту. Точно так же выкушивал он разные каши, особенно рисовую, при этом никогда не пачкал своей белой салфетки на гордо выпяченной груди. Свидетелями тому стали многие известнейшие теперь поэты и прозайки - такие, как Владимир Солоухин, Расул Гамзатов, Ольга Кожухова, Семен Шуртаков, Михаил Годенко и другие, как пишут в критических статьях. Право, они диву давались и действительно ждали, когда он заговорит с ними о составной рифме.

Увы, не стал он ни поэтом-лириком, ни прозаиком-эссеистом, но если начистоту, в этом вины его не было. В отличие от гофманского кота-романтика, как я уже говорил, Тартюф был котом-реалистом. Видимо, трезвые наблюдения за жизнью и литературной карьерой хозяев привели его к горестной мысли, что лирика не кормит. Так оно и было. Стипендии не хватало, а гонорары, те баснословные гонорары гениев, о которых так много говорят в народе, были просто мифом о золотом руне.

Ах, деньги, деньги!
У коварных денег,
Как ни крути,
Почти что каждый пленник.

Да, он не писал своих “Житейских воззрений”, они, житейские воззрения, проявлялись в его поступках. Не отличался Тартюф и большой начитанностью, ибо обходился без цитат древних мудрецов, до которых охочи все пишущие...

Если думают, что реалисты лишены всякой фантазии, то жестоко ошибаются. Правда, их фантазия носит несколько прикладной характер, но от этого она не перестает быть все же фантазией. Так грустный вывод, что поэзия не кормит, наш кот-реалист адресовал к зрелому вопросу: а что же дальше? Сосед-рентгенолог уехал куда-то лечиться, детный сосед котлеты жарил редко, а если его жена их и жарила, то прожорливые ребятишки не допускали возможности оставлять что-либо съедобное в запас на завтрашний день...

И вот наш Тартюф - этот холеный кот в благородно-тигровой шкуре, с элегантной белой салфеткой, как бы повязанной на его шее, - приступил к освоению путей в другие дома и в другие кухни. К этим походам наш реалист был уже вполне подготовлен. Как рука

первобытного человека, его правая передняя лапа к своей прежней банальной функции слуги движения вперед обрела еще и новую функцию: она стала орудием труда. Он научился открывать крышки кастрюль. Это оказалось посложнее, нежели сковородка соседа-рентгенолога... Котлеты, скажем, - "сухопутный" продукт, а вот кусок мяса во щах... Но он его выхватывал, как рассказывали потом потерпевшие, молниеносно. И - сразу в кухонную форточку! В горячие кастрюли он, разумеется, не лез... Но, повторяю, холодильники тогда еще только-только начинали входить в наш быт. Где же и стоять кастрюлям с супами, как не на кухонном полу или оставаться на плите!

Прекрасные усы Тартюфа кроме эстетических достоинств имели еще и чисто утилитарное качество: они давали ему информацию о раскрытиях форточках - что там таится внутри кухни. И о температуре кастрюль - тоже!

Открыть высокую кастрюлю и закрыть ее? - это вряд ли... Но пострадавшие соседи, ходившие к нам потом жаловаться (особенно если нам на какое-то время приходилось уезжать из Москвы в командировку), утверждали, что крышки кастрюль на содержимом были, но вот мяса в этом содержимом не значилось!

Привирали, конечно! Но ведь пока кто-то не засек его за воровством, сколько драм разыгрывалось на коммунальных кухнях! Например, одна дама-интеллектуалка, выйдя утром на кухню, не обнаружила в своей кастрюле целую курицу. А в это время простоватая, очень уж пышнотелая соседка демонстративно выложила из своей кастрюли на тарелку крохотный кусочек мяса... Будто бы вот с таких-то кусочков она и раздобрела!

Так ей об этом и сказала. Ибо дамы - интеллектуалки считают своим неоспоримым достоинством говорить только что пришедшее им на ум как великую истину. Сразу говорить и безапелляционно!

Разразился шумный скандал. Дело могло дойти и до суда, но к счастью для Фемиды, свидетелей оскорблений (взаимных, увы, взаимных!) не оказалось. На что и обратила внимание милиция, вызванная не столь для примирения сторон, сколько для непременного протокола!

Восхликну без намерений придиры:
О наши коммунальные квартиры!

С этого дня подозрительные друг к другу женщины время от времени несли свои посты в ночной кухне. "Засекла" Тартюфа не подслеповатая интелликуалка, а та - пышнотелая... Заглянула за чем-то ночью на кухню и обомлела: медленно раскрывшаяся форточка при ярком лунном свете явила черную морду с белыми усами при фосфорическом свечении глаз Тартюфа... Пышногрудая побежала стучать в ту комнату, где спала сухопарая...

Но на этот раз Тартюф от них ускользнул... Зато все пострадавшие от его разбоя стали с тех пор являться к нам с требованием возместить ущерб. Наш студенческий бюджет затрещал по всем швам. Мы пытались было уверять, что не могло такого быть, но старушка, жившая в соседнем доме, сказала так:

- Я его, шельму, по его кривому хвосту за версту узнаю! - и назидательно заключила: - Не можете прокормить животное, так и не заводите!

Сначала мне эта бабкина философия понравилась. Но поздней, когда старушка ушла, мои мысли получили другое направление, можно сказать - глобальное... "Допустим, мы Тартюфа не заводили, как выразилась старушка. Но то, что он у нас появился, было благом для него и для нас. Потому что жизнь прекрасна. А если перенести бабкину теорию на все человечество? Ну, не на всё, а на родителей, у которых уже есть дети? Выходит, что по бедности родители отвергли бы мое появление? Достаток еще не гарантия счастливой жизни. Мировая статистика показывает, что самая высокая рождаемость у бедных народов, самая низкая у богатых". Эти первые зародыши своей оптимистической философии я развил потом в речи над убитым Тартюфом, когда погребал его на театральном пустыре...

В общем-то мы подозревали, что такой грустный исход его похождений возможен. В последнее время он все чаще появлялся домой потрепанный и взъерошенный. Случалось, что отлеживался в комнате под столом, зализывая там в темноте свои раны. За ним охотились уже всерьез...

Однако перед своей погибелью он прямо-таки удивил нас своей догадливостью.

А было это так. До стипендии оставалось несколько дней. Штудируя Еврипида и Софокла, мы с грустью поглядывали на последнюю "трешку", приготовленную для магазина... Чего на нее купишь?

- Занял бы у кого-нибудь, - подсказала жена.
Ей-то, с ее общительностью, сделать это было проще!
- А у кого я займу?
- Тебя знает Асеев...
- Знает. Но...
- Тебя знает Твардовский...
- Не те отношения...
- Тебя хвалил Сельвинский...
- Не те отношения...

Когда и второй круг поисков замкнулся и мы замолкли, Тартюф, разминаясь, выгнул спину и отправился по знакомому маршруту: стол - форточка - и весь мир. Мы снова вернулись к поэтам и драматургам прекрасной Эллады, на время забыв и своих отечественных знаменитостей, и своего голодного Тартюфа. Обычно, возвращаясь, на форточку он вспрыгивал шумно, к чему мы уже настолько привыкли, что не обращали на это никакого внимания. На этот раз он грузно вскинулся вверх, когда я читал стихи Алкея, посвященные его любимой поэтессе с острова Лесбос:

Сапфо, фиалко кудряя, чистая,
С улыбкой нежной,
Очень хотел бы
Сказать тебе кой-что тихонько,
Только не смею...

Не успели мы узнать, почему он не смеет сказать ей кой-что тихонько, как что-то шмотканулось на пол, а вслед за свертком, ошеломившим нас, пружинисто спрыгнул и наш добытчик. Вскинув свой указующий перст, Тартюф фигуристо поластился у наших ног, потом обратился к свертку - дескать, что же вы? Жена опасливо развернула загадочный сверток, и мы увидели большой круг отличной колбасы. Жена молча посмотрела на меня. Я молча посмотрел на жену, затем уже вместе уставились на Тартюфа.

- Милый Тартюф!..
- Но!..
- Никаких "но"! - отрезала жена, - Принеси нож!..
Первая крупная доля, вырезанная из круга спасения, была с должной

церемонией преподнесена кормильцу, после чего, отбросив нравственные сомнения, к еде приступили мы. Не бежать же было по переулку с криком: "Чья колбаса?"

Грех Тартюфа был налицо, но это был святой грех - грех, граничащий с подвигом.

- Не-ве-ро-ятно! - заключил я.
- Невероятно, но съедобно! - добавила жена.

Читая записки кота Мурра, я отдавал должное его тонкой наблюдательности, начитанности, наконец, трудолюбию, и все же образ преданного нам Тартюфа при этом не затмевался. Если начала их жизни в чем-то схожи, то уход из нее принципиально различен. Кот Мурр мирно почил, как мелкий буржуа, с болезненной благопристойностью, тогда как Тартюф погиб трагически, как жертва мещанской мести. Особенно трагично то, что смерть подстерегла его в день получения наших стипендий. Воодушевленные, с Тверского бульвара мы отправились прямо в "Елисеевский" магазин, где в то время еще можно было купить какой-нибудь деликатес, даже и нев в студенческом понятии. Помнится, мы несли домой огромного каспийского леща с кровью, а во дворе нас уже поджидали взъявленные соседские мальчишки.

- Тетя Лара, дядя Вася, Тартюфа убили!
- Кто? Вы?
- Нет! Мы не знаем кто!
- Где он?
- Мы его принесли...

Он лежал под входной аркой двора навзничь во всю свою длину. Задние ноги его были вытянуты, а передние подогнуты и подняты к голове, как будто он все еще продолжал защищаться от ударов по ней. Из-за лапок проглядывало его обезображенное лицо, странно - без усов. Пригнувшись, я убедился, что их действительно не было. Они были выстрижены: один ус под корень, другой наполовину. Когда - еще до смерти или уже после кто-то кощунственно глумился над ним? Я внимательно посмотрел в глаза мальчишкам, встретивших мой взгляд открыто и сочувственно, лишь один из них воровато потупился. Мне стало горько от мысли, что будущее человечества уже подмарано...

Вместо пиршества, которое мы собирались устроить для себя и Тартюфа, нам пришлось заняться его похоронами. Мы попросили мальчишек отыскать где-нибудь штыковую лопату и притащить на

пустырь. Но вместо штыковой мальчишки принесли мне детскую лопаточку из песочного ящика. Вероятно, в моем виде с детской лопаточкой было что-то нелепое, донкихотское, в то же время по контрасту нечто значительное, что вызывало в мальчишках недоумение и любопытство. Не обращая на них внимания, я тупой железкой ковырял жесткую городскую землю и, размышляя, в тихой печали складывал свою прощальную речь:

“Прости, Тартюф, и прощай!

Прости за то высокомерие, с каким люди относились к твоему древнейшему на Земле роду - достойному ровеснику рода человеческого. Люди позабыли, что у матери-природы мы равные дети, что над твоим совершенством она трудилась не менее долго и не менее охотно, чем над сомнительными достоинствами человека. Многие ли знают, что в работе над твоим совершенством природа-мать достигла несравненного - конструкция твоего тела совершенна, чувство равновесия превосходно, чутье изумительно. Уже десятки и десятки тысяч лет на кончики твоих усов пеленгуют все позывные мира, тогда как человек все еще не вышел за пределы жалкого подражательства.

Прости, Тартюф, наши людские нарушения того извечного союза, который перво-кот заключил с перво-человеком. Они условились тогда помогать друг другу в жизни, взаимно не посягать на нее ни в раннем детстве, ни в глубокой старости. Теперь же люди оберегают лишь своих детей, не считая за грех малышей твоего рода бросать на свалку. Да что говорить, этот варварский обычай ты испытали и сам. Эта жестокость оправдывается особыми обстоятельствами. Это делается всегда, когда человечество расписывается в своем бессилии.

Да, случалось, ты посещал чужие кухни и досматривал чужие кастрюли, но разве в этом виноват был ты, а не весь мир, который еще так несовершенен, так бездарно расточителен в своих потратах, что не может обеспечить благами жизни все живущее на земле? Разве не виновато все человечество в том, что так медленно подвигается на тернистом пути социального совершенства, что оно все еще далеко от того идеала, о котором мечтали - и мой праотец перво человек, и твой прародитель первокот. А ты был нетерпелив...

Попрошу прощения и за себя лично. Ты имел полное право носить свое собственное имя, как Буцефал - знаменитый конь Александра Македонского, как, на худой конец, кот Мурр сказочника Амадея

Гофмана, а я необдуманно назвал тебя тенью имени лицемерного героя. Прости, Тартюф, и прощай!"

Кстати, издатель записок кота Мурра хотел тоже произнести прощальную речь над его могилой, но, к моему позднему огорчению, почему-то не произнес. Произнеси он такую речь, можно было бы сравнить две эпохи, два образа. Вероятнее всего, кот Мурр - плод буйной фантазии давнего романтика, мой же Тартюф - обнаженный нерв жизни, и поныне возбуждающий во мне горькие размышления. Не случайно, читая Гофмана, я все время возвращался к судьбе Тартюфа. Гофманские истории роднились во мне не сами собой, а через эту трагическую судьбу. В "Крошке Цахес", к примеру, не было уже никакого кота в качестве главного героя, но тайна магической силы пучка волос на темени карлика Циннобера была разгадана мной через Тартюфа, снова пришедшего ко мне во сне и рассказавшего о трагической утрате своих усов...

На этот раз он пришел ко мне, по старой памяти, через форточку, но все же не ту, через которую приходил в переулке Садовских. До его прихода на душе было смутно. Не покидало чувство одиночества и заброшенности и вместе с тем ожидания чего-то неизъяснимого. Сердце щемило в предчувствии каких-то событий, от которых я давно пытался скрыться, и комната, в которой я находился, отвечала моим тайным желаниям. В ней только и было - стол, два стула и тюфяк, брошенный на пол. Сначала я даже не удивился, когда он бесшумно спрыгнул к моему тюфяку и, как в прежнем сне, начал делать знакомые круги. Вздыбив свой хвост, он снова трижды обошел меня и трижды проговорил свое прежнее заклятие, но в более коротком и более предостерегающем варианте:

- Берегись! Берегись! Берегись!

- Чего же мне бояться, Тартюф? - спросил я уже тревожно.

- Молчи и слушай! - ответил он строго и, изогнув хвост, поднял над собой указующий перст.

Оказывается, коты говорящие и коты мяукающие очень разнятся обликом. В природе существует некий закон соответствия, по которому всякое нарушение привычности компенсируется перестройкой живых форм с таким расчетом, чтобы ущерб был замечен как можно меньше. Мне случилось наблюдать за юношей, которому в драке свернули нос. В первое время лицо его представляло ужасное зрелище, но день за

днем его черты так сублимировались, что, хотя нос оставался по-прежнему кривым, лицо, однако, обрело общую гармонию. Над Тартюфом природа работала тоньше - у него сублимация шла применительно к речи, в смысле очеловечивания облика. Перемены происходили в нем как-то незаметно, я бы сказал, результативно. Отвернувшись за угощением, а у него уже - и жест, и осмысленная глубина взгляда.

- Ешь, Тартюф, ешь, - заискивал я.

- Молчи и слушай! - повторил он, не прикасаясь к еде.

В позе сидящего на стуле он уже не казался маленьким, а вполне соответствовал уровню стола, да и со мной вроде бы сидел на равных. Человек с надутыми щеками бывает похож на кота, а кот с впавшими брылами больше похож на человека. Подмечая эту метаморфозу, я заметил, что у Тартюфа, как и в час его погребения, не было усов.

- Как это случилось?.. - намекнул я.

- Из-за них я и погиб! - горестно воскликнул Тартюф. - За два дня до гибели мальчишки поймали меня, выстригли усы и отпустили. Два дня я сидел дома - помнишь? - а потом, когда колбаса была съедена, - Тартюф сделал паузу, - я решил пойти туда же, не подозревая, что без усов уже не чувствовал опасности... Меня накрыли старым одеялом, после чего я уже не увидел света... Берегись и ты!

- Да, но я же свои сбираю...

- Другое береги!

- Что, что беречь-то?..

- Тайна! - и к его уху поднялся указующий перст.

Я еще пытался выведать у Тартюфа тайну, когда почувствовал на своем плече руку медсестры.

- Больной! Поставьте градусник.

Весь день я провел тревожно, хотя температура у меня была нормальной, а подготовка к болезненному исследованию только начиналась. Да и понимал, что не это меня волнует, а что-то другое, дошедшее откуда-то со стороны. Несколько раз я принимался за Гофмана, но даже фантастическая история с карликом Циннобером, обладавшим магической тайной совершать вещи диковинные, не отвлекала меня от тягостных размышлений о жизни, о ее случайностях, о Тартюфе с его настойчивыми предостережениями. Вот на конец тайна отвратительного Циннобера, ставшего могущественным министром,

раскрыта влюбленным и униженным студентом Бальтазаром. Вся магическая сила карлика таилась в пучочке красных волосиков на его темени.

“Тут Фабиан и Пульхер хватают малыша, так что он не может ни двинуться, ни шелохнуться, а Бальтазар, уверенно и осторожно схватив красные волосики, единственным духом вырывает их, подбегает к камину и бросает в огонь. Волосы вспыхивают, раздается оглушительный удар. Все пробуждаются, словно ото сна. И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Циннобер, и бранится, ругается, и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга: “Откуда взялся этот крошечный кувыркунчик?”

“Как похоже! - подумал я. - Пусть усы Тартюфа не обладали слишком уж большой волшебной силой, но все же они наводили на цели и пеленговали опасности. Лишившись один усов, другой волосков на темени, Тартюф и Циннобер стали одинаково беспомощными. Но какая же у меня связь со всем этим? На что же намекал мне мой верный Тартюф? Уж не о моем ли длинном волоске над переносицей? Так вот оно что!..” И моя память озарила случаи, когда во мне проявлялось почти звериное чутье предвидеть и предчувствовать, рассказывать женщинам их жизнь в интимных подробностях, о существовании которых я тогда и не подозревал.

Первый такой случай произошел со мной в ранней юности, когда я жил еще в Марьевке и был комсоргом колхоза. К нам из города приехал инструктор райкома комсомола и пожил в нашей деревне всего несколько дней. Работал я тогда в бригаде пахарей и виделся с ним мало. Через месяц мне довелось быть в городе. Шел я темной ночью на квартиру сестры по едва видному дощатому тротуару, больше глядя себе под ноги, чем перед собой. В темноте ночи впереди меня примерно вдвадцати-тридцати шагах шел какой-то человек, который не виделся, а только слышался мне по стуку каблуков и скрипу досок. Сам не знаю почему, я окликнул его: “Володя!” Человек остановился и оказался действительно тем инструктором Володей.

Второй случай, удививший меня самого, произошел уже на заводе, когда я работал в цехе мастером. Мне было двадцать лет, и обо мне среди заводских женщин шла слава гадальщика. А гадал так. “Дайте-ка руку!” - начинал я. Если мне давали правую - “Нет, дайте левую!” -

говорил я многозначительно. Рука женщины служила мне лишь дополнительным материалом к прочитанному лицу. Мне нужно было уцепиться за малую малость, чтобы размотать ниточку судьбы. Видимо, кое-что мной угадывалось, потому что ко мне стали подходить женщины малознакомые. Однажды во время рабочего перерыва в ночную смену около моего столика появилась красивая стройная девушка с южным лицом и темными блестящими глазами. У нее были ослепительно-белые зубы.

- Говорят, вы гадаете... Погадайте мне.

- А не боитесь, что раскрою все ваши тайны?

Она пожала плечами - дескать, что тут поделаешь.

Когда ее рука оказалась в моей руке и я раскрыл ее ладонь, а потом посмотрел на лицо, меня охватило волнение - нет, не волнение юноши, прикоснувшегося к женской красоте, а холодное волнение транса, когда разум стоит на пороге какого-то открытия. Напрасно думают, что линии женской ладони ничего не говорят нашему уму. Мне было уже известно несколько душевных схем с их индивидуальными нарушениями, со следами пережитых катастроф, с тупиками движения и мучительными топтаниями житейской мысли. О многом может рассказать сама конструкция руки, как логическая часть всего организма. Важно разгадать что-то, пусть малозначительное, даже банальное.

- О-о, уже две любви, две катастрофы! - (В знак согласия она длинными ресницами притушила свои глаза.) - Странно, - продолжал я, - ваш вид обманчив, вы очень холодная...

- Нет, - возразила она, - я горячо любила.

- Не о том!.. Вы любите головой, а когда наступает близость... Как бы вам сказать... Вы не разделяете полного чувства... Понимаете, о чем я говорю?..

- Да, понимаю... - тихо ответила она.

- Вот от этого все неудачи... - сказал я сочувственно.

- А что мне делать? - с доверительной болью спросила девушка.

Всякое такое гадание, помнится, сопровождалось у меня большим напряжением, даже начатое шутливо. Не знаю, что было главным в этом процессе - ладонь ли, лицо ли, общая ли близость? Но только и на расстоянии мне удавалось угадывать горячие точки моей, казалось бы, беспричинной тревоги. Бывало, на душе тревожно, а почему - не знаешь. Тогда в поисках первопричины боли я мысленно отсыпался

по нескольким адресам: "Там? нет... там? нет... там? Там!" В большинстве случаев догадки мои потом подтверждались.

О чудо-волоске, что рос над моей переносицей, я узнал не сразу. Кто-то, приглядевшись, надоумил меня присматриваться к его особенностям и росту. Более темный и толстый, чем волосы бровей, он выходил из ниши лба и рос совершенно прямо. Его особое положение должно было соответствовать его особому назначению - быть антенной в моих посылах и приёмах отраженных сигналов. Но ведь для всякой такой станции, в том числе и телепатической, нужна энергия. Подозреваю, что для этого мало простой биологической энергии человека, иначе каждый человек мог бы обладать способностями Мессинга, но этого не бывает. Для этого нужна нервная энергия, котораядается большой ценой - распадом нервных клеток, которые потому-то и не восстанавливаются в минуты нервного напряжения. Происходит своеобразная бомбардировка нервной системы с ращеплением ядерных клеток, высвобождающих такую энергию, которую можно отнести к разряду высоких энергий.

Вы заметили, что пишу я о своем чудо-волоске в прошедшем времени? Да, я его утратил тогда, в больнице, и притом при странных обстоятельствах. О его возможной утрате мне и намекал Тартюф, приходя в мои сны. Но кто бы мог подумать, что это может случиться на лестничной площадке больницы, куда я, крадучись от медсестры, выбрался покурить.

В больнице всегда на душе тревожно, если даже ты собираешься только исследоваться, а мое исследование к тому же больше походило на операцию. Не хочу вдаваться в эти подробности, важно другое - то, что на моей душе было слишком тревожно. Дальнейшие события показали, что причина тревоги уходила далеко за пределы больничных палат и кабинетов, но на первых порах они забивали мои посылы и ответные сигналы на них. Еще более запутывало чтение Гофмана. Задача с одним-двумя неизвестными превращалась в задачу пяти-шести неизвестных.

В таком настроении я и стоял на лестничной площадке. По ней сновало много людей - одни с репликами о вреде курения, другие, более опытные и торопливые, без поучающих реплик. Один из очень торопившихся на выход вдруг остановился передо мной и заговорил, как знакомый, продолжая, однако, колебаться и двигаться на одном

месте:

- Ну, как? Ну, как? Ну, как?
- Да так себе!.. А у вас?
- Плохо! Плохо! Плохо!

Это был человек, неуловимый глазами и памятью, - нервный, извилистый, душевно клубящийся. Он стоял передо мной и раскачивался в позе кобры, вперяя в меня мглистый взгляд. И вдруг в мгновение ока его рука мотнулась к моей переносице, дернула мой чудо-волос и так же мгновенно спряталась за спину...

- Как вы смеете? - растерянно прошептал я, отшатнувшись.
- В человеке должно быть все прекрасно! - изрек он. И, не дав мне опомниться, все так же вихляясь, быстро спустился по лестнице.

У меня не было сил даже окликнуть его.

Но - странно: в палату я вернулся спокойным, точнее, растерянно-спокойным. Я просто не знал, как реагировать на такой курьезный случай. Рос между бровей волосок - и вот его уже нет... Вместе с его отсутствием исчезла и тревога. На исследование я ушел в трезвом сознании его неизбежности, и потом, когда лежал в палате и ждал результатов, мною опять владело ровное чувство. Когда жена приехала меня навестить, я постарался в смешном свете обрисовать случившееся со мною. Однако она не развеселилась.

- Чем ты расстроена?
- Не хотела тебе говорить...
- Говори.
- Звонили из Новосибирска, умерла Таня...

Таня была моей старшей сестрою и второй матерью. Сердце мое, отключенное от предчувствий, получило прямой удар и ощутило прямую боль.

После этой огромной утраты мои телепатические сеансы окончились, и, как мне кажется, - навсегда. Когда бреюсь, я по старой памяти взгля드ываю на то место, где рос мой чудо-волос. Однажды я даже встрепенулся, заметив новый, но тут же разочарованно отвернулся от зеркала. Новый заместитель оказался заметно меньше и тоньше утраченного, а главное, в отличие от бровей, - уже седой.





Статьи



В Срк. «Богему» и «Сюзанну»
указывают в ««»
Пускай же это
свобода:

Человека до конца
дела, бывшего отважного
человека?
До сих величественных
«Великолепных» фло-
реала. Так есть!

Аз же соединяюсь
до конца
ты не будешь до конца
бывшим
человеком, скончав-
шимся.

Несколько раз я просил вас
предъявить, предъявлять хотят
и «Богема» предъявляет

ЗАЛОГ ВЕЛИЧИЯ

Русская земля не могла не породить Пушкина. Он был нужен ей как утешение за все невзгоды и утраты, за все потрясения, которые обрушила на нее история - от Батыя до Наполеона. Он был нужен ей как праздник победы, как высший взлет народного самосознания..

Пушкин - одно из самых великих завоеваний русского народа. Блага этого завоевания, прибавляясь от поколения к поколению, ложатся на душу не только русского человека, но с благодарностью воспринимаются другими народами, ибо великие национальные поэты, как выражители народных чаяний, всегда интернациональны. Поэзия Пушкина с ее чувством свободы и независимости, с чувством достоинства и благородства легла в основу нашей нравственности. Его поэзия больше, чем стихи. Она начинает жить в нас еще до встречи со стихами, как в новорожденном до встречи солнца уже пульсирует солнечная энергия.

Он погиб в тридцать семь лет, успев поэтически исследовать все состояния человеческого духа: от великих надежд до великих разочарований, от беззаботной веселости до трагической мрачности, от пылкой страсти Ленского до бесстрастной мудрости летописца Пимена, от низкой зависти Сальери до творческих высот Моцарта. К тридцати семи у него уже не было возраста. Он был и юношей и старцем одновременно. У него нет возраста и сегодня. С ним юность нашего времени и седая поучительность веков.

Нынче прекрасный повод посмеяться над теми, кто пытался сбросить его с корабля современности. Где ныне эти сбрасыватели? На корабле современности их нет, это потому, что в отличие от Пушкина они не увидели цели поэзии: "человек и народ", "судьба человеческая, судьба народная". Сегодня без этой цели еще в большей степени немыслим настоящий поэт. Сегодня судьбы человеческие и судьбы народные во много раз зависимы от судеб мира.

"Что нужно драматическому писателю? - спрашивал Пушкин и отвечал: - философию, бесстрастие (в смысле объективности. - В. Ф.), государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. С в о б о д а".

Великий поэт перечислил все те качества, которыми обладал сам. К этому следует прибавить "смелость", которую находили в отдельных

строчках и словах многих поэтов. Он же об этом качестве сказал так: “Есть высшая смелость. Смелость изобретения, создания, где план обширный объемляется творческой мыслию - такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гете в “Фаусте”, Мольера в “Тартюфе”. Такова высшая смелость - смелость созидания самого Пушкина, давшего нам “Бориса Годунова”, “Медного всадника”, “Евгения Онегина”.

Если в эпических и драматических вещах Пушкина нас поражает грандиозность замыслов, смелость изобретения, то в лирике - неотразимое обаяние личности, душевно открытой во всем: в озорстве, в нежности, в непреклонности. И на всем - печать красоты. Это не красота, достигнутая мастерством, а самая глубинная суть его души. Мастерство Пушкина всегда лишь прислужница красоты.

К пушкинской красоте мы шли трудными путями через огонь революции, через жертвы, разруху и голод гражданской войны, через трудовые подвиги пятилеток, через испытания малых войн и Великой Отечественной. Мы шли к нему не отдельными избранныками судьбы, а всем народом.

Мы живем в тревожное время. Наше поколение еще не забыло трагедии второй мировой войны, а между тем на Западе и Востоке враги мира снова бряцают оружием. Все враги мира, делая шаг к войне, начинают с уничтожения творений великих поэтов. Так начинал Гитлер. До выстрелов на Даманском в Пекине на кострах “культурной инквизиции” горели тома Пушкина. Наши враги знают, что Пушкин делает нас сильней, непреклонней в защите добра и разума, человеческого достоинства, свободы. Он делает нас сильными тем, что учит нас любить родину, ее историю, ее славу. В одном из неоконченных своих стихотворений Пушкин писал, как бы предвидя наше поклонение его могиле:

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пишу -
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле бога самого.
Самостоянье человека,
Залог величия его.

НАШ ПУШКИН

175 лет со дня рождения великого русского поэта

О Пушкине-поэте надо говорить торжественно, о Пушкине-человеке - доверительно.

Нас всегда будет занимать чудо или тайна гения. Почему его слово, сказанное более чем полтора века назад, пройдя через многие поколения, пережив многие капризы вкусов и мод, наконец, устояв перед сменой общественных формаций, звучит и волнует так, будто сказано сегодня? Не следует ли из этого заключить, как пытались не раз, что слово гения - вне времени, вне поколений, вне конкретной судьбы и жизни?

Никакой другой гений не даст нам столько возможностей опровергнуть это ложное допущение, чем гений Пушкина, и никто другой более, чем он, не приоткроет нам тайну своего бессмертия.

Его поэзия - это свет, в котором живут все цвета солнечного спектра. Достаточно свету попасть на душу, как она, подобно призме, обнаруживает все цветовые переливы радуги.

Как личность в высшей степени универсальная и гармоническая, он обладал всеми качествами поэта, человека и гражданина, которые нам, строителям коммунистического общества, сегодня особенно дороги: это пытливый, творческий ум, свободолюбие, гуманизм, трудолюбие, высокое понятие чести, благородства, страсть и предельная искренность.

Невозможно единым взглядом охватить исполнинскую фигуру Пушкина, трудно в коротком слове войти во все обстоятельства его жизни и творчества. Остановлюсь лишь на некоторых гранях.

Как поэт и гражданин Пушкин формировался в годы высшего взлета народного самосознания, связанного с победой в Отечественной войне 1812-го года, с движением декабристов. С многими из них поэт находился в дружеских отношениях и вполне разделял их вольнолюбивые устремления. За три года до событий на Сенатской площади он записал: "Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян..."

Не менее решителен был он и в своих стихах. Воспевшему свободу, пишет он оду "Вольность", которая потрясает

нас своей политической заостренностью:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель,
Смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира,
Стыд природы,
Упрек ты богу на земле...

После оды “Вольность” в стихах Пушкина всегромче и настойчивей начинают звучать гражданские мотивы. Выражаясь языком нашей современности, он четко определяет место поэта в общенародном строю.

Есть резкая и важная черта, что отличает его от многих современных ему поэтов. Если Дельвиг и Баратынский были в поэзии частными людьми, то Пушкин - государственным человеком, не в смысле официальной государственности, не по унизительной службе камер-юнкера, а по собственному пониманию нужд русской земли, своего народа, долга поэта, по собственному установлению.

Пока свободою горим,
Пока сердца
Для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного
Счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластя
Напишут наши имена!

Нам сегодня особенно дорого это высокое понятие чести, поднятого

до беззаветного служения родине.

Пушкин стал великим потому, что своей духовной близостью к декабристам оказался на самой быстрине общественного движения - этого движения, которому в родословной нашей революции Владимир Ильич Ленин отведет первое место. Пушкину доводилось часто встречаться с Пестелем - одним из самых последовательных вождей декабризма. "Только революционная голова, подобная... Пестелю, - писал он, - может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке".

Здесь впервые русскому патриотизму дано революционно-деятельное направление. Здесь впервые судьба родины прозревается в социальных преобразованиях. Впервые революционер и поэт сближены и поставлены рядом. Это закономерное сближение станет потом счастливой особенностью русской поэзии. От революционных демократов и Некрасова она - идет к Октябрьской революции, таким ее певцам и зачинателям советской поэзии, как Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. Через них от Пушкина с нами сохранена временами ослабевавшая, но прямая и непосредственная связь.

Тайна бессмертия Пушкина кроется в его разносторонней образованности, в усвоении им огромных богатств человеческой культуры. В нем сочетались обширность познаний и редкостное чувство историзма. Историю - и русскую, и мировую, и древнюю, и, по тем временам, новую - он воспринимал не как остывший ряд героических и трагических событий, но как движение и развитие государственное и народное, а у движения и развития всегда есть проекция в будущее. Не только сюжеты давно минувшего, но все, о чем бы он ни писал, высвечивалось у него светом исторической перспективы.

Не потому ли так много сказанного им оказалось пророческим!

Из русской истории поэт знал, как зарождалось рабство, как утверждалось и ожесточалось крепостничество, как раздаривались и проигрывались деревни, целые волости, с их землями и живыми душами. И то, что другим казалось божественным предопределением, для него было результатом земной несправедливости.

Вот почему Пушкин был особенно внимателен к таким народным

движениям, как крестьянские войны Степана Разина и Емельяна Пугачева. В расцвете своего поэтического творчества, невзирая на бездорожье, он отправился в Оренбургские степи и собрал драгоценный для народа материал о Пугачевском восстании.

Народность - еще один гарант Пушкинского бессмертия.

До Пушкина, по существу, было три языка: старославянский, удержаный церковью, условно-поэтический, начиненный старославянским, и разговорный, представленный в литературе лишь жанром басни. Условно-поэтический язык сковывал развитие словесности, и не случайными были попытки выйти за его пределы.

В год, когда двенадцатилетний мальчик появился в Царскосельском лицее, Жуковский с большим вкусом составил и напечатал избранные стихи русских поэтов. В этих лучших образцах уже блестали многие элементы нового поэтического стиля. Однако нужен был поэт, который вобрал бы в себя все эти достижения, переплавил их в горниле собственной личности, начал строить нечто новое, оригинальное.

Таким поэтом стал Пушкин. В удивительно короткий срок - каких-то четыре года - он заканчивает школу ученичества, освобождается от последних следов архаики и приходит к естественной разговорной речи. Все, что не ложилось в громоздкие стилистические конструкции торжественных од и подражательных стихов прежних поэтов, теперь выходило из-под его пера свободно и раскованно.

В цепкой памяти Пушкина хранились и просились в стихи подлинные сокровища - народные песни и сказки. Напевая и наговаривая их своему Саше, Арина Родионовна, сама того не ведая, открыла ему дверь к народности, бывшей до того в литературе за семью печатями.

Постигнуть механизм сказки было все равно, что разгадать тайну ее долголетия. И тайнадалась Пушкину в работе над первой же крупной поэмой - "Руслан и Людмила".

Здесь русская поэтическая речь получила современное звучание, а стиль обрел законченную форму, которая и поныне служит образцом естественности.

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

После этой поэмы русский разговорный язык стал в литературе не просто послушным строительным материалом, но и могучим творческим двигателем.

На пути к поэтическим высотам - мастерству и народности - Пушкина сопровождал еще один учитель, о котором нельзя умолчать сегодня.

То был неведомый гений далекого двенадцатого века, создавший поэму "Слово о полку Игореве".

Эта удивительная поэма была открыта в пору, когда в нашей поэзии еще бытовали "Телемахиды", "Петриады" и "Россияды", которые после Пушкина нам уже трудно читать.

Поэма обнаружила искусственность многих поэтических созданий минувшего восемнадцатого века. С нею до нас дошла одна из многих народных трагедий Руси, истерзанной нашествиями кочевых племен, междуусобицами русских князей.

Добрым сердцем отозвался наш поэт на далекий плач Ярославны.

Решусь утверждать, что без этого шедевра древности мы не имели бы блестательных поэм Пушкина в их истинно народном значении.

Поэма "Руслан и Людмила" с ее сказочностью была лишь первым этапом в постижении народности.

Поздний опыт привел Пушкина к мысли, что народность - это более чем сказочность, более чем верность родному языку и родной истории. В понятие народности он вкладывает весь образ мыслей и чувствований, принадлежавших какому-нибудь народу. У великого поэта на всем будет печать народности, даже в случае, если сюжет будет взят в иноязычных хрониках. Размышляя на эту тему, Пушкин записал, что "Мудрено отъять у Шекспира его "Отелло", "Гамлета", "Меру за меру" и проч. достоинства большей народности".

Незадолго до этой записи Александр Сергеевич закончил своего "Бориса Годунова" - драму во всех отношениях и потому ревностно любимую самим Пушкиным. Ничего не боявшийся, он опасался ее неуспеха, потому что неудача с ней могла замедлить преобразование русской сцены.

В этой драме впервые на русскую сцену выходит народ - не только как действующее лицо, но и как окончательный судья трагическим событиям истории.

После того как Мосальский - один из убийц детей Годунова,

объявляет, что они отравили себя дома, и побуждает толпу кричать здравицу новому царю, Пушкин дает последнюю ремарку: "Народ безмолвствует".

Сказанное мною прежде во многом относится к историческим обстоятельствам, в которых развивался Пушкинский гений. Они, между прочим, существовали и для других современных ему поэтов. Но надо было быть Александром Пушкиным, чтобы воспользоваться всеми этими обстоятельствами, но надо было обладать каким-то особым восприятием мира, темпераментом, впечатительностью и душевной отзывчивостью, короче, всем тем, что составило "магический кристалл" Пушкинского гения.

Он умел взглянуть на мир с таким проникновением в него, что с мира слетала шелуха условности, привычности, казалось бы, незыблемости. До нас дошли непосредственные движения его сердца, как самородное золото, без посторонних примесей.

Не только поэт, драматург, прозаик, но и глубокий критик, Пушкин внимательно следил как за русской литературой, так и за литературой Запада, отмечая особенности каждой.

Его оценки лучших стихов того времени поныне удивляют нас своей точностью. На критику же собственных стихов он отвечал лишь тогда, когда полемика могла иметь принципиальное значение.

Сегодня мы поражаемся, узнав, что в последние годы критика не жаловала поэта, что Седьмая глава "Евгения Онегина" не имела успеха. Его упрекали в том, что век и Россия идут вперед, а стихотворец будто бы остается на прежнем месте. Возражая на это, Пушкин всегда стремился "стать с веком наравне", высказывая острую мысль: "Век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, - но поэзия остается на одном месте. Цель ее одна, средства те же. И между тем, как понятие, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философий состарились и каждый день заменяются другими - произведения истинных поэтов остаются свежими и вечно юны".

С тех пор, как была высказана эта мысль, в науках действительно много состарилось, но произведения истинного поэта остались свежими, юными, потому что целью его поэзии был человек, а средством - живое слово.

Критика не могла угнаться за ним. На первых порах она не могла не заметить новизны “Руслана и Людмилы” и ждала, что поэт будет создавать в таком же роде, А он, отдав дань романтизму, пошел к русской реальности - “Евгению Онегину”, “Борису Годунову”, “Дубровскому”, “Повестям Белкина”.

Не видя, с чем сравнить эти произведения в русской литературе, критика по привычке стала отыскивать подобие в поэзии западной - у Байрона, например. Благо, что был тому формальный повод. Но “Евгений Онегин” как русское явление не мог отвечать нормам “Чайльд Гарольда”, и тогда “Онегина” стали объявлять некой тенью байроновского скитальца.

В начале своей критической деятельности даже Белинский поддался на этот искусств, но потом, уже после смерти поэта, когда критик отошел от своих гегельянских абстракций и стал измерять поэзию мерой жизненного опыта, мерой русской действительности, он увидел в Пушкине воистину народного, воистину великого поэта.

Настоящий литературный герой - всегда плоть от плоти своего века. Недаром Белинский назвал роман “Евгений Онегин” энциклопедией русской жизни. Его главный герой несет на себе все черты того времени, в том числе и самую главную: в нем заложена энергия поиска решений социальных вопросов, тех самых, которые пытались решить декабристы: ликвидировать рабство, духовно раскрепостить личность. Не случайно Евгений, приехав в деревню, начал заниматься социальной самостоятельностью:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил,
И раб судьбу благословил.

Евгений Онегин - родоначальник многих литературных героев, порожденных в поздние времена, не говоря уже о самом ему близком - Печорине. С годами этот образ развивался и трансформировался, менял свое социальное положение, расширял и углублял свою политическую программу независимости от того, на каком этапе его заставало русское освободительное движение. Уже у Некрасова в поэме “Кому на Руси жить хорошо” появляется герой, вышедший из народа - Григорий Добросклонов,

Ему судьба готовила путь славный,
Имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

Пушкин стоял у многих истоков нашей общественной и духовной жизни. Все, к чему он прикасался, носило печать долговечности. Пушкин, как явление русской культуры, стал жить как бы в двух измерениях - в толковании критики и творчестве его продолжателей.

Ни в одном из этих направлений не обходилось без разноречивых толкований, споров и борьбы. В шестидесятых годах минувшего века Писарев, например, начисто отрицал достоинство романа "Евгений Онегин", не видя в нем здравой, прикладной пользы.

Даже великие последователи поэта, истолковывая Пушкина, нередко вольно или невольно выдавали за его воззрение свою собственную философию. Так случилось с Достоевским, который приписал Пушкину идею христианского смирения: "Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость".

Другие сознательно суживали социальное значение многих стихов Пушкина... Это были сторонники так называемого "чистого искусства". Они отыскивали у поэта строчки, вроде: "Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!" - и, пренебрегая подлинным их смыслом и причинами их написания, строили свои воздушные замки. В отличие от Пушкина эти поэты не видели высшей цели поэзии: "Судьба человеческая, судьба народная".

К счастью, на пути к нам у Пушкина было куда больше защитников. Его любила и знала передовая мыслящая Россия, его любил Владимир Ильич Ленин. И в Сибирской ссылке, и позже, в Кремле, книги великого поэта были всегда в числе настольных книг вождя революции.

К Пушкину вполне приложимы слова Ленина, сказанные в 1910 году в связи со смертью Льва Толстого: "Толстой - художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, катаржный труд и нищету, нужен социалистический переворот".

Наша партия шла к революции с двуединой задачей социального и

духовного раскрепощения народа.

Не мог быть духовно свободен человек, не умевший читать Пушкина и Толстого, не владевший даже затачками общей культуры.

Народ сел за букварь и книги, но тут появились буйные головы, решившие сбросить всех классиков с парохода современности и построить некую пролетарскую культуру.

Ильичу приходилось не раз отрезвлять этих путников.

Обращаясь к делегатам Третьего съезда комсомола, он сказал:

“Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогашишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество”. Ленин говорил это молодым людям двадцатого года, многие из которых или вовсе не знали Пушкина, или стеснялись признаться, что знают его стихи, особенно те, нежные, которые про любовь.

Если в эпических и драматических вещах Пушкина нас поражает грандиозность замысла, смелость изобретения, то в лирике - неотразимое обаяние личности, душевно открытой во всем: в озорстве, в суровости и непреклонности, в нежности и любви, особенно в любви.

Кажется, что он не писал о любви, а сама любовь говорила его стихами.

В мире было много поэтов, воспевших это великое чувство, но мало кому удавалось с такой непогрешимостью передать музыку любви. Среди многих были такие великие, как Байрон и Гейне, но мы не найдем у них пушкинской самозабвенности и благодарности любви.

Мрачный гений Байрон относил любовь к разряду болезней: “Любовь-болезнь, горьки ее кошмары”, - писал он. Иронический Гейне прятал свое настояще чувство за масками иронии и насмешливости, тогда как Пушкин был открытой природы. Он любил по-земному, слова его были земными, и все-таки в них было много от извечного стремления человека к высоте.

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Может быть, в силу особенности Пушкинского гения, ему, как никому другому, посчастливилось высветить нравственную основу любви, если хотите - ее философию. В истинной любви человек

проявляет свою истинную природу, в ней проявляется высшее самосознание человека, не позволяющее никакого притворства, в ней человек осознает неповторимость своей личности и свое предназначение на земле.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко;
Печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой...
Унынья моего ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит - оттого,
Что не любить оно не может.

У Пушкина широкое поле контрастов. То мы видим Марину Мнишек - холодную и расчетливую авантюристку, то открываем новую книгу и встречаемся с Татьяной Лариной, - душой открытой и доверчивой, простой и благородной, всегда женственной, всегда верной своему женскому достоинству.

Во все времена о Тане, пожалуй, было сказано намного больше, чем о предмете ее любви. Значение этого обаятельного образа, беспредельно любимого самим Пушкиным, трудно переоценить и для нашего времени. Она настолько живая, настолько реальная, что иногда кажется, ее можно встретить в нашей жизни. Невольно приходишь к допущению - если бы Таню в ее ранней поре свести с нашими современницами, закончившими среднюю школу, то через час-другой они бы уже поверили друг другу свои сердечные тайны.

И еще одна грань. Все исследователи - и прошлые и настоящие - сходятся на том, что Пушкину с одинаковой свободой давались сюжеты и характеры как русские, так и чужеземные. Это его качество можно отнести на счет общей образованности, обширного знания мировой литературы, наконец артистичности натуры, способной перевоплощаться, но более всего, как ни парадоксально, оно родилось от глубокого знания русской природы, национального русского характера и русского языка.

Человек, не знающий своего народа, никогда не поймет соседнего;

человек, не знающий себя, никогда не постигнет другого.

Потому-то Пушкин так искусно превращает псевдонародные “Песни западных славян” Мериме в истинно славянские. Его “Каменный гость” исполнен в испанском духе. “Скупой рыцарь” - весть рыцарская, хотя рыцарство - явление чисто западное.

Воспитанный на русской истории, гуманист Пушкин никогда не болел болезнью национальной ограниченности. В понятие Русь он вкладывал, по существу, уже наше современное содержание многонациональности и многоязычия. “Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык”, - читаем мы в его “Памятнике”.

Пушкин пристально и мудро наблюдал, как развивались и углублялись связи между народами, как все бессмысленней становились раздоры и войны. В неоконченной поэме “Тазит” юноша, воспитанный в чужом горном ауле, познавший другой народ, уже не может исполнить закон кровной мести.

Пушкину была душевно близка и понятна идея братства народов. И потому так современно звучат его стихи “О временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся”.

Сегодня высокие идеи гуманизма стали глобальными, они требуют фактического осуществления. В голосе советского народа, призывающего к миру и дружбе, звучит и голос нашего великого поэта. И в этом его непреходящее мировое значение,

Кто ищет дружбы - тот находит ее. В мире у Пушкина много друзей, понимающих его великую роль, но у него есть и враги. Враги Пушкина - это враги мира, враги добра и красоты.

Те, кто швыряет книги Пушкина и других гуманистов в костры современной инквизиции, знают, что Пушкин делает нас сильнее, непреклоннее в защите добра и разума, человеческого достоинства и свободы. Он делает нас сильными тем, что учит любить Родину, ее историю, ее славу, тем, что этой же любовью учит нас любить все человечество.

Давайте в свете сказанного прочтем и такое пророчество Пушкина: “России определено было высокое предназначение”.

Кочуя по трудам ученых, по книгам литераторов, эти пушкинские слова в последующие десятилетия приобретали порой мистическое мессианское звучание. К светлому гению Пушкина это не имеет

никакого отношения. Высокое предназначение России он видел, чувствовал, прозревал в ее не разбуженных тогда социальных творческих силах, в способности ее народа разбить тяжкие оковы самовластия и угнетения, сказать в истории свое неповторимое и весомое слово.

Не все пророчества сбываются. История вносит свои поправки. Но пророчество Пушкина сбылось.

Мы по праву гордимся Россией, совершившей социалистическую революцию, ее народом, который идею братства народов перенес в область реальной коммунистической практики.

Но мы уже давным-давно знаем, что блага всесветского мира обретаются не на путях христианского смирения. Мы не вымаливаем мира, мы боремся за него своими делами и убежденным словом ленинцев.

Пушкин - величайшая духовная ценность нашего народа. Эта ценность нетленна для всех, кто любит поэзию, а поэзия не знает границ. Иначе и не может быть, потому что поэзия всего мира родилась из человеческого желания соединить в себе разрозненные вещи, явления природы, отдаленные понятия, незнакомых прежде людей, племена и народы.

Поэзия Пушкина с ее чувством свободы, достоинства и благородства - больше, чем стихи. Пушкин начинает жить в каждом из нас еще до встречи с его стихами, как в новорожденном еще до встречи с солнцем уже пульсирует солнечная энергия.

В последнее время мы замечаем особенную тягу нашей молодежи к Пушкину, потому что переживаем особенный этап в нашем общественном развитии. Под руководством ленинской партии из года в год умножаются материальные и духовные возможности для формирования нового, гармонически развитого человека. А титаническая задача построения коммунистического общества еще больше обостряет потребность в нем, в новом человеке. "Великое дело - строительство коммунизма нельзя двигать вперед без всестороннего развития самого человека. Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей коммунизм невозможен, как невозможен и без соответствующей материально - технической базы" - так сказано в отчетном политическом докладе на XXIV съезде партии. Это имеет прямое отношение к духовной культуре

народа, а значит, и к Пушкину.

У Пушкина на всем печать красоты. К пушкинской красоте мы шли трудными путями - через огонь революции, через жертвы, разруху и голод гражданской войны, через трудовые подвиги пятилеток, через испытания войны Отечественной. Мы шли к нему не отдельными избранныками судьбы, а всем народом.

Мы пришли к нему и сказали:

- Наш Пушкин.

1974

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА

О хороших поэтах говорят: "Поэт божьей милостью". Этим хотят подчеркнуть нечто, что дано ему природой. Но, как мне думается, генетически природа поэта не программирует. В лучшем случае она дает предрасположение к таланту, закладывает качественные предпосылки, которые при благоприятных условиях могут развиваться. Под качественными предпосылками надо понимать способность организма к повышенной аккумуляции творческой энергии. Эти предпосылки совсем не отмечены знаком поэзии. Скорее всего они универсальны. В лучшем случае, подобно тому, как ребенок получает определенную группу крови, его энергия может получить предрасположение или к точным наукам, или к гуманитарным. Формула программы еще слишком обща. Все зависит от того, на что обратится творческая энергия. У всех детей энергия творческая. Они начинают творить себя.

Поэта программирует общество, для начала персонифицированное няней Ариной Родионовной с ее сказками, дядюшкой Василием Львовичем с его стихами и успехом, талантливыми друзьями дядюшки. Поэтические впечатления отлагаются не только в сознании. В таком случае рождается любитель поэзии и графоман. Рождение подлинного поэта совершается куда сложнее, биологичнее, с безусловным участием генов, но не в роли изначальных носителей таланта, а поздних активных восприемников поэтических впечатлений. Происходит своеобразная прививка, то самое "помазание", названное Божьим.

Теперь один из действующих генов, возможно тот, что программирует талант, отмечен знаком поэзии, после чего развитие

личности пойдет под этим знаком, даже если сама личность до поры до времени этого не осознает. Потребность в поэзии станет такой же необходимой, как потребность растущего организма в строительном материале. Так, дети, не осознавая этой потребности, едят, например, известку со стен оштукатуренной комнаты,

Вероятно, многое зависит от силы впечатлений, отмечающих гены таланта, и от возраста, когда это происходит. Чем сильнее поэтические впечатления и чем раньше они рождаются, тем надежнее и вернее. В написании стихов участвует весь организм поэта. Значит, очень важно, чтобы чувство поэзии вошло в организм в пору его формирования.

Рождение поэта - тайна. Сказанное мной выше - лишь догадки, основанные на личных наблюдениях. Генетический момент, описанный мной, еще не гарантирует рождение поэта. Оно будет зависеть от многих общественных и личных причин.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Непосвященные могут думать, что поэты, вдохновившиеся чем-то, так и рвутся к письменному столу. И такое бывает, но это чаще всего от чувства безответственности. Даже активно пишущего, страстного в писании, лучше всего сравнить с юношей в пору его первой влюбленности. Чем сильнее любовь, тем он дальше ходит вокруг да около предмета своего обожания. Тут и повышенное чувство преклонения, и страх быть отвергнутым.

Говорят, когда Микеланджело сговорили расписать Сикстинскую капеллу, он вошел в нее, взглянул на высокий чистый купол и в страхе убежал из нее. Долго бродил в окрестностях Рима, вернулся и приказал сооружать леса. Он медленно поднимался по ним, не глядя вверх, а взглянув, снова спустился и ушел бродить за город. В третий раз он поднялся быстро и начал работать, да так, что после этой работы его шея перестала поворачиваться...

Творчество - это избыток душевной энергии. Где-то в сознании засветится какая-то лампочка, засветится и погаснет. Снова засветится, помигает и снова погаснет. Сердце еще не подключается. Но вот засветилась и не погасла, а стала разгораться все ярче и ярче. И к этому свету вдруг подключился весь организм...

При этом есть много психологических нюансов. У каждого - они

свои. Работая над одной вещью, я, например, должен думать о другой - не работать, а только думать и фантазировать. При этом вещь, о которой думаю, тематически может быть далека, даже из другой области. Так, строки "Бетховена" освещались видениями из поэмы "Седьмое небо". Это своеобразная прививка дополнительной эмоции к тому, что рождается в данный момент. Кроме того, фантазируемая вещь - служит как бы эмоциональным экраном, на котором отчетливей проявляется создаваемая строка.

Эмоция фантазии всегда сильней и ярче той, что уже отложилась в строке, то есть получила словесную меру. Поэтому фантазируемая вещь служит эмоциональным эталоном для создаваемых стихов. Они не должны казаться бледными и вялыми на красочном и энергичном фоне фантазии. Разумеется, работа не выглядит так: складываю строку, а сам думаю о новой поэме. Мне важно ее предчувствие, которое во мне уже есть.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ СТИХА

Сущность всякого познания - это в конечном счете познание законов энергии. Пoэзия, как одна из ее форм, не является исключением. Разница лишь в том, что энергию стиха нельзя измерить прибором, а чувства и разум людей слишком различны. По существу, что такое стихи? Это один из способов передачи духовной энергии от одного человека к другому. Сначала она познается поэтом, а через него и другими. Исходный материал - слово.

Слова в стихе - энергетическая цепь. Слова должны быть составлены так, чтобы они контактировали друг с другом и в общей цепи сохраняли ту энергию, которую в силу самого контакта извлек из них поэт. Каждое слово само по себе уже таит дремлющую духовную силу. Если между словами нет связи, то их энергия, сколько бы поэт не отдавал им своей, так и останется дремлющей. При хорошей связи, как в электросети, она приобретет движение, а значит, и жизнь. Для первого толчка всегда нужно больше усилий. "На холмах Грузии..." Фраза еще не смеет оторваться от души поэта, в ней еще мало энергии, чувствуется усилие самого Пушкина, который точно отталкивает ее от себя. "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." Вы уже чувствуете какое-то равновесие. Стока по малости энергии еще не оторвалась от души,

но уже и не тяготеет к ней,

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.

Все! Стихи начали жить самостоятельной жизнью. Они уже жаждут полета, но не взмывают вверх, а, как птенцы при первом вылете, планируют вниз, чтобы в следующей строке заиграть в избытке силы.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

Тут мало говорить просто о контактах в цепи слов. Чем достигается избыток сил? Полярностью этих контактов: "Мне грустно и легко; печаль моя светла". Между соседствующими словами в силу полярности их значения возникает магнитное поле. Убери между ними "и", "моя" - магнитное поле пропадет. Понятно, что просто убрать эти связи нельзя, иначе нарушится ритм, но попробуем дать новый вариант, например: ""Мне грустно, мне легко..." Какая малость, а прежней энергии уже нет, поскольку перечислительность убила магнитическую полярность.

В стихах малоопытных поэтов можно часто заметить отсутствие магнитного поля. А порой видишь его ослабленность за счет слишком большого удаления одного образа от другого, метафоры от метафоры. Они перестают взаимодействовать. Энергия стиха безвольно растекается. Пространство между образами как бы забито изоляционным материалом. Вот почему важно, чтобы в стихотворении не было ничего лишнего, ничего инертного, ничего враждебного его органической природе. Не то словечко - и размыкание цепи. Лично для меня каждое слово, особенно новое, чтобы стать в строй стихов, должно как бы оплавиться в душе.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Стихи рождаются и развиваются по законам природы, подобно тому как из дремлющей почки рождается и расправляется пятипалый кленовый лист, как из брошенной на дно озера личинки является

звонкокрылая стрекоза. Разница лишь та, что кленовый лист и стрекоза целиком подчинены временным циклам года, а стихи в минуту наивысшего творческого подъема могут родиться в любое время, притом мгновенно, минуя логические этапы развития. В остальном все похоже. Черновые наброски даже Пушкина своей штриховой узловатостью часто напоминают только что раскрывшийся лист. Но вот появляются поправки - там новая строка, там целая строфа, там свежее слово, - и стихотворение как бы разглаживается, расправляется со всеми своими прожилками - акцентами...

Еще аналогичней рождение стрекозы. Личинка стрекозы какое - то время лежит на дне, как зерно замысла лежит на дне памяти. Там личинка проходит ряд таинственных превращений, подвигающих ее к совершенству. Она уже способна видеть и ползать, но крыльев у нее еще нет. Вернее, они у нее где-то спрятаны. И вот наступает время, когда живое, ползучее существо по стеблю какой-нибудь плакун - травы поднимается к солнцу. Сейчас наступит эстетический момент, произойдет таинство последнего превращения, прыжок к совершенству. Ползучее существо не без труда сбрасывает с себя отслужившую монашескую одежду, высвобождая из-под нее прозрачные крылья. Рожденная стрекоза замирает в радостном трепете и взлетает...

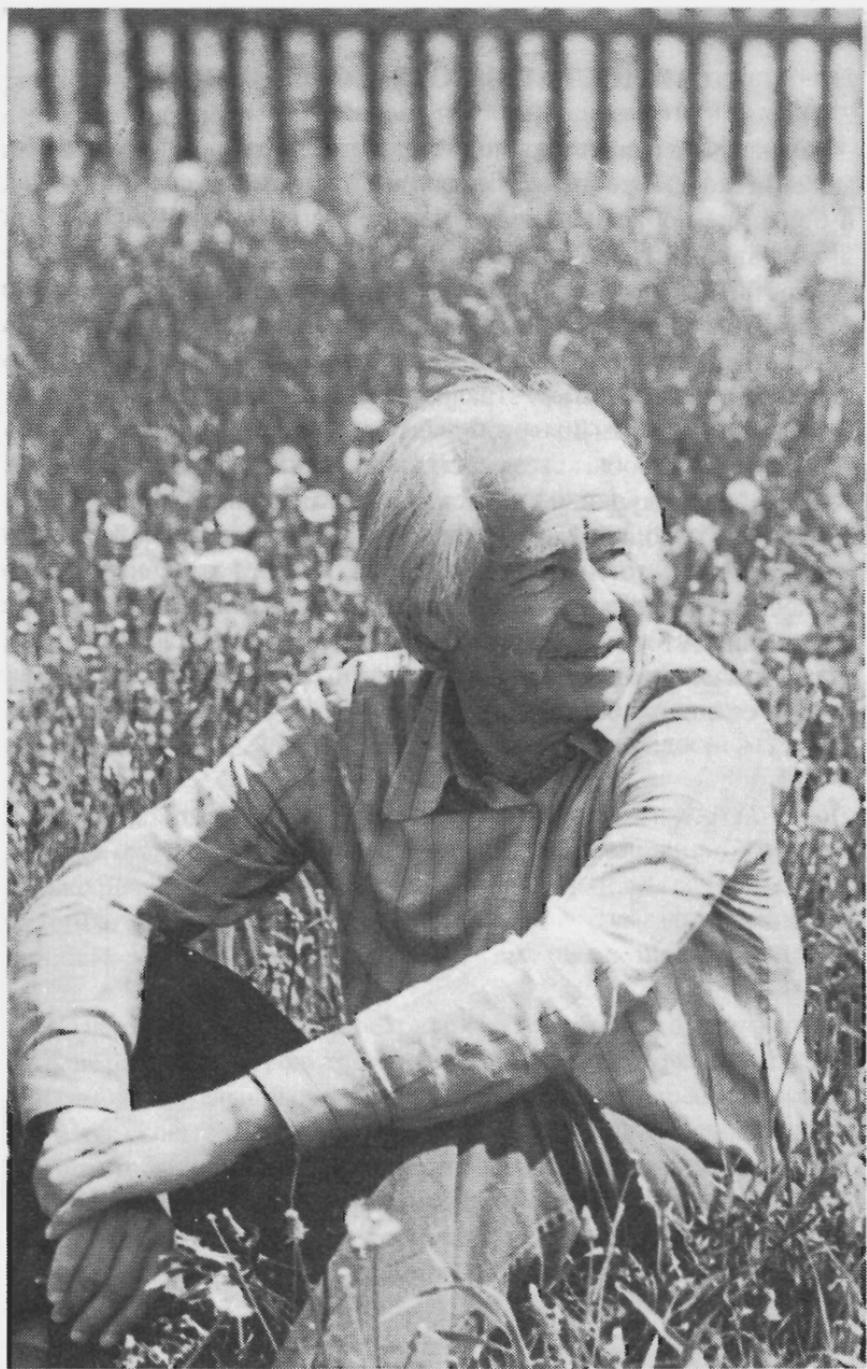
Очень похоже. Но как часто многие стихи не доживают до такого скачка к совершенству, останавливаясь на уровне личинки, умеющей только плавать и ползать. Обсуждая такие стихи, мы говорим: "Что же, стихотворение живет". Да, оно живет, у него уже есть зрение, как личинка стрекозы, оно уже ползает, а ему по законам поэзии надо летать...

Казалось бы, все сказанное говорит о том, что над стихами нужно больше работать, доводить их до совершенства. К сожалению, даже при самой тщательной обработке не каждое стихотворение способно прийти к своему эстетическому моменту. Для поэтического полета нужно, чтобы в природе стихотворения были заложены крылья. Если их нет, никакая работа над стихом уже не поможет. Но и в этом случае она полезна, хотя бы для того, чтобы в ее результате обнаружить пустоту. Главное - доходить до самого конечного результата.

СМЕЛОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Однажды, слушая стихи молодого поэта, обратил внимание на то, как он легко и запросто произносил жестокие слова о смерти, о ранах и болях, не побледнел, не вздрогнул от ужаса. При обсуждении прочитанных стихов даже сказали: "Смелый поэт". А какая тут смелость? Так часто дети говорят нечто страшное, не отдавая себе отчета, что говорят. Такая смелость за чужой счет, за счет читателя. А смелость поэта и писателя должна быть за свой собственный счет. Сказал страшное - самому страшно, ударил больно - самому больно. Описав смерть Эммы Бовари, Флобер вылетел из кабинета плачущим. Для него смерть любимой героини - факт самой жизни, а не литературы.

Поэт, равнодушный к жестоким словам, не знает меры. А когда самому поэту больно, он будет искать меру боли в самом себе, меру говорить лишь то, что может выдержать сам. С этого начинается точность поэтического слова. Чувство правды будет развиваться в поэте естественно. А то получается, что за счет других можно говорить много, а случится сказать для себя - и, глядишь, поэт оробеет. Как часто у нас путают смелость с безответственностью.





Из записных книжек



Levi and other lots & names forgotten at short notice
Copenhagen
Told about, some poems
and we knew no others because because before
Copenhagen he told me his poems, I recollect
the following lots of well-kept good ballads,
mostly Copenhagen & Copenhagen products. See also,
etc

Take a large meadow, 3 acres
- you could be measured there
and when the grass is high
you could be buried. In the
meadow there is a small
pond - a natural one. It is very
deep and deep water, so that
when you are in it, you can't
see the bottom.

"Он всегда о魔鬼 и
мечты к мечтам и сказкам
запомянутым и забытым не забудет
Ему нравится, что он знает все —
что знаю я, — да, как лучше
запомнил я этого на сбре ?
.. Вы же видите, недаром, не зряко-
дят ? — Дядюшка есть у меня, —
и когда я его увижу в
столе ! Естественно, что
они не забудут, конечно, запомни-
ли все, что забывали..."

Tak by maw u.

sydy esidjt et eze deneue, eze
Spesha Fougarai.

1. v. 85. Canada / near Lake
Superior to Duluth and then to
Cochet & Co.

Когда мы с Татьяной выехали
из Барнаула, впереди у нас лежала
дорога в Красноярск / и мы 19.50.22-го
были в пути с машиной? Куда мы ехали?
Что это за машина? Красноярск. И что
такое машинистка.

9. V. 45. Сеадо сеагија кога
сигај и инв. в аспир. шоб ће се
сечу брдама когод да се ради
о дигитализацији архива из времена
Примата. И да је већи времен
изгубљен, који ће сејеји
и дејствији да је сада ка
стакло и сл. дуп. и сада
западије сејеји да је сада
мади, који ће сејеји да је сада
тако да је сада толико да је сада
који ће сејеји да је сада.

Каждому из нас
 надо быть благодарен
 за то что
 мы родились с головой
 и не с ногами
 Каждому из нас
 надо быть благодарен
 за то что
 мы родились с головой
 и не с ногами
 Каждому из нас
 надо быть благодарен
 за то что
 мы родились с головой

Каждому из нас
 надо быть благодарен
 за то что
 мы родились с головой

Каждому из нас
 надо быть благодарен
 за то что

Молодые люди
 не убиваются
 От -

Молодые люди
 не убиваются
 От -

Бородавки в бороды бросали в бороды
Чтоб сечи, чтоб с пылью садить
Но чистому сечи
Но скажи, как?
Такое солнце садят и сажа.

Не когти ли?

Когти!

В бороды сажи

Не надо, я купил ясень да сажай,

Не лучше ли, краудинги гнилое сажай,
Установка проводка лучше ли сажай.

Краудинги гнилое,

А сажай все ходи —

Сажай ли когти?

Сажай, сажай!

Когда ли в сажи ногу загнать разбить

Леско ли землю залить сажи

Леско ли землю залить за краудинги гнилое,

Что леско сажай, как это сажай.

Не надо сажай,

Не надо сажай!

Не надо сажай,

Не надо сажай!

С сажай землю, землю не ушиби, землю

Нади же землю сажай и краудинги,

X

X X

Перевратим и модани
 звезды падают с небес,
 Ровно от всех когд над нашей
 Краю-то звезды гремят.

Мы падем на звезды зода.
 Тишина будем, вдиги.
 Голоско крикнег: „голкардмода!“
 Друга встретивши грузин.

Чт о чайто и веет сквозь
 На земле глох ахазской.

Чт о чайто то глох чредгори
 Глох речевые верту гнет.
 Пухо, пухо...

Голоско море,

Голоско море в двери бьет!
 Слышимо

6. 10-45

Самые сильные из падежей
имеют прямое значение: есть они: как
представлять и говорить о чём-либо".
Членение языка в значении языка
представляет собой единство.
Самые сильные винительный падеж!!!

12. 10-45. Всё же первое значение
и т.д. имеется в н. Все
значения единство.

Всё же первое значение и т.д.
единство является.

Причины этого состояния "Зад"
это выражают значение то
есть это то что и что.

"Зад" есть также не наше
это значение.

Одно из выражений здесь является
также то что выражение имеет
значение выражение, а выраже-
ние этого есть смысл ви-
делоп. такое слово все пред-
ставляя с теми же словами. Одно
из выражений есть смысл смысла
занимает.

С этого генерального же
одного выражения можно находим
один выражение это выражение и выраже-
ние это выражение. (Однако и
их различия! Как их различия!)

бывает не злод, но у него гла-
вный враг, один только и это
злод, но не злод, то обидчик
не из злодов.

Хочется до сожаления имена злодя-
ев привести, да бош, да фрачка
и кирасиста не хватит.

Бессонница.

С мной восток
Угаснет в звезды
Одесской земельной восток
Учено-святые колы

Но спас.

Не изменят коф
Лицо в кудах-то величии
Кончал гордится некирюх
Всего где скота виноват.

Последнее слово.
Огромно оно есть,
Я не знаю,
Все чувствую, как в двери
До засыпки неумолим
Все своих друзей
Может не плавать
Из-за болезни?

иные академии членов изыгнаны
безо труда и заслуг преданы, вынуждены
погибнуть в изгнании и насилии.

И певческое «искусство» бывшее
всесоюзное соединение из Краснодарского
«Земли и Огни» с местами
издания, а также из Краснодарского края
из центра Азии.

Сюжет до сих пор не изучен
и не имелся в архиве. Предполо-
женный сюжет имеет не сложную
конструкцию. Сюжет предполагает
и более или менее законченную... и неизу-
ченную часть.

багатою їх, що підуть та вим-
оги висвітлюють в драмі ханскої музике.
Ін артистичні засоби, супроводжені
забавами, підтримують інтенсивність та
загальний ритм. Важливими засобами
виступу є також музичні
інструменти та скрипки, які ви-
важають як засоби висвітлення ханскої
музики, боргів до якої віддається
важливий відношення. Задовільна
музика виступає як підтримка
загальному ритму виступу.

has forces under Major B at
the railway station

Все надо ищет
Но надо искать
Чтобы не было злых людей ученых
Которые скажут только вранья
Чему же это?
Учения, учения!

Модели + Аргументы
Модели Мироздания
Модели + Справки -

Все говорят гады...

Да говорят

и сказ, что воркуются. Один из друзей

Все гады, все гады...

Каждый гад!

Все
Гады

Не нужны хорошие члены кабинета,
Не нужны и плохие члены не делают.
Не нужны и хороши плохие члены,
Хороши плохи они плохими были заданы,
Хороши плохи и дурными с большими проблемами,
Хороши плохи пасмурные на пасмурных нубах.

Нужны хороши,
Но хороши хороши
Одни хороши все, другие плохими делают
Себя, а другие хороши
Себя, а хороши хороши.

Твіста ажілла
 І гарна, прелестна чарівниця
 Була, в країні під горами.
 Девчина добре одягнена
 О чикує предметів звісі
 Девчина хвилюється чистою
 Спілкнеться купинкою під горами
 І відчується садок;
 Опиниться жінка гори лесе.
 Відтут відступає з помоші чудесною
 Спілкнеться жінка з чудесною сюжетою,
 Кому ти з тим, одному ти з іншим,
 І чикуєш ти з чудесною горою
 Чиже відчуєш від неї гарну чистоту
 Спілкнеться чудесною горою
 Куди відходи чи відійди сядиши
 Не! ти сядеши чудесною горою.

И не броди - со рвие -
за склоном,
но срету погибній разъезд
Рокки юности гашеніи
И висади м в гладь альянса.

И на добрую речь - беседы
В синий луга - м не окошков.
Сиреневые взгляды удаческих
Гианди на все, что м в зоре.

И я при нынешних веках,
На этот корытно-бараньи дни.
Мои чистые друзья,
Их ширь во-всеми.
Ни разу не мы засоряли.
Дни нынешеских изобретений
Адомы гигант речи...
Лягушка не смеет сидеть
И у Ильи-Чехов смея.

Слышала я сказки в Даме
Еще косматые лица
Давно ми были засорены
Ее широкие бока

Весна ее чистые дальние дни,
Чисто прелест до блеска дни
Мои добрые, из которых лица
Являясь деревьям все время.

И не гони меня, прошу прощенье -
Далеко тому до моих вин
Дальше речи, прошу срету синий
Однажды нынче гоняешь
Красивых красных цветов
И гоня не даешь - головы.

Француз
Людмила
Март 1871.

1/2 - 46.

Этот год прошел еще для
меня более трудным. Я к лету занесен
на Южную Двину и с тех пор
был рабочим пешком, скопа с
весны до осени. Рабочий штаб в Бобру.
Я не имел никаких
денег кроме оплаты труда, то есть
две сороки из которых я
занял у супружеской пары.

Мы жили в деревне Бобру, между
Бобру и Гомелем, то есть
всегда на границе Беларуси.

20.07.46.

3/7-47. В этот прошлый год
я остался в Бобру. Там я работал
все лето в архитектурной мастерской
1947-го года в Бобру. Работал
все лето в архитектурной
мастерской в Бобру. Работал
все лето в архитектурной мастерской
в Бобру. Работал в архитектурной
мастерской в Бобру.

Стаканы сделаны в Бобру и кирпичи
известняк сделаны в Бобру.
Кирпичи сделаны в Бобру.
Бетонные изделия: кирпичи, плиты,

Все равно как с разою мечтой,
 Так сильнейшее волнистое
 Ревнование буду всегда с зевом,
 Так речи мои "Люблю я тебя"
 Все равно как с разою мечтой.

Дорогие, бывалих предыдущих
 Их сияние не покидало меня
 Даже в первы дни мои, но ее любовь
 Ни огнем бы первых ее обогреть,
 Беспокойной, всегда притягивая-

ко и руки руки венчаны
 Размывающих, когда излияни...
 По венчанам, дразните гладиолы,
 Глянув к цветам склоните руки
 Даже руки руки венчаны.

Чтобы не было любви и раздора
 Не любящий доказал излияни...
 Я хочу показать свое руки
 Берегами кудрями ~~и~~^и листьями,
 Чисты не быть венчаны и раздора.

Но не вини
Свадьбы
 И Годы мои и мысли
 (многих людей,
 то и с будущим
 начинаю я наде-
 ждой структуре
 кристалла.)

Свадьбы всему быть
 Свадьбы жаждут не
 будущего обновлённого зем-
 лого генезиса, свадьбы
 Дол-Жизни, не будущ-
 шими бояться земле-
 монии.
 Это же свадьба?
 Это другое!

Свадьбы всему быть
Свадьбы Свадьбы,
свадьбы,
свадьбы

Не обратив на
 сказки, антические
 Израильские мифологии
 не заметил.

Лицо Ахиллеса,
 это же синий - это же,
 всему это,
 а значит все суперевенты.

Любовь сестры в Вильне
была злой и грустной. Но
Богородица утешала, что так
и надо. Но матери, which
встречали народ, что это
был пасхальный ход.
Что в Пасху в Пасху
праздник. Пасху сказали
Чубинским, а не Чуби-
нским. Чубинский был израс-
чен. Чубинский —
Чубинский, как пишет в
Пасхальном письме
Святейший Патриарх
Пасху Чубинского.

old flower - white sp.
flower B : flowers
bright yellow. The
white ones always appear
earlier than others.

Uco. we cheer they will be
seen, Don't sing old songs -
Leave your cheer unvoiced -
Never forget a stocking

33 built no drydock
here no signs of
large
tides





О себе и близких



Приехала в 1937 году, когда лето было
еще в абсолютном расцвете, и увидела
свежий памятник в сороке милю южнее
Киево, где находился обсерватория Крымской
Академии наук, ныне в астрономии.
Какое чудо! Была там губческо-научная
лаборатория из трех кирпичных, где и нынеш-
ният, начало с того губческо-науч-
ной лаборатории из трех кирпичных, где и нынеш-
ният губческо-научной лаборатории из трех кирпичных, где и нынеш-
ният губческо-научной лаборатории из трех кирпичных, где и нынеш-

Еще до конца века появятся энергия
и люди которые спросят самое лучше. Это
будут великие созидатели. Всё что они
захотят в жизни будет им дано. Их
жизнь будет полна счастья и радости.
Их энергия будет бесконечной. Их мудрость
будет неизмеримой. Их любовь будет
беспрерывной. Их жизнь будет полна
радости и счастья. Их мудрость будет
бесконечной. Их любовь будет беспрерывной.

О СЕБЕ И БЛИЗКИХ

Читая автобиографические очерки писателей, замечал: многие из них начинают разговор о себе с оправдания в том, что занимаются своей особой. При этом одни говорят, что еще не время подводить итоги, другие ссылаются на вынужденность обращения к своей личности, третьи начинают с извинений перед скромностью. Так хотел начать и я, но тут же подумал: а разве, занимаясь стихами, поэмами, очерками и статьями, я не занимался собой. В конечном счете, о чем бы и о ком бы мы ни писали, мы пишем о себе. Наш взгляд на мир, сам отбор материала, манера его изложения - все говорит о нас, пишущих. А поэт-лирик и тем более в силу жанра вынужден заниматься собой, не прячась за спину подставных героев.

Мне в жизни пришлось написать множество автобиографий, коротких и развернутых, в зависимости от того, куда меня принимали. Самая интересная, на мой взгляд, лежит где-то в довоенном архиве Новосибирского аэроклуба. Очень уж хотелось, чтобы меня приняли. Написал так, что замполит, прочитав ее, сказал перед всеми учлетами: "Сочинил, как писатель!" Самая скучная, по-моему, находится в Союзе писателей, хотя тоже очень хотел, чтобы не отказали в приеме. Видимо, устал повторяться.

У меня в стихотворении "Корни" есть строчки: "Помню родословную свою только до четвертого колена". Честно говоря, в них моя память явно преувеличена. Открыв глаза на белый свет, я уже не застал в нем ни главных бабушек, ни заглавных дедушек, а о прародителях и говорить нечего, все они сливались у меня в одну легендарную Бабушку и в одного огромного Дедушку. Если моя память еще выделяла прародителя Леонтия, то лишь потому, что его называли по имени. Он уже доживал свой век, когда его бездомный внучек, мой отец, пригретый дядей Тимофеем, привел в дом, уже набитый невестками, мою молоденькую маму. Ослепший богатырь почти все время лежал на печке и, чутко прислушиваясь к разноголосице дома, время от времени подавал свой голос в защиту мамы. Когда его не слушались, он гордо напоминал расшумевшимся женщинам о своей былой богатырской силе:

- Дитятки!.. В двадцать лет я один тридцатипятипудовый якорь ворочал. - При этом грузное слово "тридцатипятипудовый"

поднималось так высоко, что на минуту все притихали. Потом шум поднимался снова, и, если в этом шуме не слышался голос Ульянки, он настороженно спрашивал: - Что-то Ули не слышно... Здорова ли?..

На что получал ревнивый ответ:

- Повесь свою Улю на шею и носи, как иконку...

Древний старик пытался урезонить ревнивых молодух и, видя, что все его слова тщетны, заканчивал разговор тяжелым, многозначным вздохом мудрой печали:

- Эх, дети, дети!..

По рассказам мамы, в большой семье к слепому старику хорошо относились лишь мои родители, благодарные за приют, да его старший сын Тимофей, такой же богатырь, как и он. Этого я уже помню. По нему я представлял деда Харитона, о трагической любви которого мной написана поэма "Золотая жила", что избавляет меня теперь от подробного разговора о нем. Но в поэму, понятно, не могли войти кое-какие житейские детали. Уйдя на поиск "золотой жилы", он действительно много лет пробыл в тайге старателем, были у него и удачи, потому что доходили до деревни слухи о его пьяных разгулах не то в Иркутске, не то в Красноярске. Несколько раз он порывался вернуться в Марьевку, но после очередной гульбы был вынужден снова возвращаться в тайгу. Говорили, что своих покинутых детей он любил, при выходе из тайги высыпал им немалые, по деревенским понятиям, деньги, однако, те деньги, перехваченные кем-то, ни разу до них не доходили. Видимо, Харитон был еще жив, когда Митька и Мотька оказались круглыми сиротами. Сначала они оба попали в тесный дом дяди Тимофея, но вскоре Мотьку забрал в нянки проезжавший мелочник из Томска, а Митька на сомнительных правах родственника до поры прижился в дядиной семье. Вот почему дедушку Тимофея, когда у нас уже не стало отца, мы все считали родным. Да и он до глубокой старости относился к нам покровительно.

Ему было уже далеко за семьдесят, а он еще боролся с молодыми и всегда их перебарывал. Вокруг такой борьбы, а затевалась она, как правило, в праздничные дни, всегда собиралось много участников и зрителей. Однажды, положив на лопатки двух парней, дед Тимофей высматривал в толпе желающих помериться силой. Никто не решался. Тогда его взгляд остановился на моем старшем брате Петре, работавшем в томском окружкоме комсомола и приехавшем в отпуск.

Он так на него смотрел, что Петр, тоже высокий и крепкий, вынужден был выйти на круг. Боролись они долго, и когда молодой переборол старика, тот от обиды заплакал и пошел в дом. На пути ему встретились сыновья - Павел и Григорий, ребята сильные, но низкорослые, он бросил им с обидой:

- Лехины - вот кто в меня... Эх вы, двадцатники!..

Лехиними в деревне прозвывали нас. Если кто приезжал и спрашивал Федоровых, называя имена, никто не знал, но стоило назвать наше прозвище, как тут же слышал: "А, так вам Таньку Лехину!. Так бы и сказали". Прозвище было образовано от имени Леонтия, которое в мордовском варианте - в Марьевке жило много мордвы - звучало Лехой. Обида деда Тимофея состояла в том, что именно к нашей семье привилось имя его отца, а не к его детям. Когда же спросил маму о таком страшном ругательстве, как "двадцатники", она что-то вспомнила и рассмеялась.

- Это в городе такие, всякие разные служащие были, которым получку по двадцатым числам давали... - и, разыгрывая сцену, изобразила двадцатника, который на подступах к двадцатому числу в крещенский мороз на томском рынке мясо покупал! - В одном запахнутом пиджачишке, руки в рукавах, побежал к прилавку, выплюнул за прилавок медяшку...

- Дай фунт осердья...

Ему свесили фунт осердья, сунули под мышку, и бедный "двадцатник", не вынимая из рукавов рук, сгорбившись, побежал домой...

С тех пор, когда я слышал презрительное ругательство деда Тимофея, тотчас представлял жалкую фигуру "двадцатника" с фунтом осердья под мышкой.

После неудачной борьбы с внуком могутный дед бороться вообще перестал, но продолжал удачливо тянуться на палках. В следующий приезд Петр привез в утешение старику огромную трубку, изготовленную специально для витрины табачного магазина. Под его усами на фоне седого облака бороды она казалась самой обыкновенной трубкой. До конца своих дней он уже не расставался с ней.

Теперь вполне сознаю, что деду Тимофею я обязан страстью к лесопосадкам. Посадить и вырастить дерево - для меня не меньше, чем написать хорошее стихотворение или поэму. Во Владимирской

области, где мы жили около восьми лет, после нас остался взрослый фруктовый сад, под Москвой уже высоко поднялся сибирский кедр, в Марьевке, где интерес к живому дереву по традиции еще слаб, я сделал попытку озеленить пустырь. Дело в том, что когда-то, избранный старостой, дед Тимофей принимал активное участие в уничтожении местных лесов. За два-три ведра самогона смолокурям отдавались немалые участки с вековыми деревьями. Понятно, моя запоздалая реакция на этот факт носит всего лишь нравственно - символический характер. Если бы даже все мои собратья по перу занялись лесопосадками, они не восполнили бы и сотой доли древостойных утрат только в одной Марьевке.

По линии отца в моей памяти почти нет женщин, только богатыри-мужчины, а по линии матери, наоборот, помнятся могучие духом женщины. Сначала одна Большая бабушка распалась на две прабабушки, от чего они, к моему удивлению, не стали меньше. Одна предстала неистовой ревнительницей официального православия, дважды ходившей из Сибири в знаменитую Киевскую лавру, - это я уже знал по рассказам; вторая оказалась дремучей раскольницей с характером пророчицы. Незнаю, по каким источникам, но она задолго до нового века пророчила отречение царя от престола, предсказывала, что его генералы будут менять свои, золотом шитые мундиры на солдатские шинели, что появятся огромные птицы с железными клювами, которые будут гоняться за людьми и убивать их. Церковь и попов она ненавидела лютой ненавистью.

От Большой же бабушки откололась и просто бабушка Анна, родительница мамы, великая печальница и рукодельница. Она - от православной Богомолки.

О том, как Богомолка ходила в Киев, я слышал рассказ в двух редакциях - в редакции мамы и ее брата, дяди Василия, ныне глубокого старика. Уходила она с легкой котомочкой ранней весной и, питаясь тем, что бог пошлет, приходила в Киев осенью. Там, помолившись каким-то святым мощам, она зимовала, а весной отправлялась обратно и приходила домой к новому урожаю. Говорили, что ходила она в Киевскую лавру замаливать грехи умершего мужа, просить бога, чтобы тот не очень строго судил его на том свете. Подозревали, что сама она в чем-то провинилась перед мужем и боялась, как бы тот, встретившись с богом, не наговорил на нее лишку. Но был и третий вариант, более

достоверный. В Киеве у нее жил брат, который еще в детстве был отдан в чужую богатую семью и которого с тех пор она не видела. В первый свой приход она его там разыскала.

В мамином варианте ее бабушка со спутницей незамеченными вошли в богатый дом. В доме их приняли за нищенок и начали гнать. На шум из соседней залы вышел важный военный при "еполетах", чуть ли не генерал, и посмотрел строго на прислугу: дескать, что это у вас тут за шум и непорядок? Еще строже посмотрел на обносившихся странниц.

- Как вы сюда попали?

- Братец, Иван Алексеевич, не узнаешь?..

Вздрогнул генерал, даже золотая бахрома на плечах трепыхнулась.

- Маша!.. Откуда ты? Не с того ли света?..

Спутница, должно, испугалась, что их не признают и не примут в доме, заторопилась подкрепить свое земное существование:

- Нет, батюшка, она с этого света... с этого!

В другом варианте этот эпизод выглядит иначе. Странниц останавливают еще у высоких резных ворот купеческого типа. Строгий привратник с бляхой на груди пытается их отогнать.

- Не велено мне пущать в дом цыган и бродяжек...

- Не бродяжка я, а хозяина твоего родная сестра.

- Нет такой мой хозяин, чтобы кровная сестра в оборванных ходила!..

- Из Сибири я, добрый человек, пешком шла...

Удивился привратник, разрешил на лавочке посидеть, подождать, когда хозяин домой возвратится, а там - признает, не признает - дело хозяйское. Сидят странницы, котомочки развязали, черствый хлебец всухомяточку жуют, а к воротам на тройке представительный мужчина подкатывает, привратнику выговор объявляет:

- Сколько раз говорено было, чтобы вот таких не пущать...

- Сестрой кровной объявились...

- Сестра? Сестру мою давно бог взял...

- Жива я, братец, жива!.. Из Сибири к тебе пришла...

- Сестрица, Маша!..

Как бы там ни было, но моя прабабка Мария дважды побывала в Киеве. Когда я в детстве слышал пословицу "язык до Киева доведет", то был уверен, что она произошла от этой моей прабабки, Богатый брат дважды пытался задержать ее в своем доме, но она не соблазнилась

ни достатком брата, ни теплым украинским климатом. По весне снова отправлялась в суровый таежным край, где у нее оставалась дочка Анна. Этой Анне выпало потом породнить Богомолку с Раскольницей. Она вышла замуж за ее сына Наума Осиповича, мастера на все руки - бондаря, пимоката, горшечника, к тому же балагура. От религиозной крайности матери Анна пришла к раскольничьей крайности свекрови, но религиозный деспотизм последней оказался менее страшным, чем тяжелый характер мужа. По рассказам матери, у него было какое-то упрямое желание вывести ее из душевного равновесия, полагая - напускного, заданного себе, взорвать в ней чувство смирения, наверняка - истинного, заставить ее вскрикнуть от боли, попросить пощады, чего она никогда не делала. Запутавшись в богах, в способах угождения им, она молилась, то подражая матери, по-православному, то свекрови, по-раскольничьему. Однажды, истерзанная мужем, Анна побежала в лес, добежала до первой полянки, упала на колени и стала молиться небу и лесу.

Испугавшись содеянного и того, что жена может наложить на себя руки, Наум Осипович побежал за ней следом и, увидев ее на полянке, спрятался за темный куст.

- Господи, - молилась она, - избавь от греха... Невыдержку, возьми меня сам...

Просьба жены к богу потрясла Наума Осиповича, душа его наполнилась стыдом и раскаяньем. Подозрительный прежде к ее красоте и смирению, он вдруг увидел, что она была неприворотной в своем многотерпении. Наум Осипович тихо отступил от лесной полянки, оставляя жену договорить с богом, а встретив ее у крыльца дома, склонил перед ней русую голову и сказал:

- Прости меня, Анна... Клянусь богу и своей и твоей матери, что с этой минуты никогда в жизни даже пальцем не трону...

Слово свое он сдержал, никогда ее больше не тронул, но жизнь Анны была уже коротка. Ее любимым делом было рукоделье - вязанье и вышивка, но не ради тонких кружев и цветных узоров пришла она в дом, где ценилась не красота, а физическая сила. Кроме нравственных страданий, которые обрушились на нее, ей пришлось непосильно много работать. И, несмотря на перемену в муже, она стала тихо гаснуть. Хотя Наум Осипович был мастером на все руки, большого достатка в доме не было. Об этом говорит одна бытовая сценка, выхваченная в

детстве цепкой памятью мамы. В доме были гости. Каждый из гостей получил кусочек сахара к чаю. Когда они ушли, старая раскольница, не захотевшая сидеть рядом со слугами антихриста, спустилась с печки и, старчески подбоченясь, спросила о судьбе сахарных кусочеков:

- Аннушка, нешто сахар-то весь съели?..

- Нет, маменька, остался.

- То-то!..

“Бабушка” Анна умерла, когда ей было всего около двадцати трех. После себя она оставила пятилетнюю дочку Ульяну, мою будущую маму, и трехлетнего сына Василия. И хотя их отец, Наум Осипович, был на виду, фактически его дети пребывали в полном сиротстве. Сначала за ними приглядывала бабушка, потом эти заботы взяла на себя тетя Ефимья, работящая жена младшего Наумова брата Федора. Как я уже говорил, дед Наум обладал большими способностями к самым разным ремеслам. Ему было достаточно только раз посмотреть на какую-нибудь работу, чтобы произвести ее в точности. При этом он увлекался сам и увлекал своего младшего брата, который покорно следовал за ним, пока не убедился, что самое верное - это земля. Так они какое-то время вместе катали пимы, потом Наум соблазнил Федора делать и обжигать глиняные горшки. Это предприятие раскололось при реализации первой же продукции. Погрузив горшки в два больших короба, зимней дорогой они отправились по деревням. К несчастью, впереди них уже проехали какие-то горшечники. Прижимистые бабы смотрели горшки, прислушивались с их звону, но брали редко. На них не было глазури. К тому же при переезде в одну из деревень, раскатившись на спуске, сани ударились о пень. Плохо упакованные горшки трагически хрустнули. Посмотрели - полкороба черепков. Тогда братья переглянулись, выругались, расколотили на том пне все свои горшки и хлестнули лошадей.

После этого они подались в Томск, где подрядились гонять ямщину до Иркутска и обратно. Эта работа была трудной и опасной. В путь отправлялись большими партиями, чтобы в случае нападения разбойников, что случалось довольно часто, защитить и себя и хозяйские товары. После одной стычки с варнаками, в которой Наум проявил смелость и силу, среди иркутских и томских ямщиков за ним утвердилось прозвище Ермака Тимофеевича.

Вскоре пути братьев разошлись. Еще не старый вдовец продал двух

своих ямщицких грузовозов и купил лошадку на легкой рыси, а к ней пролетку, повязался многоцветным шерстяным кушаком и стал популярным извозчиком Томска. Младший брат Федор, как более практичный, не менял лошадей, подался в Марьевку пахать и сеять. Не имея своих детей, он усыновил племянника, потому что в те времена из детских душ землей наделялись только мужские. Маму пристроили прислугой к известному в Томске провизору, имевшему свою аптеку. Работая там, она узнала лечебные свойства многих трав и научилась пользоваться ими. Она рассказывала про себя много смешных историй. Однажды ее послали в магазин за продуктом с незнакомым названием, которое, войдя в магазин, она вдруг забыла. На вопрос приказчика, что ей надо, мама долго молчала, а потом выразила название движением руки.

- Туда-сюда...

Продавец догадался.

- Киш-миш?..

Но вернусь к деду Федору. В Марьевку он привез три чуда тогдашней цивилизации, дотоле неизвестных ее жителям: железную печку, самовар и керосиновую лампу со стеклянным пузырем. В доме собрался народ и удивлялся, что печка согрела избу за десять минут, самовар вскипел сам, а лампа осветила все темные углы. Это сразу же принесло ему уважение мужиков, которое он всю жизнь потом старался поддерживать не только справностью хозяйства, но и своим видом. Во все присутственные места, а также в гости он пожизненно ходил в одном и том же картузе с темно-бархатным околышком и лакированным козырьком. Одним словом, младший брат окреп на земле, завел свою пасеку. Городские же дела старшего пришли в упадок: охромела лошадь, износилась пролетка. Позванный из деревни, он без долгих раздумий согласился приглядывать за лесной пасекой брата.

Не знаю, сколько прошло времени - год, два, - только случился лесной пожар. Красный косматый зверь, гонимый ветром, с треском продирался к пасеке. Дед Наум, теперь уже дед по возрасту, схватил лопату и побежал окапываться. Огонь с размаху наскочил на его защитную полосу, побушевав десяток минут, сначала пополз, а потом побежал вдоль черной межи следом. А дед копал и копал, стараясь все время опережать дикую стаю огня, более дикую, чем волчьи стаи, которые ему приходилось встречать в зимних разъездах. Он копал - и

получался защитный круг для братовой пасеки, но не для себя. После двухчасовой борьбы с огнем дед вышел победителем, но подошел к роднику, бросил лопату, припал к студеной воде - и уже не поднялся...

Пишу обо всем этом, как о близком, лишь из чувства душевной сопричастности к людям и событиям. Бывшие в давности, они создавали нравственную атмосферу нашей семьи. Из прошлого к нам доходили отдельные бытовые картинки, отдельные фразы, воссоздающие их, как дошел до нас многоцветный дедов кушак, радужными нитками которого мы часто играли в детстве. В связи с этим в моей родословной меня более всего поражает какое-то устойчивое, наследственное сиротство, к тому же в одном варианте парности. Прабабушка идет из Сибири в Киев и разыскивает своего братца, когда-то отданного в чужую семью. Ее внучка и внук осиротеют и будут жить тоже по чужим людям. В то же время в другой семье возникает такая же ситуация: Митька с Мотькой будут искать свою судьбу. И вот два сиротских побега в силу какого-то предопределения, вопреки всем помехам, соединятся. Когда мама заневестилась и к ней потянулись женихи, среди них были парни из богатых семей, но она предпочла бездомного Митьку.

Мама росла бойкой, острой на слово, голосистой, без тени смирения и покорности своей рано умершей родительницы. В сердечных делах ради Митьки она шла даже на обман бабушки, прочившей ей какого-то богатенького Тишку. Заслышав хихиканье внучки и заподозрив, что ее провожает Митька, бабушка открывала окно и грозно приказывала:

- Ульянка!.. Домой!..
- Бабушка, это Тишка!

Окно закрывалось, и Митька с Ульянкой могли уже безнаказанно простиавать под окном до рассвета.

Вполне вероятно, что в отношении ко всем другим ребятам типа Тишки на маму действовал закон социальной несовместимости. Известно, что богатые семьи лишь в редких случаях допускали в свою среду бедных, так и бедным уже не хотелось союзом с богатыми терять своей независимости. Эту мысль можно подкрепить и тем, что познакомились мои родители в преддверии нового века, заявлявшего о себе не только календарно: в двенадцати километрах от Марьевки строилась железная дорога. Она подходила к речке Я, там начали строить мост, неподалеку от ветхого домика, где Наум Осипович с

братьем катал пимы, а его пятнадцатилетняя Улька таскала им из речки воду. При катке пимов требовалось много воды, так что Ульяна часто бегала с ведром как раз к бережку, где на кладке каменного быка работал семнадцатилетний Митька из Марьевки. У нее было такое поношенное платьишко, что когда бежала к реке, то прихватывала рукой его левую сторону, а когда поднималась от реки, - правую. В глазах Митьки эти манипуляции с платьем выглядели кокетством. Он стал приглядываться к ней, и чем больше приглядывался, тем больше она ему нравилась. Да и молодой каменщик хорошо ей запомнился, если два года спустя, приехав в Марьевку, она сразу же узнала его среди деревенских ребят. Вот теперь-то в качестве громоотвода им и пригодился богатый и благопристойный Тишк...

В ее окончательном выборе жениха было много и от мистики. Все ее девичьи гадания прямо и косвенно указывали на одного. Валенок, брошенный через забор, падал носком в его сторону, имя жениха, спрошенное ночью под чужим окном, всякий раз звучало - Митька. Было еще два вида гаданий, благоприятных для него. В ночь под Новый год девушки выбегали на чистый снег и падали навзничь, оставляя на снегу свои контуры, а утром шли проверять: если на контуре есть посторонние следы, - значит, будущий муж будет бить, если следов нет - семейная жизнь пойдет мирно. Случалось, все другие контуры оказывались исхлестанными, а на мамином - ни царапинки. Тогда она не догадывалась, что это была Митькина работа: контуры других он исхлестывал, а ее, чтоб не отпугивать, оберегал. Гадание не обманывало маму и насчет будущего достатка семьи. Девушки подбегали к частоколу и, раскинув руки, охватывали его как можно больше, а потом охваченное пересчитывали в парном порядке: "сусек - мешок, сусек - мешок..." Если последний счет падал на "сусек", значит, семья будет жить богаче, если на "мешок", - значит, бедно. Маме, гадавшей на Митьку, всегда выпадал "мешок".

В довершение всего, когда однажды, ночуя в чужом доме, она загадала "на новом месте приснись жених невесте", выпал ей сон, будто едет она под венец с Тишкой... Все в лентах - дуга, гривы, - кони мчатся, кошева летит, а за кошевой бежит Митька с березовым поленом. Бежал-бежал, да как запустит поленом вслед... Проснулась, рассказала хозяйке, а та и говорит:

- Э-э, милая, выйдешь не за того, с кем ехала... А будет тебе мужем

тот, кто поленом вдогонку бросил...

Сон оказался в руку. Раскольница благословила ее деревянной иконкой со строгим двуперстным Николаем Угодником, который потом еще и при мне стоял в нарядной компании ортодоксальных святых. На этом приданое и ограничилось. Но молодожены не печалились. В Марьевке родились Андрей и Петр. Казалось бы, с ними-то и осесть на земле, но, посеяв два-три гектара хлеба, отец отправлялся в город на заработки. Однажды в отсутствие отца в деревне начались пожары. Люди не спали ночами. Когда отец вернулся, мама настояла на том, чтобы уехать в город. Сложили в телегу пожитки, посадили в нее детей, привязали к задку телеги корову и поехали в Анжерку на шахты Михельсона. В Анжерке родились: Татьяна, Пелагея, Василий-первый, Антонина, Иван, Зинаида. Родила семья, росли заботы, но жизнедеятельный глава семьиправлялся с ними довольно легко. У него, работавшего каменщиком, еще оставалось время на удовлетворение многих своих страстей и страстишек. Дмитрий Харитонович любил бороться, драться на кулачках, играть в карты и орла, но его самой главной страстью были лошади. Он водился с цыганами и часто менял свою единственную лошадку на все новые и новые - гнедые, пегие, соловые, не всегда лучшие прежних. Иногда приводил на двор красивых, но обезноженных, запаленных в беге и опоенных. Долго возился с ними, выхаживал запарной травой, бинтовал ноги всевозможными компрессами, и когда красивая лошадь становилась на ноги, мчался на ней в шумный цыганский табор.

В общем-то все дети были сыты и одеты, но страсть отца к азартным играм иногда приводила к семейным скандалам. Однажды, ускакав на лошади, он вернулся домой грустным пешеходом. А утром надо было ехать ему по воду. Мама, конечно, вся кипела.

- Ульянка, а где коромысло? - робко спросил отец.

- Нет тебе коромысла!.. Запрягайся сам...

Отец действительно взялся за оглобли.

- Разве так возят? - воскликнула мама.

Не успел бедняга сообразить, как на его шее оказался оставшийся от лошади хомут. Он, прямо в хомуте, - за ней, но она быстренько - на крыльце, в сенцы - и дверь на щеколду. В детстве мне было странно слышать, чтобы такие большие, как мама и отец, занимались столь несерьезными делами, но теперь, оглянувшись назад, я ахнул от

удивления: при восьми детях они были еще совсем молодыми. Отец пробыл без лошади всего два-три дня, а потом привел какую-то коростливую, стал снова выхаживать ее до цыганской кондиции.

Во время таких инцидентов между родителями, разумеется, возникали острые дискуссии. На упреки в беззаботности и лености у отца был наглядный аргумент. Прямо в окно смотрелась высокая кирпичная труба электростанции его кладки. Разгневанный, он подбегал к окну и, тыча пальцем в стекло, шумел:

- Вот!.. Вот, туды-растуды, моя работа!.. А где твоя?..

- А-а, где моя?! Ребятишки, ко мне!..

Несмотря на высокий авторитет трубы, выложенной отцом, мамины упреки становились все настойчивей.

Мама хотела, чтобы самый старший, Андрей, начал учиться, но в школу из рабочих принимали только тех, у кого отцы работали на подземных работах. Дмитрию Харитоновичу подземная работа ой как не нравилась, да и само образование он ставил не так высоко, чтобы приносить во имя его большие жертвы. Но мама его допекла. Как назло, в шахте его поставили, а вернее, положили на самую грязную работу. Подцепив крючком корыто с углем, он должен был выволакивать его на боку из низких забоев к штrekу. Все свое презрение к новой работе отец перенес на веревку с крючком, которую приносил с собой и именовал не иначе, как "сукой". Зато какое изумление охватило родителей, когда их сын прочитал несколько фраз из букваря. Мама даже не поверила, а повела грамотея к знакомому попу, чтобы тот подтвердил сыновью грамоту. Намного позднее, когда Андрей стал волостным писарем, уважение к его грамоте однажды сильно ударило по самолюбию отца. Подойдя ко двору, знакомый мужик окликнул:

- Митька!.. Андрей Дмитрич дома..

Отец покрыл его шахтерским матом.

- Я тебе Митька, а мой сопляк - Андрей Дмитрич?..

Несмотря на многие неудачи, отец до конца своих дней продолжал увлекаться лошадьми. В то время они нужны были даже в городе, для личной obsługi - привезти воду, дрова, уголь, муку, картошку, поэтому игра в лошадей велась попутно. Иногда отец предпринимал на своей очередной сивке-каурке побочные трудовые акции. Так однажды он подрядился посадить перед окнами у новой городской больницы тополя. Да, видно, был мой родитель с похмелья, заехал не туда и привез

вместо тополей осины. Они и теперь шумят еще под окнами старого здания.

Не случайно стихи об отце я начал строкой: "Мой отец конокрадом не был..." Дело в том, что однажды настоящие конокрады увели лошадей с таким хитрым расчетом, чтобы подозрение непременно пало на лошадника-отца. Кего счастью, всю ту ночь он пробыл на мельнице, где в ожидании очереди на помол болтал с мужиками. А участь конокрадов в ту пору была известна: их судили своим мужицким судом, вернее, приводили в исполнение заранее вынесенный приговор. После этого случая мать заявила: "Ну, теперь тебя от дружков совсем не оторвешь!"

Отец все время ходил где-то на грани добра и зла. Видя его азартные игры, кулачные бои, частые магарычи, жулики и мошенники все время крутились около него. Так однажды в его баню напросились пожить приличные на вид люди. Насмотревшись на ораву детей, один из них заговорил с отцом о том, как, должно быть, трудно накормить, одеть и обуть их всех, да еще и себе на рюмку выкроить. Разнеженный сочувствием, родитель начал исповедоваться, сколько нужно труда и сообразительности, чтобы держать семейные вожжи в руках и сводить концы с конами. Постоялец внимательно слушал, особенно ту часть исповеди, где шла речь о его, Митьки Лехина, изворотлиости и сообразительности. Видимо, впечатление от рассказанного было достаточно сильным, если постоялец после слов отца о том, что для такой семьи денег ковать не накуешься, вдруг заговорил сам: - Не скажи, Дмитрий Харитонович, если ковать с умом, то и на хо-о-роших лошадок останется!..

Одним словом, постояльцы оказались фальшивомонетчиками. Отцу они предложили участие в их предприятии, видимо рассчитывая на него как на денежного реализатора. Отец хоть и был гулякой, игроком и лошадником, а на такое дело не пошел.

- Игра-то беспроигрышная, не то что теперь у тебя... - убеждал его фальшивомонетчик.

- Если беспроигрышная, значит, это уже не игра... - философствовал струхнувший отец.

Фальшивомонетчика из отца не получилось. Когда же обо всем этом узнала мама, то досталось всем - и отцу и постояльцам. Она тут же собралась топить баню, но постояльцы отпросили не делать этого до

следующего дня, сказали, что пошутили с отцом, и тем ее успокоили. Вечером пили чай, и когда самовар опростался, один из постояльцев попросил его до утра, а утром принес изукрашенным гравировкой. На его посеребренном боку живописной старо-славянской вязью были врезаны инициалы отца, под ними - натуральный рубль в его двустороннем виде орла и решки с профилем Николая последнего, должно, в напоминание о переменчивой доле игрока. Говорят, в трудные минуты жизни отец с грустью поглядывал на этот рубль.

Тот самовар с монограммой отца был поильцем нашей семьи до Отечественной войны. Мать рассталась с ним, откликаясь на призыв - сдавать медь и цветные металлы в Фонд обороны. Помню, в детстве монограмма на самоваре вызывала у меня особое чувство. Отца уже не было, и смутная память о нем совсем бы погасла, если бы не знакомые инициалы, подтверждавшие, что отец - не выдумка старших. Итак, нас было уже восемь детей. Написал и заметил, что допустил ошибку. Сказать "нас" я не имел права, потому что меня среди восьмерых еще не было, но, судя по оговорке, очень хотел появиться. Почему-то для моего рождения Анжеро-Судженск оказался неподходящим, и родители решили переехать в Кемерово, тогда еще небольшой городок, начавший бурно разрастаться. На первый случай поселились в Щегловке, в шахтерском бараке, рассчитывая в будущем на выделенном участке поставить свой дом. Но этим далеко идущим планам не суждено было сбыться. С востока надвинулся Колчак, с запада нахлынули мятежные чехи во главе с офицером ветеринарной службы Гайдой. Стало не до слишком далеких замыслов. Зато в отношении моего рождения все сложилось более или менее благополучно.

Родился я в 1918 году не то 23 февраля, не то 7 марта. При получении паспорта на мой запрос мне выслали метрику с мартовской датой, а несколько лет назад - с февральской. Дело в том, что календарная поправка была внесена в год моего рождения, когда в Сибири орудовали Колчак и Гайда, которые советских установлений, разумеется, не признавали. Одним словом, впредь до выяснения имею два праздника и промежуток между ними.

Рожденный в городе, считаю себя целиком деревенским. Мне и года не было, когда семья, в которой я был девятым ребенком, переехала в деревню. Фактически я стал восьмым. Василий-первый до моего

рождения заболел и умер, и, как недоношенная одежда в большой семье обычно переходила к младшим, его имя по тому же принципу досталось мне, о чём никогда не сожалел, хотя рано понял, что вместе с ним я принял лишнее обязательство перед жизнью. Возможно, отсюда у меня повышенное чувство преемственности и ответственности перед уходящим поколением, что не раз отмечали критики.

И на этот случай переезд в Марьевку был затеян мамой. Прокормить ораву ребятишек в городе рабочему-каменщику в то время не было никакой возможности: почти ничего не строили, только разрушали. А в деревне и у отца, и у матери были родственники. На земле, как только полезет травка, считай, что ребятишки накормлены - кандыками, саранками, пучками, кудрявками, барабанчиками и еще множеством съедобных трав, а когда приспеют ягоды - и того надежнее. В городе же материальная скучность могла еще усугубиться при очередной колчаковской мобилизации, подступавшей к отцовскому возрасту. А на старшего сына, Андрея, надежды никакой не было, наоборот, шестнадцатилетний подросток для благополучия семьи начал сам представлять опасность. Первый грамотей семьи, он устроился на шахте табельщиком, что не могло не радовать отца и мать. Однако вскоре знакомые стали им докладывать, что их сын нелегально собирает деньги среди шахтеров в помощь семьям арестованных Колчаком. Отец, далекий от политики, был решительно против этого, а мама из доверия к грамоте сына и по доброте душевной приняла его сторону. Вмешательство отца ни к чему не привело.

Думаю, на переезд в Марьевку повлияло и желание родителей отвести удар от "кандидата на тюрьму". Брат в тюрьму не попал, но от политики его не увезли. В год переезда, в 1919-м, Андрея уже по всей форме приняли в партию, а с восстановлением Советской власти направили на какие-то партийные курсы, кажется, в Омск.

В Марьевке мы поселились не в самой деревне, а под горой, около озера, где вместе с нашим стояло всего четыре домика. С горы казалось, что эти домики шли-шли к деревне, остановились перед горой, а взобраться на гору уже не хватило сил. Символически так оно и было. Здесь остановились семьи, чей достаток и отношение к нему определялись одним словом - "подгоринские".

Переезжая в деревню, родители рассчитывали на более надежное место, а попали в самое пекло гражданской войны. Марьевка оказалась

деревней партизанской, отказавшейся поставлять Колчаку солдат, за что несколько домов в ней было сожжено, десяток мужиков арестованы, а все остальные, за редким исключением, выпороты шомполами. На этот раз мой отец, как новосел, под эвакуацию не попал. Ему досталось поздней. Колчак и Гайда начали отступать и для борьбы с партизанами все чаще стали насыпать на деревню свои отряды. Днем их узнавали издали по коротким хвостам лошадей, а ночью - по особенному, остервенело злобному лаю собак, что доносился сверху в нашу четырехдомную Подгоринку. Заняв деревню, те непременно ставили свои дозоры на спуске горы. Одним вечером мама со мной на руках ушла наверх помыться в бане. Стемнело. Вдруг из деревни долетел истощный собачий лай. Там появились колчаковцы. Маме пора было вернуться, а ее все нет. Начали беспокоиться. Наконец она появилась возбужденная. Оказывается, баню окружили солдаты и приказали выходить. Перепуганные женщины начали упрашивать маму, чтобы она подошла к двери и поговорила с ними.

- Поговори, ты в Кемере жила.

Мама подошла и заговорила по-старушечьи:

- Солдатики!.. Здесь старые да малые моются...

- Ну, мойтесь, мойтесь, старые ведьмы!... - и ушли.

Видимо, мамина репутация горожанки и то, что она смогла уговорить колчаковцев, зафиксировалось в памяти отца. Однажды при случае он и сам решил не подкачать. Наша Подгоринка примыкала к озеру Кайдор, к маленькой речушке Кизисле, впадающей в него, и лугам с густыми зарослями тальника, черемухи, калины, что, естественно, делало Подгоринку явочным пунктом партизан. Вот почему колчаковцы внимательно следили за передвижением людей в этих местах. В один из наездов они задержали здесь деревенского мужика и начали допрашивать, где находятся партизаны. Мужик в ответ только мычал. Колчаковцы, подозревая в нем партизана, начали хлестать его нагайками. Тогда-то видевший это отец и решил показать себя. Он с достоинством вышел из-за дома и молвил этак по-домашнему:

- Что вы, господа-солдаты!.. Он же - немой...

- А-а!.. А ну-ка, ты, с языком, поди сюда!..

Отец, не торопясь, подошел.

- Ну, так скаживай, где ваши бандиты?

- Не знаю, господа-солдаты... Я ведь недавно переехал из Кемерово...

- начал было отец.

- Ага, не знаешь! - прервал его господин-солдат и несколько раз полоснул нагайкой по широкой спине.

Так, уехавший от политики, отец получил первый урок политграмоты. С этого дня он заметно подобрел к своему старшему сыну. Если его прежние отношения с партизанами строились на личных пристрастиях, на родственных чувствах, были среди них и родственники, то теперь ко всему этому прибавился новый мотив. Таким образом, выражаясь нынешним языком, отец получил марьевскую "прописку".

Поздней мне было странно слышать разговоры о городе. Я даже не представлял, что можно было жить где-то, кроме Марьевки. Она и поныне стоит на высоком берегу древнего русла. Под нею озеро, окаймленное зарослями черемухи и калины, за озером - заливные луга, устланые цветами, за лугами - быстрая пескаревая река с белесой гладью, с береговыми скулами выгибов, за рекой - зеленый лес с темными пиками кедров и далекий туман. Но в нем еще нет конца. В солнечный день за ним далеким-далеким амфитеатром поднимаются новые поля и перелески. Осенью, когда созревают хлеба, на закате они особенно красивы. На всем уже лежит тень, а этот приподнятый окоем на десятки верст полукруга все еще светится и отливает золотом. Когда все это однажды одним махом открылось моему взору, я онемел от изумления и полюбил на всю жизнь.

Оборачиваясь к истокам жизни, я остро чувствую, что после своего первого рождения я рождался еще несколько раз. Мне крепко запомнились эти рывки в жизнь. У нас была передняя и кухонный закуток, где обычно мама орудовала ухватами, чугунками, сковородниками и сковородками. Старшие братишки и сестренки играли со мной в передней, отец сидел на лавке около стола и время от времени возражал матери в споре, которая, отрываясь от печи, то и дело появлялась в дверном проеме и давала пулеметную очередь по совести супруга. Потом она сказала что-то такое, чего отец не выдержал и ударил по перегородке так, что кровь брызнула из тяжелого кулака. Это было похоже на взрыв... Братишек и сестренок смыло, как воздушной волной. И тогда я увидел себя, одиноко сидящим на полу, испугался одиночества и заплакал. Так на третьем году моя память впервые подключилась к жизни. Слава богу, что вскоре же у моей

памяти появилось нечто доброе, бесконечно светлое, чувственно зримое...

Помню, Андрей, приехавший в отпуск, повел нас к озеру купаться. Те, что были постарше, начали самостоятельно бултыхаться у берега, а он, заставив меня держаться за плечи, поплыл со мной на середину. Небо было синее в легких облачках, вода была тоже синяя и бездонная, как небо. И там, в глубине, плыли такие же облака. А вода была теплая и легкая, подобно тихому ветерку. И мне казалось, что плыли мы между двумя небесами - в бесконечности, и когда возвращались к берегу, он стал вроде бы совсем другим, каким-то сказочно-странным. И все - чудо!..

Ах, как мы недооцениваем всего того, что с нами происходит в детстве! Сколько раз в минуты душевной придавленности приходило ко мне вот это спасительное сказочно - странное видение мира - вещей привычных и надоевших. В такие моменты как бы рождаешься заново, возвращаешь себе изначальную жажду жизни и деятельности.

Очень много дал мне наш переезд на гору. Не сам переход, а то, что за ним пришло. К этому времени, успев оставить мне еще двух братьев - Иннокентия и Григория, отец умер от тифа. Это случилось в голодный 1923 год. Старшим мужчиной в семье стал восемнадцатилетний брат Петр, уже коммунист и организатор комсомольской ячейки. Покупка дома ошеломила всех. Еще бы! После отца осталась целая куча полуголодных ребятишек, а тут на тебе - дом!.. Хотьnev самой деревне, а в боковой Забегаловке, но все же на горе и к тому же со всеми надворными постройками - амбаром, баней, хлевом, избушкой, крытым сараем и ригой. А секрет был прост: в деревне начались новые отношения. Как-то после партийного собрания бывший партизан, секретарь партийной ячейки Андрей Ильич Ионов, по-уличному Илюхин, заговорил, что собирается продавать свой дом. Начали спрашивать, дорого ли возьмет, хлебом ли, деньгами ли?

- С богатенького взял бы как надо, а вот с Петьки возьму недорого.

Брат воспринял его слова как шутку,

- А я серьезно говорю. Покупай!..

- На что же я покупать-то буду?

- Сторгуемся... Рассрочку дам!..

И действительно, в тот же вечер договорились, что брат выплатит шестьдесят пудов пшеницы в течение трех лет. Условия были

неслыханно легкими, на которые, поразмыслив. Петр согласился. Прибежал он в нашу Подгоринку радостный,

- Мама!.. Я дом купил!..
- Какой еще дом?!
- Андрюшки Илюхина...
- Ты что, в спектакль играешь?
- Нет, мама, играю в новую жизнь. Готовься к переезду!..

Дом, в который мы переехали, хоть и был старый, но еще вполне жилой. В нем, кроме передней, так называемой избы, была еще просторная горница. Русская печка стояла в простенке горницы так, что на печке был довольно вместительный и уютный уголок, где мы, самые младшие, отсиживались потом в зимние стужи. От печи начинались широкие полати, где можно было не только спать, но и затевать нехитрые детские игры. Так что наши домашние коммуникации охватывались теперь формулой: "С печи на полати, по брусу - домой".

Волею судьбы наш дом оказался рядом с домом дедушки Федора и маминого брата дяди Василия. Между нашими дворами, от сарай до дома, стоял бревенчатый заплот. Вскоре после нашего переезда он был заставлен дровами и сочеными березами. Видимо, дедушка Федор испугался, что ребятня двух дворов установит прямые череззаборные связи. Но ни мама, ни Петр не придали этому значения. В семье были открыты новые основы родственности - не по бабушкам и дедушкам, а по Ленину. Укрепиться в понимании такого родства нам помог коммунист Андрей Ильич Ионов. До сих пор в наших семейных святыцах его имя на одном из первых мест.

Для меня переезд на гору оказался особенно кстати. В то время я открывал себе мир. Однажды сестра Тоня повела меня через главную улицу к обрыву. И тогда я увидел все озеро сразу, и увидел тот лужок, на котором мы жили. Оказалось, что он был маленьkim уголочком по сравнению слугом, который открылся за озером. И еще я увидел речку, что петляла в тальниковых и черемуховых зарослях, подбегала к озеру, а потом снова уходила куда-то. Единым взглядом я увидел все, что лежало и поднималось до самого горизонта, похожего на края огромной зеленой чаши.

В ту ночь я долго не мог уснуть - все вспоминал, чем же был наполнен увиденный мною простор? Некоторые детали - вековая

лиственница, например, - лезли на глаза отдельно, не становясь в общую картину. Вернее, она бегала по всей картине и не хотела нигде остановиться. На другой день я стал просить сестру, чтобы она снова сводила меня к обрыву, и тогда я закрепил в памяти непокорное дерево, а вместе с ним и невероятный вывих реки. Простор требует памяти и воображения. Его надо заполнять работой ума и сердца. Бездна тем и страшна, что заполнить ее нечем.

Старшие долго не могли привыкнуть ни к утрате отца, ни к новому дому. Однажды за ужином, когда за столом собирались все, мама кинула взгляд вокруг и вздохнула: "Если отцу на том свете скажут, что мы купили дом, он ни за что не поверит!" И в который раз невольно заговорила о нем. Оказывается, вдобавок к азартным играм, кулачным боям и увлечению лошадьми отец любил еще и красивые слова. Зипун, и без того слово нерусское, он называл хламидой: "Ульянка, подай - ка мне мою хламиду". Мать с умилением рассказывала, как при переезде в деревню он, неграмотный, по верстовым столбам таежного тракта ухитрялся узнавать, сколько проехали. Сама она не умела и этого, тем не менее ее влияние на меня в смысле поэзии было большим. У нее был хороший голос, а память хранила множество народных песен, даже таких, которых я не смог потом найти ни в одном из песенников, ни в одном из фольклорных сборников. Поздней, когда я уже учился на заочном отделении Литературного института, мамины песни выручили меня на экзамене по фольклору, а сдавая я экзамен самому Шамбинаго, главе исторической школы советской фольклористики. Он любил принимать экзамены платоновским методом, то есть беседуя во время ходьбы. Группа молодых поэтов, в которой был и я, сопровождала его к Никитским воротам, а он, большой, старый, грузный, задавал нам вопросы и слушал.

- А ты, голубок, - обратился он ко мне, - расскажи о мифологической школе и песнях Афанасьева...

Грешен, если о мифологической школе я еще кое-что знал, то сборников Афанасьева, занятый другими экзаменами, прочесть не успел. И тогда я решил рассказать ему о маминых песнях, которые хорошо помнил во множестве.

Во погребе бочоночек катается,
Он катается, он валяется.
А Василий над женой раскуражился,
Он куражится и черемонится.

Шамбина слушал меня внимательно, и тогда, ободренный его интересом, я разошелся почти на весь мамин репертуар, не меняв в текстах ни строчки. Напевая свадебно-обрядовую песню, она, например, вставляла мое имя.

По сенюшкам Авдотьушка гуляла,
По новеньким Авдотьушка ходила,
Из кармашика орешики челкалa
И в оконушко шелушицу бросала,
В Васильевы кудри попадала,
Димитричевы кудри воспетляла,
Чтобы, чтобы Васильушка оглянулся
И своей красавице восхихнулся...

Старик давно остановился и, когда я закончил чтение, удивленно спросил:

- Голубок, откуда они у тебя? Про Авдотьушку и про бочоночек ты мне обязательно перепиши...

Один из критиков однажды заметил, что в моих стихах и поэмах много снов. Что правда, то правда. Это, наверно, от моей мамы, Ульяны Наумовны. Ей часто снились сны, притом почти всегда сюжетные. Она умела их рассказывать и разгадывать. Случалось, утром она говорила:

- Сегодня я, ребятишки, сон хороший видала... Вижу, что на левом мосточке белье полоскаю, а бабы на лужку холсты постилают и все в мою сторону. Один холст прямо к мосточку подстелили. Смотрю, а по холсту ко мне гусь идет - идет вразвалочку, и никто его не гонит... Никак Петька приедет!.. Изаболь, походка была Петькина... Вот так шел... - и показывала, как шел гусь по холсту, и все мы видели, что походка у него была действительно старшего брата. И, глядь, в тот же день появлялся Петр.

У мамы была присловица "изаболь". Как-то, задумавшись о ее происхождении, я вдруг догадался: да ведь это от ее домашнего

знахарства. У нее на случай наших болезней всегда были какие-то травки, корешки, а иногда и наговорное слово. Нас было много, и прибегать к наговору ей приходилось торопливо и часто, отчего "изойди боль" по законам кабалистики трансформировалось в "изаболь". Был случай, когда я на себе испытал ее врачебное колдовство. Мальчишкой лет двенадцати я работал колхозным водовозом, а воду черпал из подгоринского колодца. Наполнив примерно пятое-шестое полубочье, я вдруг почувствовал дикую боль где-то внизу живота. Мне еще удалось подняться на гору, но дальше управлять лошадью я уже не смог, а, скорчившись, лежал в обледенелых санях. Заметив, что лошадь тащит меня туда, где ее кормили, я свалился с саней и пополз к дому. Меня подобрали уже у дома и положили на печку. Мама быстро сделала какой-то отвар и дала мне выпить, а ночью, помню, еще раз поднялась ко мне, и я услышал ее быструю шепотливую речь:

Немать,
Не жена,
Не невеста,
Здесь тебе, хворь, не место.
Место тебе, хворь, за горами,
Место тебе, хворь, за морями,
Место тебе, хворь, за лесами -
На кременьях,
На каменьях,
На сухих пеньях.
Там и скорби,
Там и боли!..

И что же? На другой день я снова поил колхозников чистой колодезной водой.

А еще мама умела причитать по умершим. Она не плакала, а как-то по-своему прочитывала жизнь человека, и в общем-то простая жизнь становилась интересной. В родительский день, например, характер причитаний становился более похожим на отчет, что делается на этом свете. В ее причитаниях было много таинственного.

К моему сочинительству она относилась терпимо, даже потом, когда оно отрицательно сказывалось на нашем материальном благополучии.

Никаких выгод от моего писательства она и не ждала, а если упрекала, то лишь за то, что я был при этом не очень разговорчивым. “Кешка с полей приедет, больше расскажет, - жаловалась она, - а Васька приедет из города и молчит”. В детстве у меня был период, когда я от слов перешел к знакам: нужен за едой хлеб, покажу - и весь разговор. А слова во мне были, играли меж собой, но мне казалось, что, если я их произнесу, они от меня уйдут и не вернутся. Приходилось только удивляться, откуда столько слов брала старшая сестренка - она говорила и говорила, а слова полетают-полетают и - опять к ней.

Поздней на меня большое впечатление произвел своей особой молчаливостью деревенский пастух Миша Дюрюжинский, у которого я месяца два-три пробыл в подпасках. Он происходил из польских дворян, давно осевших в Сибири. Говорили, до революции у его родителей была какая-то лавочка, а он еще тогда вел независимый образ жизни. Ходил Миша Дюрюжинский всегда чисто, а стадо пас в лаптях, но не от бедности. В лаптях было легко и удобно. Он и мне хотел сплести лапоточки, но я отказался. У нас в Сибири лаптей не носили. На мне были хоть и старые, хоть и великоватые, но все же сапоги. Правда, они вносили путаницу в отсчет времени, а время мы измеряли “лаптями”. Делалось это так: становишься спиной к солнцу и на какой-нибудь былинке засекаешь свою тень, а потом, пяткой к носку - раз, пяткой к носку - два, измеряешь сапогами длину своей тени. Примерно на четырнадцатом “лапте” стадо надо было поворачивать в сторону деревни.

Наши лапти не совпадали. При моих сапогах не по росту следовало вносить поправку, которую я почти всегда завышал и поворачивал стадо раньше времени. На это пастух реагировал так: поднимал свою палочку и помахивал на головой, - дескать, отставить! У его палочки были удивительно ясные и выразительные по смыслу движения. Именно таким в то время я представлял Наполеона, поднимавшего и опускавшего свой повелительный жезл. Мама об этом, конечно, ничего не знала, потому и удивлялась, что я расту молчаливый.

Детству и отрочеству я обязан многими впечатлениями, которые в моей жизни имели потом большое значение. Впрочем, такого понятия, как отрочество, у нас в деревне вовсе не было. Из детства мы, деревенские мальчишки, перескакивали прямо в юность. А до скачка успевали пройти добрую школу труда. Мне довелось боронить, пахать,

вить веревки, работать колхозным водовозом, учетчиком МТФ, младшим счетоводом, кассиром колхоза, помощником бригадира и даже... золотоискателем. Да, да, настоящим старателем.

...Весной 1932 года я окончил шесть классов школы колхозной молодежи, а учиться в седьмом не стало возможности. Нашу немудрящую кормежку и общежитие раньше оплачивал Анжеро - Судженский горсовет, а делать это в новом году отказался. Тогда я решил махнуть в Томский железнодорожный техникум, но тут передо мной встало препятствие: мне не хватало почти четырех лет. Был я парнишкой рослым. В сельсовете, не имея на меня метрических записей, мне выдали справку о моем совершеннолетии. Однако из этого получился только конфуз. Мое детское сердце подвело меня. При медосмотре обнаружилось, что оно стучало чаще, чем ему полагалось по справке. Пришлось вернуться в полуходную деревню.

До нового урожая было еще далеко. Хлеба в колхозе не выдавали, зато в торгсине, открытом в городе, было все - и кручинка, и сахар, и колбаса. Мужики вспомнили, что когда-то в пойме реки Яя мыли золото. Подговорили и меня. Бывший заведующий МТФ Александр Егоров, прозванный Сашей Комиссаром, был человеком чудаковатым, с фантазией. "Весь торгсин заберем!" - говорил он, потирая руки

Для этого нам не хватало ворсистого сукна, чтобы выстелить лоток бутары, на котором оседало бы золото. У меня было пальтишонко, перешитое из поношенного пальто старшего брата. Ворс сукна был еще хороши и мог удержать в себе все золотые россыпи Яйской поймы. Наслушавшись Сашу Комиссара, я решил принести жертву золотому тельцу. Отдирая сукно от легкой стежки ватина, Саша захлебывался от восторга, шепелявил еще больше.

- Намоем солотишко, купим борчатку со сборками на спине...

Когда лоток бутары был выстлан голубым сукном, мы прихватили еще тазик, две лопаты, два ведра и отправились за озеро. На спуске с горы мы невольно замерли в горделивом чувстве завоевателей. Перед нашими взорами открылось все заозерье, нашпигованное, как мы думали, сплошным золотом. Река, выбегавшая из зарослей, отливалась золотой амальгамой.

- Ну!.. - сказал Сашка, и мы решительно шагнули вниз.

За озером уверенность Саши как-то исчезла. Когда смотрели сверху, все принадлежало нам, а тут мы затоптались в нерешительности. Под

ногами была песчаная земля, заросшая травой. Для промывки песка нужна была вода. Пришлось держаться около старицы, но и здесь - где копать? Тогда Саша взял камень и бросил его через плечо. Камень упал около боярки.

- Копай! - приказал он, и мы начали копать.

Дойдя до песка и гальки, мы взяли пробу. На дне тазика что-то блеснуло. После этого до заката солнца я таскал воду и ведро за ведром опрокидывал на лоток с песком. Весь день я ждал момента, когда золото из области фантазии перейдет в наш реальный мир. И этот момент наступил. Промыв лоток, Саша Комиссар дрожащими руками достал флакончик с ртутью. Из флакончика на голубое поле выкатился бойкий шарик, красивый не менее, чем золото. Дробясь и снова сливаясь в более крупные шарики, он забегал по сукну, вбирал в себя и растворяя те блестки, что осели между ворсинками. Когда шарики набегались по сукну и снова собирались в один, Саша сжег его на огне. На его месте осталась золотинка, чуть побольше спичечной головки. Солнце уже закатилось, а золотинка все еще блестела. С грустью я смотрел на большой ворох песка и на нее. Было что-то несуразное в их соотношениях. Между тем Саша радовался...

Поработал я с ним не больше недели и понял: не видать мне модной борчатки со сборками на спине. Такое название шубы, видимо, произошло как раз от "борчатки", но в разговорной речи первая буква усеклась. А как я, принесший в жертву свое полупальто, мечтал о ней! Моему разочарованию не было предела. Страх наступающей кары стал вызывать во мне чувство презрения к нашим вечерним итогам - к морщинистым пупырышкам, похожим на желтых букашек. Пожалуй, с тех пор я совершенно равнодушен к золотым вещам. Но все же, когда я потом писал "Золотую жилу", во мне, видимо, подспудно сработала и память об этом эпизоде.

Недалась мне и карьера финансиста. Председатель колхоза Порягин попросил меня побить кассиром. Тогда это было просто. Никто не спрашивал, сколько мне лет. В четырнадцать лет я был уже членом правления колхоза. Кассиром? Пожалуйста! Помню, продавали колхозных лошадей. Собралось денег тысяч двадцать трудовыми замызганными рублями. Полмешка денег! Куда сними? Никакого сейфа не было. Взял на горб, притащил в дом, который, кстати, никогда не закрывался, швырнулся под кровать. Подметая пол, мама наткнулась на

этот мешок. Развязала, заглянула, ахнула.

- Откуда это?

- Колхозные.

Веник тут же загулял на мне. С этим же веником она примчалась вправление. Надо представить, что было там, если запыхавшийся председатель подкатил к дому, забрал меня и мешок для передачи его уже другому кассиру. И этот факт имел то последствие, что никогда потом я не брался за финансовые дела и избегал всего, что было связано с чужими деньгами.

Тот год был уже богатым. Колхозники получили по девять килограммов пшеницы на трудодень. У нас в горнице был устроен большой закром, наполненный пшеницей. В ней я прятал от любопытных братишек свои стихи. Иногда они их обнаруживали и надо мной издевались, что делало меня еще больше замкнутым не только с ними, но и с мамой. Но и стихи я читал маме редко, потому что они были про любовь, а я по-детски думал, что мамы вообще в любви ничего не понимают, тем более в стихах.

Помню, в новосибирской квартире старшей сестры, где мы долго жили, был закуток, нечто вроде ванной, где ванны, однако, не было, а стояла деревянная бочка. В ней хранился мой литературный архив. Ко времени отъезда в Литературный институт имени Горького она была полной. Однажды, по приезде домой, мама подвела меня к этой бочке.

- Тут у тебя какие-то бумаги. Может, что не нужно, так отбери на растопку.

Бочка была большая. Запустил в нее руку, взял первое попавшееся. Посмотрел, ощущил какое-то смущение. Разбираться в хаосе бумаг не захотелось. Видимо, сказалось и высокомерие столичного студента к тому, что делал раньше. Сказал:

- Да бери все, только вот, где будут короткие строчки, - это стихи, ты их оставляй.

Мама даже обиделась:

- Ну, разве я не понимаю. Где стихи, я вижу...

Годом раньше в такую же минуту стыдливости я сжег две общие тетради, сшитые вместе, по всем клеточным линиям с двух сторон исписанные стихами. Не менее двухсот стихотворений. До этого в литобъединении меня уговорили почитать свои стихи. Готовясь к чтению, я и взялся перечитывать эту пухлую тетрадь. Как назло почти

во всех стихах, которые собирался прочесть, вдруг обнаружились постыдные недостатки. Вообще, я замечал, что недостатки в собственных стихах обнаруживаются быстрее, когда собираешься выйти с ними на люди. В это время рядом топилась плита...

Потом лишь в минуты душевной слабости я жалел об этом, когда память воскрешала отдельные строфы и не удерживала другие. Но в том-то и дело, что память возвращала только что-то стоящее, - значит, о выпавшем из нее не стоило жалеть. В этой мысли поздней меня укрепил А. Твардовский. На Первом совещании молодых писателей я дал ему поэму "Марьевская летопись", которая ему понравилась, и он оставил ее у себя с желанием где-то напечатать. Однако месяца через два я получил от него письмо, в котором он посоветовал, чтобы я, отложив рукопись поэмы куда-нибудь подальше, переписал ее по памяти. Так что отдельные стихи из сожженной тетради возвращались к жизни почти по его мудрому рецепту.

В первом volume моего двухтомного издания два первых раздела и часть третьего составлены из стихов, оставшихся на дне той бочки и воссозданных памятью из пепла. Многие печатались впервые, некоторые из педагогических соображений, чтобы начинающие не очень отчаявались при первых неудачах.

Читать я научился до школы, а писать - до того, как прикоснулся к чистой бумаге. Случилось это от большой нужды. У меня не было своих валенок, приходилось сидеть на полатях, смотреть сверху и слушать, как старшие торопливо готовили уроки, чтобы поскорее убежать на улицу. А писал я пальцем по воздуху, чаще всего в темноте или полумраке.. Слово, написанное таким образом, долго светилось перед глазами. Тогда же я сочинил первое стихотворение. Оно было о поморах. Многие, более поздние, забыл, а начало первого помню:

Плывет моряк по морю,
И станет он тужить:
Неужто на той льдине
Ему придется жить?

Желание сочинять стихи пришло не случайно. Их сочинял брат Петр, да и другие грешили тем же. Стихи и частушки были идейным оружием. В деревне молодежные гуляния назывались "улицей". Идет

группа ребят, девчата и под гармошку горланит частушки, нередко адресуя их хозяину или хозяйке ближнего дома, совершившим что-нибудь из рук вон выходящее. С другого края идет вторая группа, противница первой, - и тоже со своими частушками. Сходились у казенных амбаров. Начинался настоящий частушечный бой.

Удивительно, но факт: деревенские ребята с двумя - тремя классами образования, как у моего брата, выпускали рукописный сатирический журнал. Принять в нем участие был приглашен и Петр. Зубоскальская программа журнала Петру не нравилась, что он и выразил в стихах, из которых помнятся строчки:

Вы критикуете уродов -
Кривых, раскосых и слепых,
Но мы-то сами не уроды
И без журнала видим их.

Стихи он писал самые разнообразные - иногда серьезные, но чаще всего сатирические и шутливые. Общественная жизнь двадцатых годов, особенно в деревне, была бурной. Наделенные землей на равных основаниях - по душам, как мужским, так и женским, - бедные и богатые, однако, имели неравные возможности воспользоваться ею. Мы получили земли на 12 душ, на которые пало около сорока гектаров только пахотной, не считая покосной с логами и перелесками, а была у нас одна Рыжуха. В деревне был создан комитет бедноты, но возможности его в помощи бедным были все же ограничены. Среди сельских деятелей появились утешители, нечто вроде горьковского Луки, утешавшие бедноту видениями прекрасного будущего. Об одном таком утешителе, некоем Якове, брат сочинил шутливые стихи:

Яшка был большой мечтатель,
Вечно в воздухе парил
И однажды на собранье
Много новин говорил.

Среди Яшкиных новин были новинки, теперь уже давно ставшие реальностью, например, обещание пахать без лошадей, но были и труднодостижимые даже в наше изобретательное время. Нажатием

кнопки он обещал готовить и получать обеды, создавать дожди и громы...

Яшка просто лез из кожи
И руками разводил,
Потеряв рассудок здравый,
В стену пальцем надавил.

Мужики в испуге страшном
Отскочили от него,
Они ждали дикой бури,
Но не вышло ничего.

Может, об этом не стоило бы писать. Но мне хотелось дать ту атмосферу, в которой проходило мое детство. Все новые стихи брат прочитывал в семейном кругу, а уж потом уходил с ними к своим товарищам. Для меня тогда это было событием. Известное выражение “поэтом надо родиться” я бы выразил иначе: “Поэтом надо делаться в детстве”.

Братьям же, Андрею и Петру, я обязан ранним знакомством с настоящей литературой: с Пушкиным, Лермонтовым, Байроном, Купером, Лонгфелло. Ставшие комсомольскими, а потом партийными работниками, призванными в города, они торопились восполнить недостаток образования, особенно Петр. Если в разговоре с ними какой-нибудь эрудит называл неизвестного им писателя, поэта, они покрестьянски старались не подать вида, что не знают их, зато в тот же вечер шли в библиотеку. В отпуск братья приезжали с тюками разнообразных книг, которые потом оседали в нашем доме.

Напомню: в семье я был девятым ребенком. Для биографии моей души это имело большое значение. Однажды, просматривая очередной привоз Петра, я натолкнулся на какой-то “ученый” труд, в котором говорилось, что талантливыми бывают только первые дети. Это меня уязвило. Я не мог признать своей обреченности и повел многолетний тайный спор с этой капитулянтской теорией.

Старшим братьям и сестре Татьяне я обязан не только любовью к поэзии, но и постоянным интересом к общественно-политической жизни. Наша семья дала восемь коммунистов. Подраставшие

включались в политическую жизнь активно. Так секретарями комсомольской организации в Марьевке последовательно перебывали все старшие братья и сестры. Был комсоргом колхоза и я. Слышал, как однажды мама пошутила: "У нас беспартийные - я да кошка". Наибольшим почитанием в семье пользовался Петр, хотя на него самого большое влияние оказал Андрей, лишь изредка наезжавший в деревню. Вскоре после того, как Петр купил дом и рассчитался за него, что для двадцатилетнего парня было подвигом, его призвали работать сначала в Анжеро-Судженский райком, потом в Томский окружком комсомола, а там и на партийную работу. В отличие от старшего брата, успевшего поучиться, Петр все постигал, как говорят, собственным горбом. Он хорошо знал деревню и психологию крестьянина, умел разговаривать с ним. В конце двадцатых годов после окончания комвуза брат несколько лет проработал в Москве - секретарем парткома авиационного завода, а потом одним из секретарей Краснопресненского райкома партии. Видимо, не без его влияния мы с братом Иваном двинулись в Новосибирский авиационный техникум.

Во время коллективизации и организации МТС Петра командировали в родные сибирские края, где он работал начальником политотдела МТС и секретарем райкома партии. Здесь у него произошли две неприятности. Одна из них поздней стала казаться забавной, а в то время она, вероятно, попортила немало крови брату. Какой-то слишком "бдительный" человек написал, что под личиной Петра Дмитриевича Федорова, ответственного партийного работника, скрывается сын помещика, у которого он самолично проработал многие годы. Нелепость разоблачения была слишком очевидной, тем не менее только большой очерк, появившийся о брате в "Большевистской смене", погасил слухи о его дворянском происхождении. Когда эта история дошла до Марьевки, больше всех она забавила маму. Помню, босоногая, в старенькой юбочонке, она вышла на крыльце и, входя в роль, подбоченилась.

- А чем не помещица?.. Сорок десятин земли было!..

Вторая неприятность была куда серьезней. Во многих местах Сибири тогда был неурожай. В районе, где работал Петр, в деревнях колхозники голодали, меж тем в государственных амбара лежало зерно. Решительный и человечный, он на свой риск и страх открыл эти амбары, чтобы люди могли дотянуть до нового урожая и вернуть

долг новым хлебом. Возникло “дело”, которое сразу же из партийных органов - Петр сам был членом бюро Красноярского крайкома - перешло в другие. Видимо, инцидент был признан настолько серьезным, что Молотов, проезжавший на Дальний Восток, остановившись в Красноярске, встретился с братом, после чего “дело” было прекращено.

Умер Петр в 1935 году от пустячной операции - от удаления аппендицита. Поскольку отца я помнил плохо, смерть Петра была самой первой и тяжелой моей утратой. За неделю до операции мы неожиданно увидели его в Марьевке. Оказалось, до него дошел слух, что его мать и братишки голодают и, побираясь, ходят по миру. Тогда он купил на рынке мешок муки и погнал райкомовского “козлика” из Красноярского края в Марьевку. Счастливый, что слухи оказались ложными, он обнял нас и лег спать, наказав мне почистить его сапоги. Вместо этого я побежал в березняк набрать земляники, а когда пришел домой, мой кумир уже натягивал на ноги запачканные в дороге сапоги, чтобы ехать обратно. До сих пор не без стыда вспоминаю, как я остановился перед ним с земляникой в зеленом кулечке из листа пустырника. Заметив мою сконфуженность, обувши сапоги, брат встал, притянул меня к своему плечу и удивился:

- О, браток, да ты скоро дотянешься!.. - и, высокий, красивый, начал прощаться перед дорогой... Ему было всего тридцать один год. Похоронили его в Красноярске. На другой день после похорон, когда мы уже ехали домой, старший брат Иван сказал мне, что он сочинил прощальные стихи и отнес на могилу Петра. Тогда мне казалось, что в такие моменты сочинять стихи даже как-то неудобно, но когда ночью я стоял у открытого окна вагона и слушал печальный перестук колес, в ритм перестука начали вписываться строчки:

Плакали горла труб,
Сердце сжималось больно,
Лепет прощальный с губ,
Горький, слетал невольно.
Ветер о жизни пел,
Будто, кружка крылато,
К жизни вернуть хотел
Мертвое тело брата.

Ветру напрасно петь,
Трубам рыдать надрывно...
Что же такое смерть,
Если сила бессильна?..

Брат Андрей погиб через два года, В отличие от Петра, возмужавшего в деревне, он был, в общем-то, человеком городским. Переезд в Марьевку прошел мимо него. Когда в молодости он бывал в ней, Петр частенько его разыгрывал, выдавая гречу за просо, а пышный овсяног за настоящий овес, Но после двух-трех приездов провести старшего брата младшему уже не удавалось. Двадцатые годы - время споров и дискуссий в партии. Спорили и братья. Тогда в нашем доме сходились деревенские философы и принимали участие в разговорах. Речи шли о судьбах страны, о путях в будущее - и все, конечно, в мировом "мачтабе". В этих спорах подавала свой голос и сестра Татьяна, ставшая потом секретарем деревенской партячейки. Чаще всего, будучи, как и Петр, реалисткой, она принимала его сторону. Сидеть в это время где-нибудь на полатях или за печкой и слушать горячие споры было для меня в высшей степени интересно. Из этих споров я, хоть и смутно, вынес то, что жизнь - не просто жизнь, а тогда жизнь, когда она куда-то движется, что те порядки, которые были вокруг, они не вечные и должны перемениться к лучшему, только вот как?

С Андреем был связан мой первый прозаический опыт. В деревне мы узнали, что у него умерла первая жена. Кажется, он тогда работал секретарем Томского окружкома партии. Мы просидели с мамой целый вечер и сочинили ему большое письмо, говорят, прочитав которое, он плакал. На этот раз моя роль не была только технической.

В последний раз его видели, когда он, будучи начальником политотдела Урало - Рязанской дороги, хмурый, выходил из кабинета Кагановича. Мы долго ничего не знали. В тот год ему было 36 лет, Страна была молодой, и молодыми были ее общественные деятели. Возможно, они допускали ошибки, но, судя по моим братьям и сестре Татьяне, ставшей уже пенсионеркой, их служение партии и народу было спартански бескорыстно. В этом была своя романтика.

Меня приняли в партию - кандидатом - в 1943 году. Не поступлюсь истиной, если скажу, что как поэт я родился из чувства социальной

новизны, которым в огромной мере обладало старшее поколение. Тут нет моей личной заслуги. Просто это чувство не должно было пропасть. Все стоящее в моих стихах надо относить на счет этого чувства. И вообще, на долю поэтов - моих сверстников - выпала нелегкая роль связующего звена двух поколений; того, что шло от Революции, и того, что пришло за нами.

Есть и нравственная сторона этой проблемы. Мне кажется, в больших семьях, как наша, вместивших разные характеры представляющие разные сферы жизни, в семьях, остро переживших социальные переломы, рождение поэта - явление такое же закономерное, как Алеша в семье Карамазовых. Должна же на чьей-то душе оседать семейная соль, и не только должны фиксироваться и осмысливаться проявления противоречивых характеров в движении и неизбежной дробности. Психологически в поэте такие семьи хотят обрести утраченное единство. Некоторые из этих мыслей были осознаны мной давно, но не сразу стали фактом поэзии.

Путь мой был до странности трудным.

Итак, писать я начал рано, а печататься активно очень поздно. Виной тому, вероятно, послужила моя первая попытка появиться в газете "Большевистская смена", - той самой, что напечатала в свое время очерк о брате. Это было в Новосибирске, кажется в 1936 году, когда я учился в авиатехникуме. Послать стихи в газету меня натолкнул тот факт, что на конкурсе техникума я получил за них первую премию. Друзья начали советовать: "Пошли... А вдруг!.." Подписался я семейным прозвищем: Василий Лехин. Для маскировки. Отослал и стал терпеливо ждать того номера, где... И дождался. В обзорной статье о присланных стихах от Василия Лехина летели ключья. Мои стихи оказались упадочными. Если бы автор критического обзора знал, что за стихами Лехина скрывается семнадцатилетний паренек, он бы не был таким строгим. Теперь подозреваю, что строгому рецензенту попали и такие мои стихи, в которых наверняка несправедливо я ополчился на высокую, стройную девушку, не заметившую моей любви к ней.

Пусть в тебя влюбится дракон,
Пускай возле твоей ограды,
Презрев извечного закон,
Шакал исполнит серенады.

А дальше - и того хлеще. И все же рецензент спутал упадочность с чем-то другим, может быть, с моей черноземной грубостью. С этими строками было ясно, но почему в разряд упадочных попало стихотворение, хоть и грустное, но далеко не безнадежное:

Серебрится водяная гладь,
Над водою клонит ветви ива.
Трудно, трудно грусть мне отогнать,
Как мечту о девушке любимой.
В мозг проник ее чудесный свет,
Память поцелуя стала ядом.
Мне и счастья больше уже нет,
Коли нет моей подруги рядом.
Берег тих - беги, беги, волна!
Ведь и ты грустишь о милом, ива...
Грудь отравой сладкою полна
При единой мысли о любимой.

И поздней, по поводу уже других стихов, я получил упреки за излишнюю печаль в своих творениях, что заставило меня выработать защитительную формулу: "Грусть поэта - в том порука, что большое счастье есть".

Все же должен признать, что печаль моих ранних стихов во многом была наносной, хотя и душевной. Дело в том, что еще в Марьевке меня поразил своей бездонной печалью "Чайльд Гарольд" Байрона, особенно строки: "Любовь - болезнь, горьки ее кошмары..." Видимо, мой байронизм не выдержал натиска жизни, тем более в ее заводском темпе. Уже в 1939 году я напечатал несколько стихотворений, очерков в иркутской заводской многотиражке, одно стихотворение даже в областной комсомольской газете, но значения этому не придал, посчитав все случайностью.

Мастерская, где я работал старшим мастером, стояла на отшибе заводского двора. В нее стали наведываться сотрудники многотиражки - Василий Стародумов и Денис Цветков. Они приходили сначала к литейщику Алексею Куделькину, писавшему стихи и печатавшему их в многотиражке. Узнав, что я грешу стихами, они насыли и на меня, затащили в свое литобъединение. Кроме стихов, по их заказу я начал писать для газеты очерки о рабочих своей мастерской,

Однажды, к моему удивлению, меня начали поздравлять с напечатанными стихами. Потом оказалось, что Денис Цветков отнес их в областную комсомольскую газету, где поэзией занимался поэт Иннокентий Луговской, который и напечатал стихотворение "К матери". Однако прежний разнос в "Большевистской смене"" так на меня действовал, что я постеснялся зайти в редакцию и познакомиться с Луговским, большего того, даже теперь входил в редакции с тайным страхом. Если же стихи принимают хорошо, я начинаю относиться к ним подозрительно. По - моему, и то и другое - от застарелого самолюбия. Чувство собственного достоинства родилось во мне раньше самого достоинства.

В наше время работе с молодыми уделяется неизмеримо большее внимание, чем тогда. В стране почти ежегодно проводятся совещания молодых писателей - областные, кустовые, республиканские, через каждые четыре года - всесоюзные. Слов нет, они сыграли большую роль в становлении молодых талантов. И сам я прошел через совещание, о чём не могу не вспомнить без благодарности. Но все же, на мой взгляд, в них таится и своя опасность. У некоторых в связи с ними может зародиться слишком много надежд, тогда как надеяться надо только на себя. Кроме того, молодой поэт, отруянный за слабость, может соблазниться успехом других и пренебречь своим жизненным материалом, а он-то в конечном счете и делает поэта.

Для моей литературной судьбы большое значение имел тот факт, что после окончания техникума я около девяти лет проработал на авиационном заводе в качестве технолога, мастера, старшего мастера. До войны, в годы войны мне довелось строить бомбардировщики Петлякова и истребители Яковleva всех нумераций. Умение читать чертежи развивает воображение, приучает видеть вещи пространственно, одну и ту же деталь в нескольких плоскостях, в ее связях с другими деталями, Представьте узел деталей. Внешне он выглядит сложно и запутанно, но достаточно найти главное сечение этого узла, чтобы связи тотчас обнаружились. Это легко перенести на психологические узлы человеческих отношений, внешне скрытых, но внутренне отчетливых и закономерных. Нужно только найти верное сечение. Это может избавить от лишней, чисто внешней описательности. По принципу таких сечений, на мой взгляд, написана поэма "Проданная Венера", да и в других вещах можно обнаружить

элементы того же принципа,

В моем заводском труде было много однообразного, но было и подлинное вдохновение, не меньшее, чем при работе над стихами. Примерно за год до Отечественной войны мы начали осваивать новую конструкцию бомбардировщика - "ПЕ-2". Помню, в нашем цехе скопилось несколько десятков аварийных деталей, без которых - даже без одной - самолет не мог получить жизнь. Мне предложили стать технологом-экспериментатором, чтобы в короткий срок найти технологические решения их изготовки. Решить эту задачу помогло мое увлечение поэзией. Мне нужно было обрести чувство материала. Наблюдая за его поведением, я как бы клал себя на его место и начинал почти физически ощущать, где ему тяжело и почему тяжело.

В Новосибирске я познакомился с профессиональными писателями. Там, в заводской многотиражке, я тоже напечатал стихи, поэтому при встрече с писательницей Анной Герман меня пригласили почитать свои стихи. В то время моя поэтическая программа выражалась формулой: "Мне фокус совмещенья дан - реалистическая ясность и романтический туман". Писательница нашла, что в моих стихах туману все-таки больше, чем ясности, но стихи взяла с собой и передала их поэтессе Елизавете Стюарт, встретившей меня потом насмешливо и дружелюбно. В моих творениях она нашла много погрешностей, несовместимостей реального с идеальным, но в то же время всегда подчеркивала наличие таланта. Поздней она выразила это с изящной язвительностью: "Вася, вы - ангел, у которого одно крыло всегда в грязи". В смысле построчной работы над стихом Елизавета Константиновна дала мне очень много. Она умела замечать и удивляться, когда вместо двух слабых строк, темнивших стихи, я вписывал строчки, на ее взгляд, даже лучше самой основы.

К тому же времени относится и мое знакомство с Александром Смердовым, Афанасием Коптеловым, Саввой Кожевниковым, Ильей Мухачевым. Мало-помалу они начали привлекать меня к работе отделения Союза писателей. Вхождение в литературную жизнь началось с обсуждения моих стихов, на котором кроме писателей-сибиряков присутствовали москвичи, ленинградцы и даже харьковчане, жившие тогда в Новосибирске. На фоне многих выступлений, резких и снисходительных, мне запомнилась колоритная речь Ильи Михайловича Мухачева, долго молчавшего в углу. Один его глаз,

окруженный сеточкой морщинок, упрямо глядел на меня, а другой - куда-то в сторону.

- Вот ведь, братцы мои! - начал он, раздувая ноздри. - Вы говорите о влиянии Блока. Что же тут плохого? Даже вошь имеет своих родителей...

Поздней мы сошлись с ним поближе. Строгий, даже ревнивый, при встречах он всегда интересовался моими новыми стихами, но не любил слушать их на людях, а отведет куда-нибудь в сторону и слушает. Оценок Илья Михайлович не давал, часто уходил, ничего не сказав, чуть ли не гордый от того, что-де такой молодой, а лучше его написать не может. Стойкий, в белой вышитой рубашке, заправленной в брюки, в легкой сетчатой шляпе, старый поэт уходил, оставляя меня перед непрступной крепостью своих стихов:

Товарищ! Возьмите, проверьте
Вот этот цветок голубой,
Быть может, в нем наше бессмертье
Горит неоткрытой звездой.

В его отношениях со мной была своя педагогика. Лишь через несколько лет он позволил себе говорить мне похвальные слова, притом в такой категории, которая вместо простой радости налагала груз новой ответственности. В эти минуты дефект его глаза был особенно выразительным: одним глазом глядел на меня и говорил хорошие слова, а другим обращался еще к какому-то высокому свидетелю. Как бы напутствуя меня в начале пути, в 1946 году Илья Михайлович посвятил мне удивительно прозрачное лирическое стихотворение с тонким педагогическим подтекстом:

Хмель золотист от стебелька до завитка,
Красны рябины гроздья, зелен луг,
Свой аромат у каждого цветка...
В природе все неповторимо, друг,
И потому для сердца так любима
Та песня, что ни в чем не повторима.

Известный поэт поддержал меня в трудное переходное время.

В тот год у меня появилась надежда перевестись с заочного отделения Литературного института на очное, но, пока я хлопотал об увольнении, такая возможность была утрачена. А хлопоты об увольнении были долгими Из-за приказа, который, несмотря на окончание войны, строго предписывал директорам заводов сохранять кадры специалистов.. По техническому образованию и по статусу работы я подпадал под этот приказ. Наконец, уволившись, я оказался слишком свободным художником. Нужно было зарабатывать на хлеб не стихами - какое там! - а разной литературной работой. Мне предложили разгрузить огромный завал рукописей, скопившихся в издательстве. Среди них были романы, пьесы, поэмы, стихи. За каждое письмо, что по стихам, что по роману, мне решили платить по пятерке (старыми). Как голодный волк, я набросился на творения неведомых мне творцов. За месяц написал около двухсот писем, что дало мне значительно меньше моего заводского оклада. Уже тогда я понял, как трудно дается литературный хлеб. Мало того, двести писем, отосланных по разным адресам, как бумеранги, стали возвращаться новыми рукописями, ехидными письмами, - дескать, интересно, что вы сами пишете. Некоторые же вообразили, что я человек с достатком и могу денежно поддержать будущего гения, пока тот не напишет свою поэму.

Несмотря на этот смешной и печальный урок, я и в Москве, будучи уже студентом Литературного института, не гнушался такой работы. В одно время мне довелось написать много писем по журналу "Крестьянка" и "Литературной газете". От таких писем для меня была, конечно, польза в смысле практики, но радости было мало. Меня утешал только один исторический пример. В письмах Чернышевского к сыну я как-то прочитал интересное признание. Сын, видимо, пожаловался, что не может найти по себе дорогу. На это Чернышевский ответил, что ему приходилось писать рецензии на журналы дамских мод, хотя в дамских модах он ничего не понимал и при этом считал, что честно зарабатывал свой хлеб.

Свои сочинения - стихи и очерки - я начал печатать еще в Новосибирске, в журнале "Сибирские огни". Для нас, тогда молодых, большое значение имел сборничек "Родина", изданный в 1944 году. В нем мы были представлены небольшими циклами стихов. А в 1947 году вышла моя первая книжица "Лирическая трилогия", состоявшая

из трех небольших поэм. Вторая же книга стихов появилась только через восемь лет. На это были свои грустные причины. На Первом совещании молодых писателей я был хорошо принят семинаром Николая Асеева. Тогда же познакомился с Александром Твардовским, который, прочитав "Марьевскую летопись", сказал: "Отрадно". Но все же, когда вещь была напечатана в "Сибирских огнях", в областной газете появилась большая статья, в которой ставился риторический вопрос: "Куда нас ведет поэт Василий Федоров?" Критик находил, что мое представление о послевоенной деревне не очень-то передовое. Хоть я и понимал, что критика моей вещи была дежурной, но вопрос, куда я веду, был задан, и на него нужно было отвечать, а на это потребовалось время. Да и "Лирическая трилогия" вызвала не очень лестные суждения у критики. Меня обвиняли в эстетстве, не свойственном-де заводскому человеку, в гипертрофическом чувстве любви и прочем. В этих условиях мне и самому не очень-то хотелось выступать с новой книгой. От "Лирической трилогии" я отошел, а в новом материале еще не укрепился.

Должен сказать, что критические замечания в мой адрес не очень отразились на моем самочувствии. В это время меня охотно перевели с заочного на очное отделение Литературного института. Мое имя начали упоминать в столичных газетах. А вот по окончании института при оценке моего творчества мне отказали в дипломе. Правда, вскоре без моей просьбы поставили мне тройку за творчество и диплом выдали, не столь торжественно, как другим, но выдали.

Поздней, оглядываясь на то время, увидел несколько причин для объяснения истории с дипломом. Одной из причин было мое неумение распорядиться стихами при составлении диплома. Многое из того, что в моем двухтомном издании составило три первых раздела, тогда не было напечатано, а потому и не было включено в диплом. Журналы, мягко говоря, не очень охотно печатали мои стихи и, возвращая, создавали вокруг них атмосферу сомнительности, которая сбивала с толку и меня, и моих оценщиков. Кроме того, среди последних были и такие, которые не принимали мои стихи из-за нетерпимости к другой поэтической вере, то есть соображений чисто групповых. Не буду называть имена принявших участие в этом недобром для меня деле, из давнего презрения к литературной суполке, в которую, к сожалению, часто втягиваются люди с талантом. Меня всегда поражала

близорукость таких людей, пытающихся обмануть общественное мнение, но в конечном счете обманывающих самих себя. У них в таких случаях неизбежна душевная коррозия - опаснейшая из болезней писателя.

Было о чем поразмыслить. На это ушло несколько лет. Стихи я по-прежнему писал, но в редакции не показывал. Потом эти стихи, как и те, что лежали в бочке, печатались в разных книгах, таких, как "Лесные родники" (1955), "Марьевские звезды" 1955), "Дикий мед" (1958). Это, вносит некоторую путаницу в хронологический строй моих произведений. Например, стихотворение "Другу" было написано в 1948 году, а напечатано через двенадцать лет в книге "Не левее сердца" (1960). То же самое произошло и со многими другими вещами.

Молодые поэты бывают нетерпеливыми: написал - и скорей в редакцию. Зрелые сознательно сдерживают себя: написал - пусть полежит... Почему я не сразу напечатал то, что можно было напечатать, то есть когда уже предоставилась возможность? Если стихи лежат долго, их должна призвать жизнь. Они печатались по времени призыва: десять лет назад - одни, пять лет назад - другие. "Притча", прождав четверть века, напечатана совсем недавно. Мертвых жизнь не призывает.

В отличие от стихов, мои прозаические опыты почти все газеты и журналы, с которыми я имел дело, печатали охотно. Это были очерки. Они появлялись в "Сибирских огнях" и "Новом мире". Долгое время я сотрудничал в "Крестьянке", "Смене", "Огоньке". Особенно памятна работа в последнем журнале. Здесь из нас, выпускников Литературного института, сколотилась крепкая группа очеркистов, состоящая из В. Солоухина, В. Тендрякова, И. Кобзева и меня, которую в редакции шутливо называли "автобусом гениев". Все мы тяготели к очерку художественному, а в редакции с нас требовали тогда точной информации. Помню, из-за этого у меня возник конфликт с директором Ковровского экскаваторного завода. Обидевшись на то, что в своем очерке я кого-то переоценил, кому-то чего-то недодал, он приспал в редакцию письмо, в котором уличал меня в неточном отображении расхода цветных металлов. Речь шла о двухстах - трехстах граммах на машину. Чтобы оправдаться перед редактором, мне пришлось прибегнуть к спасительной фразе Пушкина: "Над вымыслом слезами обольюсь".

Кроме журнальных очерков, несколько документальных вещей у меня вышло отдельными книжками в Новосибирске и Москве. В 1955 году в издательстве "Молодая гвардия" появилась моя повесть "Добровольцы", уже не связанная строгой документальностью. Для поэта работа очеркиста очень полезна. Мне она дала материал для многих стихов и поэм. Поэту не следует гнушаться и критических статей, ибо и проза, и поэзия, и критика - лишь ветви единого дерева, называемого литературой.

Несколько слов о поэмах. Начиная с "Лирической трилогии", в них, на мой взгляд, есть своя логика развития, видимые и невидимые связи между собой, как в едином организме. Несмотря на то, что поздняя манера письма заметно отличается от той, в которой написана "Лирическая трилогия", в ней были заложены многие темы последующих произведений: "Марьевская летопись", "Далекая", "Проданная Венера", даже "Бетховен", не говоря уже о "Седьмом небе", где читатель обнаружит прямую связь с "Трилогией".

Писать поэмы я начал так же рано, как и стихи. Прежде чем напечататься, мне пришлось испытать несколько поучительных неудач. В нашей деревне по курным баням жила прившая чувашка Кирсанова с сыном Яшкой, моим ровесником. У него была шапка огненно-рыжих кудрей. По бедности он стал мелким деревенским воришкой: воровал молоко и хлеб. Из дружбы к нему я написал дидактическую поэму, в которой призывал Яшку к добродетельной жизни. Выслушав мою поэму, Яшка почесался и сказал: "Пойдем играть в бабки". Воровать он не перестал. Даже больше, с возрастом перешел на более крупные кражи, за что его где-то убили. Памятая о судьбе Яшки Кирсанова, я навсегда отказался от дидактических поэм. Поздней мной была написана романтическая поэма "Владимир и Людмила", Он - поэт, она - цыганка, отбившаяся от табора.

Из этой поэмы до сих пор вспоминаются многие стихи, например:

Цыганка, пой,
Цыганка, пой,
Меня волнует голос твой,
Юная цыганка.
Но ты стонешь,
Плачешь ты,

Слезы льются на цветы
У тебя, цыганка.

В то время в деревне работали два молодых учителя: Сергей Якубович и Павел Крапива. Пришел к ним, прочитал поэму. Она им понравилась, но оба нашли ее незаконченной. Сергей Якубович посоветовал, чтобы я свою диковатую цыганку “привел” к ним в школу. Так я и поступил, но поэма развалилась. У поэмы, как впрочем и у лирического стихотворения, должны быть внутренние законы развития. У поэмы они непреложней. Всякие привнесения разрушают ее. В этом мне приходилось убеждаться не раз. Материал должен обладать поэтической совместимостью.

Между прочим, вспоминая теперь ранние стихи, даже детские, с удивлением замечаю, что в них почти нет ритмических сбивов. И поздняя моя работа над стихом, видимо, шла не по линии овладения формой, а скорее по линии содержания, достижения свободы выражения мыслей и чувств, естественности интонации, которую я ценою в стихе более всего. Пока что из критиков никто не заметил, что в “Седьмом небе” есть места, где вписаны стихи юных лет, хотя мог бы, конечно, сочинить новые. Поскольку поэма написана о том времени, то вписанные стихи тех лет стали для меня критерием подлинности настроения, иногда мрачного.

Кто страхи превратил в закон?
Кто мою веру вынул вон?
Кто зло внушил:
Казнись, Василий!
Не знаешь?
Горю не помочь?
Так для чего ж
Мне эта ночь,
Перед которой
Я бессилен?!

Захватил себя на мысли: не слишком ли акцентировал на трудностях своего пути в поэзию, не слишком ли подробно описывал неудачи? В этом есть смысл. Во-первых, неудачи всегда поучительны, а трудности

в поэтическом деле закономерны. Как сказано в том же “Седьмом небе”: “У счастья не бывает опыта, лишь у несчастья опыт есть”. Мне приходилось часто получать письма начинающих с таким наивным содержанием: “Пишу уже целый год, а меня все еще не печатают”. Вторых, писание стихов для поэта является фактом биографии, а всякий биографический опыт помогает лучше понять поэта. В своем автобиографическом очерке я касался в основном лишь тех моментов, которые менее всего известны читателю. Что же касается самих произведений и обстоятельств их написания, то хочу коротко остановиться лишь на книге стихов “Третий петух” и поэме “Седьмое небо”.

Книга “Третий петух” была написана быстро, менее чем за полгода, что для меня - случай редкий. Обычно мои прежние книги складывались в более продолжительный срок. Просто к тому времени накопилось слишком много материала, который вдруг настоятельно потребовал художественного оформления. Как и прежде, я не писал книгу, а работал только над стихами в отдельности. Книга получилась сама собой и, на мой взгляд, наиболее цельной. В ней заметно звучат тревожные ноты за нынешнее состояние природы и человека в ней, находящихся, по-моему, в опасной дисгармонии.

Природа и сама
Стремится
К совершенству,
Не мучайте ее,
А помогайте ей!

“Седьмое небо”, наоборот, писалось около девяти лет. Обдумывая общую архитектуру вещи, я использовал предыдущий, не очень удачный опыт работы над большой поэмой. Крупные произведения с одним общим сюжетом, как правило, бывают плохо организованы, их сюжетные линии, если они есть, чаще всего затухают и теряются уже где-то в середине. Такие поэмы похожи на длинную кишку, нашпигованную строчками, между которыми часто нет внутренней связи. Поэтому я писал каждую главу по законам своих небольших поэм, связанных между собой не только судьбой главного ее героя Василия Горина, но и логикой развития самого материала, его временными особенностями. Начатая в романтическом духе, что соответствовало состоянию героя - студента, учлета аэроклуба,

влюбленного в Марьяну, в новых, заводских, условиях поэма должна была все больше вбирать в себя реалистические черты. Новым романтическим взлетом в главе “Земля и Вега”, где герой со своими неудачами попадает на звезду, мне хотелось ярче осветить и прошлые и будущие испытания Василия Горина. Для понимания нравственного состояния героя, несмотря на фантастичность обстановки, эта глава поэмы, можно сказать, коренная и главная.

Характерная деталь. Когда “Земля и Вега” была уже набрана в “Огоньке”, произошло событие не менее фантастическое, чем в этой главе: совершил космический полет Юрий Гагарин. Взяв из редакции на день главу, я дописал в ней новый конец, который стал естественным продолжением сюжета. Так жизнь толкала и корректировала мою работу. Она была в самом разгаре; и теперь я уже был уверен, что закончу ее. Вот почему в обращении к Гагарину я вопреки привычке молчать о планах не постыдился пообещать:

Я расскажу иными днями
В словах по сердцу и уму,
Какими трудными путями
Мы шли к полету твоему.

Да, мне хотелось, чтобы поэма “Седьмое небо” стала поэмой о наших трудных путях. Насколько мне это удалось, судить не мне. Помню, когда еще в рукописи я прочел “Землю и Вегу” в Ленинграде, любимый мной поэт Александр Прокофьев даже забеспокоился: не хочу ли я в своей поэзии отойти от земных дел? Потом, когда я “вернулся” на землю и написал новые главы, старик успокоился. Но вот прошло еще несколько лет, и все мы видим, что штурм космоса становится все решительней и, видимо, для счастья земли необходимым. При этом становится виднее, “что платим мы земною платой за тяготенье к высоте”. Цена платы все увеличивается, тем не менее хочется закончить свой автобиографический очерк самыми последними строчками из поэмы “Седьмое небо”:

Читатель!
Все - таки вокруг
Людей крылатых
Стало больше!



Другу

Не удивляйся,
Что умреши.
Дивись тому,
Что ты живешь.

Дивись тому,
Что к сердцу близко
Однажды ночью голубой
Горячая упала искра
И стала на земле тобой.

Не скифом
И не печенегом,
Минуя сотни скорбных вех,
Ты сразу гордым человеком
Явился
В наши двадцатый век.

Мы - люди.
Нас легко обидеть.
Но ты подумал ли хоть раз,
Что я бы мог и не увидеть,
Мой друг,
Твоих печальных глаз?

*Нас, гордых,
Жизнь не стала нежить,
Нам горький выдался посол.
Мы люди,
Нас легко утешить
Напоминаньем больших зол.*

*В любви,
В крови,
В огне боренья,
Со славой тех, кто первым пал,
Сменялись,
Гибли поколенья
За это все, что ты застал.*

*Все чудо:
Солнце, весны, зимы,
И звезды, и трава, и лес.
Все чудо!
И глаза любимой -
Две тайны
Двух земных чудес.*

*Да будь я камнем от рожденья,
Я б в эсажде все одолевать
Прошел все муки превращенья,
Чтоб только
Человеком стать.*

*Не удивляйся,
Что умрешь.
Дивись тому,
Что ты живешь.*



ПРОРОЧЕСКОЕ ПРОЗРЕНИЕ

К 80 - летию Поэта

*Лицом к лицу
Лица не увидать,
Большое видится на расстоянье.*

Сергей Есенин.

В феврале 1998 года исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося поэта России Василия Дмитриевича Федорова. Ныне, "на расстоянии", особенно очевидно, сколь велик и прекрасен духовный вклад поэта-пророка в сокровищницу отечественной культуры. Истоки творчества поэзии Василия Федорова восходят к глубинам народной жизни, особенно его родной Сибири, которая подарила России этого самобытнейше-талантливого, дерзкого, мудрого чародея Слова. Его сердце, душа, ум - прозрели, прочувствовали и "мировые потрясения" и "горе одного двора". Василий Федоров наследовал, оберег, обогатил и развил в своих крылатых стихах и трагедийных поэмах от "Проданной Венеры" до "Бетховена", "Седьмого неба", - немеркнувшие традиции русской классической словесности от "Слова о полку Игореве", от Пушкина, Лермонтова, Некрасова до Блока, Маяковского, Есенина, Твардовского. В наши дни становится очевидной та истина, что богатейшее художественное наследие Василия Федорова занимает достойное место среди великанов русской поэзии.

Многие стихи и поэмы Василия Федорова, опубликованные им несколько десятилетий назад, сегодня еще более современны. Кажется, что родились они в сердце поэта-пророка в наше горько-трагическое время мировых потрясений и катаклизмов.

"Не ворите старые могилы, они чреваты новою бедой", - понародному мудро и дальновидно упреждал нас всех поэт. Не прислушались к его пророческому гласу. Наворошили с хрущевских времен так, что дальше ехать некуда!

Спросите прежде всего у реки, "куда б она сама хотела повернуть". Не спрашивали в обуяншей нас гордыне и безоглядного

“покорения” природы. И доповорачивались, допокорялись!

“Семья как государство в государстве”. Храните семейный лад, красоту вашей любви. “По тому, как людям любится, здоровье мира узнают”. Мы же вместо этого выпустили из бутылки масскультуры джина секса, порнографии, наркомании. Особенно “преуспевают” в этом в наши дни средства массовой информации. Наше “свободное” телевидение и “свободное” “новое кино” прилагают бешеные усилия, чтобы окончательно посадить народ, особенно юные души, на “иглу” бездуховности, бесстыдства и содома...

Василий Федоров был убежден: поэт - это организатор гармонии, а гармония - это всегда красота. И еще: “Идея красоты - это идея правды. Ложное не может быть красивым”.

Как и его великий предшественник - Федор Михайлович Достоевский, Василий Федоров, более чем кто-либо из его современников, и не только поэтов, по-своему верил самозабвенно, что красота спасет мир.

Стихи поэта лучше всего говорят об этом. Он стремился в них “раскрыть все виды красоты”.

Едва ли не более всего ум и сердце Василия Федорова неотступно тревожила та трагическая историческая реальность, о которой он поведал в своей классической поэме “Проданная Венера”: “За красоту людей живущих, за красоту времен грядущих мы заплатили красотой”.

Сказано это было в 1956 году! В этих четырех строках все: и наша трагедия, и наш героизм, подвиг народа-первоходца, прокладывающего человечеству путь в будущее. Непомерно велика цена, велики жертвы! Способен на это лишь народ, озабоченный судьбой других народов, всего человечества. Дальновиден, дальноворок был сибирский поэт-мудрец, поэт-философ.

Еще одна неотступная дума тревожит поэта, его душу и ум. Как бы темные, сатанинские силы не одолели, не “захватили” народное сердце и сердце каждого из его соотечественников. Сегодня воистину упреждающе-пророчески звучит стихотворение 1955 года “Сердца”: “Все испытав, мы знаем сами, что в дни психических атак сердца, не занятые нами, не мешкая займет наш враг. Займет, сводя все те же счеты, займет, засядет нас разя... Сердца! Да это же высоты, которых отдавать нельзя”.

Как это ни горько осознавать, но не вняли мы мудрому голосу поэта. И не уберегли наши сердца от многочисленных недругов нашего отечества. Будем надеяться, что это “затмение” ума и сердца - пройдет. А полная любви и веры в свой народ, Россию, поэзия Василия Федорова - будет и впредь для всех нас дорогой и близкой надеждой.

Да, Василий Федоров - Личность. Яркая. Самобытная. Дерзкая. С русским, по - сибирски широким, задушевным, прямым характером. Личность - притягивающая к себе неодолимо. Его стихи - как память века.

Для пишущего эти строки Василий Дмитриевич Федоров был и останется навсегда не только одним из ярчайших и достойнейших представителей русской поэзии XX века, ее бесспорным классиком, но, к великому счастью, светлым, надежным другом - единодумом и соратником по многолетней общей борьбе за возрождение иувековечивание памяти великого Есенина, бесспорно одного из самых любимых и близких ему по духу поэтов. “Юрию Львовичу Прокушеву с благодарностью за С.Есенина. Вас.Федоров, 19.VI.59”. С таким дарственным автографом подарил он мне книгу поэм “Белая роща” сорок лет тому назад. В дальнейшем Василий Дмитриевич подарил мне в разные годы более двух десятков своих книг. Некоторые из них мы выпустили у нас в издательстве “Современник”, в том числе поэму “Женитьба Дон-Жуана”, которая трудно проходила в те годы через цензуру. После выхода поэмы Василий Дмитриевич подарил мне с таким шутливым автографом: “Дорогой Юрий Львович! Мои стихи давно знают тебя дружески, а о моем Дон-Жуане и говорить нечего! Однажды он пришел ко мне и сказал: “Пиши! Юра напечатает! “ 11 янв. 78 Вас.Федоров”.

Но и более полное, пятитомное Собрание сочинений Василия Федорова также вышло в “Современнике”. Задумано оно было поэтом при жизни. Вышло, к сожалению, уже после его смерти.

Читая и перечитывая стихи, поэмы, прозу Василия Федорова, неизменно испытываешь чувство эмоционального потрясения. Как глубоко, проницательно - мудро, во всей образной плоти поэт ощущал, взвешивал на весах Истории и воплощал в стихах свое время,

окружающий его мир и вместе с тем, - тревожное будущее всего человечества.

Время село на плечи мои,
Как живое, в извечном полете.

Было сказано исповедально Василием Федоровым на излете его земного пути. Он умер в апреле 1984 года, не успев завершить многое из задуманного им.

Сегодня особенно очевидно, что неожиданная тогда для всех нас смерть Василия Дмитриевича Федорова стала подлинным потрясением и невосполнимой утратой для честной, думающей России. Прежде всего для тех, кто многие годы знал поэта лично, часто встречался с ним, был его близким другом. В те скорбные дни среди публикаций и откликов на смерть Василия Дмитриевича было напечатано написанное мной: "Слово о друге - Поэт России и мира". Привожу его здесь полностью без каких - либо купюр и сокращений. В какой-то степени это дает представление о том, каким виделся Василий Дмитриевич при жизни его друзьям и близким, а главное - какое место тогда он уже занимал в русской поэзии и духовной жизни народа и какое по праву должен занимать в наши дни, наше время." Горе почти всегда приходит к нам неожиданно, - писал я в те дни - 19 апреля 1984 года... С утра за столом не работает. Нет полетности. Что это: обычная усталость, прегрузка, а возможно, предчувствие какой - то беды... Откуда такое состояние, что не находишь себе места? Кажется, нет для этого особых причин... В доме покой и тишина. Неожиданно раздается долгий тревожный телефонный звонок. В трубке взволнованный голос поэта Алексея Менькова из Московской организации Союза писателей.

- Простите, беспокою вас, зная вашу многолетнюю дружбу с Василием Дмитриевичем Федоровым.

- Что с ним? Он же на днях вылетел на Кавказ, подлечиться, поработать над новыми стихами.

Трубка молчит. Пауза затягивается. Растет тревога.

- Что, что случилось с Василием Дмитриевичем?

- Непоправимая катастрофа. Василий Дмитриевич умер сегодня

в Ессентуках...

Не могу произнести ни единого слова. Щемящая боль полоснула по сердцу, сковала душу.

Невозможно представить, что больше не будет ходить по русской земле этот светлый, благороднейший человек; что перестало биться сердце поэта, от которого всем нам долгие годы было так душевно тепло!

Невозможно поверить в эту смерть!

Еще совсем недавно, перед отъездом Василия Дмитриевича на юг, мы встречались с ним неоднократно. Я был у него дома, на Кутузовском проспекте, был на даче - в Переделкине, вместе с работниками телевидения мы снимали большую передачу о Федорове, снимали весь день. Несколько часов кряду шел откровеннейший, во многом поучительный для всех присутствующих разговор о делах литературных и о жизни, о книгах Василия Дмитриевича, новых его стихах и прозе - рассказах из задуманного им цикла "Сны поэта".

Кто встречался с Василием Дмитриевичем, хорошо знает, какой он был живой и мудрый собеседник. Каждое общение с ним, его стихами обогащало нравственно, духовно. Он - Личность. Яркая. Самобытная. Дерзкая. С русским, по-сибирски широким, задушевным, прямым характером, когда надо, весьма крутым по отношению к злу и неправде. Личность, притягивающая к себе неодолимо.

Я не однажды замечал это. Телевизионщики, снимавшие в тот день Василия Федорова, были покорены его естественностью, простотой, скромностью, интеллигентностью и конечно же мудростью суждений, философской глубиной, эмоциональной энергией, заключенной в его стихах и поэмах...

"Да Винчи говорил: когда вы захотите какой-нибудь реке дать новый, лучший путь, вы как бы у самой реки спросите, куда б она сама хотела повернуть. Мысль Леонардо! Обновись и шествуй, и вечно торжествуй на родине моей. Природа и сама стремится к совершенству. Не мучайте ее, а помогайте ей!"

Стихам этим - скоро четверть века, а кажется, что написаны они в наши дни.

Как это мудро, справедливо, народно: не мучайте, а помогайте! Иначе в будущем произойдет самое страшное и непоправимое:

не только окончательно разрушится гармония природы, но в конце концов может погибнуть и само человечество. Мысль эта с особой полемической заостренностью выражена в знаменитом стихотворении Василия Федорова - "Пророчество": "Меня охватывает дрожь, когда смотрю в провал заклятый. О человечество, куда ты, куда ты, милое, идешь? Земли не вечна благодать, когда далекого потомка ты пустишь по миру с котомкой, ей будет нечего подать".

Пожалуй, тогда, в начале шестидесятых годов, впервые в нашей поэзии с такой обжигающей душу правдой и гражданской бескомпромиссностью говорилось об одной из острейших и злободневнейших проблем нашего века: говорилось до принятия исторических законов об охране природы нашим социалистическим государством, до того, как наиболее дальновидные умы человечества начали объединять свои усилия, чтобы сохранить природу нашей планеты.

Вечером того же дня мы долго беседовали по телефону.

- Очевидно, изредка это надо делать, - заметил Василий Дмитриевич, который всегда был чужд эстрадной суеты и телеажиотажа, характерного для иных стихотворцев. К тому же, если быть откровенным до конца, радио, телевидение, критика не очень-то "допекали" своим "вниманием" Василия Федорова, вплоть до его шестидесятилетия. Пусть это останется на совести тех, кто это должен был делать.

На следующий день после телесъемки Василий Дмитриевич записывался в "Мелодии" на пластинку. Первую в его жизни. Позвонил редактор. Радостный. Сказал, что запись - отличная.

- Как читал Василий Дмитриевич! Какие стихи!

Кто мог знать, что этой записи суждено было стать последней - завещательной. Хорошо, что она состоялась.

Думал ли обо всем этом Василий Дмитриевич, собираясь на Кавказ? Вряд ли. А возможно, было и у него интуитивное предчувствие надвигающегося конца. Душа истинного поэта всегда обнажена, как самый чувствительный радар. Кто знает... "Я уже не с вами, я уже не тут, я в садах, где птицы райские поют..."

- Эти строчки Василий Дмитриевич прочитал нам, родным и близким, в один из последних дней, перед своим отъездом на юг, -

рассказывала мне после похорон поэта его жена Лариса Федоровна.

- Мы как-то сразу попротихли... Конечно, - продолжала она, - такие стихи родились у Василия Дмитриевича не случайно. Он ведь лучше всех нас чувствовал и понимал, что близок к завершению его земной путь.

"Если спросят, что так мало жил я, ты в своем ответе не тай то, что я страдания чужие принимал все время как свои".

Взлетной полосой в мир поэзии и вечной красоты для Василия Федорова счастливо стала затерявшаяся в сибирских далях деревня Марьевка. "Я даже не представлял, - скажет он однажды, - что можно было жить где-то, кроме Марьевки".

Последние пятнадцать лет он каждое лето жил на родине. Отсюда с особой ясностью открывался ему весь мир: "Одной цепи я вижу звенья, сработанные не вчера: и мировые потрясенья, и горе одного двора"

Многое должен поэт увидеть, почувствовать, передумать, а главное - пережить вместе с народом и радости и горе, чтобы в его сердце родились такие обжигающие душу строки.

Случается, поэт пишет о горе одного двора, не касаясь при этом "мировых потрясений". Таким стихам не хватает масштабности чувств, философского осмысления мира. В лучшем случае они - лишь полуправда.

Случается наоборот: увлеченный вселенским размахом, поэт теряет из виду "горе одного двора", теряет человека. Такие стихи, как правило, абстрактно рассудочны и риторичны.

По-настоящему трагедийна, а значит, и глубоко правдива, гуманна, патриотична лишь та поэзия, которая стремится к философскому осмыслению коренных социальных и нравственных конфликтов своей эпохи, к показу неразрывного единства судьбы народной и судьбы человеческой.

Таковы стихи и поэмы великого русского советского поэта Василия Дмитриевича Федорова.

Он был убежден, что "поэт не может быть счастливым в тревожные для мира дни", что "все несовершенство мира лежит на совести его".

Как прекрасно, что эти высокие слова у Василия Дмитриевича не расходились с его делами, творчеством, судьбой, его стихами и

поэмами, пусть то “Золотая жила” или “Белая роща”, “Проданная Венера” или “Бетховен”, “Седьмое небо” или “Женитьба Дон - Жуана”. Душа истинного поэта всегда напряжена, всегда испытывает колоссальные нравственные, моральные, эмоциональные перегрузки. Своими пророческими стихами такой поэт вызывает “огонь на себя”, вызывает ради истины, ради будущего.

“Наше время такое: живем от борьбы до борьбы. Мы не знаем покоя - то в поту, то в крови наши лбы. Ну, а если нам до ста не придется дожить, значит, было непросто в мире первыми быть”.

Василий Федоров постоянно, неудержимо и смело бросал себя в крутой водоворот народной жизни, идя навстречу “святой трагедии века” как высшей истине, “добыча” которой имела для него главный смысл творчества и бытия: “Ты, критик, как бы мы ни пели, не говори, впадая в страх, что наши песни не созрели судить о горьких временах. И не советуй нашим лирам, воспевшим честные бои, отдать трагедии свои иным векам, иным Шекспирам. Над нами, говоришь, не каплет, повергнут, говоришь, Макбет... Но жив народ - извечный Гамлет. Быть иль не быть? Подай ответ”.

Трагедия - это всегда высшая правда в искусстве, высший взлет человеческого духа, высшая народность.

Такова трагедийность “Слова о Полку Игореве”, трагедийность “Бориса Годунова” и “Медного всадника” Пушкина, “Демона” и “Песни про купца Калашникова” Лермонтова, трагедийность “Русских женщин” и “Железной дороги” Некрасова, “На поле Куликовом” и “Двенадцати” Блока; такова трагедийность “Облака в штанах” и “Хорошо!” Маяковского, “Черного человека” и “Анны Снегиной” Есенина.

Трагедийность действительности диктует и меру личной ответственности художника перед своим временем, народом.

Василий Федоров отлично осознавал, что “не всякое нагнетание ужасов есть трагедия”. Останавливаясь “на понятии трагического в жизни и литературе, он неоднократно отмечал, что “не надо пугаться грустных, а порой и трагических стихов. Трагедия - удел лучших, передовых. Она не помешает нашему оптимизму. Мы оптимисты, ибо мыслим исторически”.

Кажется, что это было совсем недавно.

Осенью восемьдесят второго года читал в журнале “Москва”

прозу Василия Дмитриевича - его "Сны поэта".

Три новых рассказа из задуманной им книги: "С Пушкиным на балу", "Черная прядка букета" и "Катализм".

Сколько в них мудрости, сколько юмора, характерной федоровской иронии, особенно в "Сне", где все происходит в родной деревне поэта - Марьевке. Самое удивительное, что "Сны..." эти воспринимаешь как реальнейшую реальность. Между фантазией снов и картинами живой жизни, окружающей поэта наяву, вы не чувствуете никаких соединительных швов, столь органично и естественно они "стыкаются", переходя из одного качества в другое. Стремление Василия Федорова проникнуть как бы по ту сторону нашего сознания и - более - нашего земного бытия потрясает своей дерзкой доказательностью и философским прозрением. Естественно, что, выстраивая свои "Сны...", Василий Федоров учитывал многовековой опыт народной фантазии, более того, он смело опирался на этот опыт, на мир народной сказки, мудрость притчи. Однако он был самостоятелен и оригинален. До Василия Федорова таких "Снов поэта" в литературе не было.

Всего шесть журнальных страниц - такова "площадь", занимаемая одним из "Снов..." - "Катализмом". Казалось бы, на такой ограниченной "площади" трудно, а то и просто невозможно развернуть эмоционально зrimые, впечатляющие, реальные картины гибели Земли, гибели Человека и, вместе с тем, указать реальные силы и пути предотвращения возможной мировой катастрофы - того всемирного "катализма", угрожающего в наш атомный век жутким реальным кошмаром. Повторю, казалось бы, на такой "площади" это сделать невозможно. Но безграничны возможности слова, если перед нами подлинный талант.

"Сны поэта" еще раз убеждают нас в этом. В нашей современной литературе, включая и научно - фантастическую, трудно найти столь афористически емкое, образное описание картин возможного "摧ления мира", особенно в плане зrimого показа "распада" нравственных основ цивилизации и, вместе с тем, неистовой веры в светлый идеал человеческого разума, имя которому - коммунизм. Когда читаешь "Катализмы", то ясно видишь, что тревожит истинно великого поэта, чем он прежде всего озабочен.

“Катализм” невозможно пересказать. Это эпическая, трагическая, оптимистическая поэзия в прозе. Ее надо читать и перечитывать, каждый раз открывая для себя что-то новое в этой, не побоимся сказать, гениальной вещи.

Василий Федоров все время держит нас, читателей, в напряжении; фабула его “Снов...” насыщена острыми, неожиданными конфликтными ситуациями, интригующими поворотами сюжета... Давно уже не доводилось читать такой очаровательной прозы, по-пушкински богатой в слове, предельно естественной в своей “нагой простоте” и “легкости”. Уже сегодня “Сны поэта” в нашей словесности, бесспорно, явление примечательное и во многом - уникальное.

Я коснулся лишь одного “Сна...”, а другой - “С Пушкиным на балу”. Какое проникновение в эпоху поэта, его окружение, наконец его быт, в отдельные штрихи и, казалось бы, незначительные, случайные детали этого великого светского бала. А сам образ Пушкина?! Насколько он естествен и непосредствен, как живой! Превосходна в “Сне...” шумная, праздничная картина бала, где встречаются два поэта. Кажется, что ты сам присутствуешь на этом балу.

Когда читал федоровский “Сон...” “С Пушкиным на балу”, невольно думал, как хорошо было бы, если бы Василий Дмитриевич смог вернуться к пушкинской теме. Какую преотличную повесть, а то, глядишь, и роман о великом поэте мог бы он создать. Ведь Пушкин так ему близок. Он так тонко чувствует его душу, ощущает пушкинский ум и сердце, так глубоко “сидит” в пушкинской эпохе. Наконец, будучи сам выдающимся поэтом России, Василий Дмитриевич острее и полнее других мог бы рассказать о трагической судьбе великого Пушкина, не склонившего гордой головы перед царем, Пушкина - пророка России.

Спустя некоторое время, при встрече, я попытался “уговорить” Василия Дмитриевича продолжить то ли в “Снах...”, то ли в другой прозаической форме его “встречи” с Пушкиным.

После довольно длительного молчания он заметил:

“Возможно, ты и прав. Надо подумать... Хотя о Пушкине так много написано.”

Не только поэмы и стихи, но и проза Василия Дмитриевича

прозу Василия Дмитриевича - его "Сны поэта".

Три новых рассказа из задуманной им книги: "С Пушкиным на балу", "Черная прядка букета" и "Катализм".

Сколько в них мудрости, сколько юмора, характерной федоровской иронии, особенно в "Сне", где все происходит в родной деревне поэта - Марьевке. Самое удивительное, что "Сны..." эти воспринимаешь как реальнейшую реальность. Между фантазией снов и картинами живой жизни, окружающей поэта наяву, вы не чувствуете никаких соединительных швов, столь органично и естественно они "стыкуются", переходя из одного качества в другое. Стремление Василия Федорова проникнуть как бы по ту сторону нашего сознания и - более - нашего земного бытия потрясает своей дерзкой доказательностью и философским прозрением. Естественно, что, выстраивая свои "Сны...", Василий Федоров учитывал многовековой опыт народной фантазии, более того, он смело опирался на этот опыт, на мир народной сказки, мудрость притчи. Однако он был самостоятелен и оригинален. До Василия Федорова таких "Снов поэта" в литературе не было.

Всего шесть журнальных страниц - такова "площадь", занимаемая одним из "Снов..." - "Катализмом". Казалось бы, на такой ограниченной "площади" трудно, а то и просто невозможно развернуть эмоционально зrimые, впечатляющие, реальные картины гибели Земли, гибели Человека и, вместе с тем, указать реальные силы и пути предотвращения возможной мировой катастрофы - того всемирного "катализма", угрожающего в наш атомный век жутким реальным кошмаром. Повторяю, казалось бы, на такой "площади" это сделать невозможно. Но безграничны возможности слова, если перед нами подлинный талант.

"Сны поэта" еще раз убеждают нас в этом. В нашей современной литературе, включая и научно - фантастическую, трудно найти столь афористически емкое, образное описание картин возможного "摧shения мира", особенно в плане зrimого показа "распада" нравственных основ цивилизации и, вместе с тем, неистовой веры в светлый идеал человеческого разума, имя которому - коммунизм. Когда читаешь "Катализмы", то ясно видишь, что тревожит истинно великого поэта, чем он прежде всего озабочен.

“Катализм” невозможно пересказать. Это эпическая, трагическая, оптимистическая поэзия в прозе. Ее надо читать и перечитывать, каждый раз открывая для себя что-то новое в этой, не побоимся сказать, гениальной вещи.

Василий Федоров все время держит нас, читателей, в напряжении; фабула его “Снов...” насыщена острыми, неожиданными конфликтными ситуациями, интригующими поворотами сюжета... Давно уже не доводилось читать такой очаровательной прозы, по-пушкински богатой в слове, предельно естественной в своей “нагой простоте” и “легкости”. Уже сегодня “Сны поэта” в нашей словесности, бесспорно, явление примечательное и во многом - уникальное.

Я коснулся лишь одного “Сна...”, а другой - “С Пушкиным на балу”. Какое проникновение в эпоху поэта, его окружение, наконец его быт, в отдельные штрихи и, казалось бы, незначительные, случайные детали этого великосветского бала. А сам образ Пушкина?! Насколько он естественен и непосредственен, как живой! Превосходна в “Сне...” шумная, праздничная картина бала, где встречаются два поэта. Кажется, что ты сам присутствуешь на этом балу.

Когда читал федоровский “Сон...” “С Пушкиным на балу”, невольно думал, как хорошо было бы, если бы Василий Дмитриевич смог вернуться к пушкинской теме. Какую преотличную повесть, а то, глядишь, и роман о великому поэту мог бы он создать. Ведь Пушкин так ему близок. Он так тонко чувствует его душу, ощущает пушкинский ум и сердце, так глубоко “сидит” в пушкинской эпохе. Наконец, будучи сам выдающимся поэтом России, Василий Дмитриевич острее и полнее других мог бы рассказать о трагической судьбе великого Пушкина, не склонившего гордой головы перед царем, Пушкина - пророка России.

Спустя некоторое время, при встрече, я попытался “уговорить” Василия Дмитриевича продолжить то ли в “Снах...”, то ли в другой прозаической форме его “встречи” с Пушкиным.

После довольно длительного молчания он заметил:

“Возможно, ты и прав. Надо подумать... Хотя о Пушкине так много написано.”

Не только поэмы и стихи, но и проза Василия Дмитриевича

наглядно убеждают нас в непреложной истине: трагическое доступно лишь перу художника, сердцу которого доступны надежда и вера, для которого трагические картины не закрывают ощущения рассвета.

Трагическое в искусстве требует от художника самоотдачи его души и сердца, требует мастерства, а значит, творческой свободы, полной раскованности и овладения тем жизненным материалом, который положен в основу данного замысла.

Все это должно совершаться ради главного - Человека, раскрытия диалектики его души. Как однажды справедливо заметил Василий Дмитриевич: "В любом искусстве все начинается с человека и кончается человеком. Человек меняется. И для меня новатор тот, кто наиболее точно и полно изобразит его душевный мир".

Цельность натуры, искренность чувств, романтика постоянства, любовь, делающие жизнь прекрасной, неприятие всего мещанского, что убивает, калечит душу, - таковы некоторые отличительные черты федоровских героев. Каждый из них прост и мудр, как сама жизнь: "По главной сути жизнь проста: ее уста, его уста... А кровь солдат? А боль солдатки? А стронций в куще облаков? То все ошибки, все накладки. И заблуждение веков. А жизни суть, она проста. Ее уста... Его уста..."

Слушая исповедь нежного и мужественного сердца, полного доброты к людям, вы начинаете чувствовать, как светлеет у вас на душе, окружающий мир приобретает новые очертания и краски. "По тому, как людям любится, здоровье мира узнают", - справедливо утверждал Василий Дмитриевич.

Он любил родную землю, любил жизнь. На одной из своих книг, еще в 1976 году, он писал мне: "Дорогой мой... Дай нам бог побольше быть на этом единственном свете! Вас.Федоров".

Он был велик в своей любви к России - трудовой, народной... Вместе с тем он всегда напоминал нам, что Земля - наш дом единый и все мы в ответе за нее.

Умер поэт. Жива его поэзия, его бессмертное пророческое слово.

Пройдет время. Будет издано многотомное собрание сочинений Василия Дмитриевича Федорова. Его поэзия, проза, публицистика, критика, эпистолярное наследие. И тогда, на расстоянии, предстанет во всей своей полноте и значимости его выдающийся вклад в

сокровищнице отечественной и мировой духовной культуры. 1984г."

Ради истины заметим, что его поэзия правды, мудрости, трагедийности ни "старым", ни "новым" властям не была желанной и близкой. Поэт был чужд любой политической конъюнктуры, любого подсююкивания "власть имущим".

Было бы в высшей степени справедливо отметить достойно и всенародно 80 - летие одного из честнейших и благородных поэтов России. Пусть 1998 год станет годом поэзии Василия Федорова на его родине в Кемерове, во всей Сибири и, будем надеяться, - во всей России. И пусть так будет всегда!

16.12.97г.

*Председатель Комиссии Союза писателей
России по литературному наследию В.Д.Федорова,
Лауреат Государственной премии РСФСР
имени Горького и Всероссийской Есенинской премии.*

Алфавитный указатель

"А я когда-то думал..."	132
"Белыми стволами..." См. Мир.	
"Берегите меня до последнего дня..."	63
Береза ("Стоит в бересте...")	60
Березовый свиток ("Опять гоненъя на березу...")	246
Бессонница ("Как только жизни...")	204
Бетховен ("Он счастья ждал...")	292
"Бог весть..."	182
"Бог любви, я снова в сердце ранен..."	155
Боткинский лист ("Не унижайте давних лет седины")	359
"Была любовь..."	146
"Было все..."	130
"Было некогда вдоволь..." См. Омуль.	
"Вам, девушки..."	58
"В глазах еще белым - бело..."	60
"В горючий век..."	215
"В глухи, в тиши лесной..." См. "Осенние строки".	
"В горести, в надеждах и страданьях..."	206
"Велик твой путь..." См. С тобой, Россия!	
"Верю в жизнь..."	145
Весной ("Во мне, и почему - бог весть...")	95
"Весь в надеждах..."	236
"Весь отдаваясь помыслу..."	111
"Ветер ходит метелицей..."	92
Високосный год ("Ты мне ужасен, Новый год...")	208
"Влюбленных шумно..."	84
"В наше счастье веры больше нету..."	162
"В небесах не витаю..."	228
"Во мне, и почему - бог весть..." См. Весной	
"Вот попробуй и душу вырази..."	44
"Вперед! Призываю в долины и горы..." См. Погоня.	
Время ("Время село на плечи мои...")	213
"В своей скитальческой судьбе..."	122
"Все вами сделано..." См. Недругам.	
"Все в памяти..."	96
"Все выскажу..."	55
"Все движется..."	62
"Все испытав..." См. Сердца.	
"Все открыто, все наружу..."	160
"Все речи да речи..."	133
"Все седые - одной семьи..."	232
"Все слова, слова..."	91

"Все чаше, чаше падаю..."	131
В стратосферу и выше	378
Второй огонь ("Любовь горела...")	169
"Высокой дружбой похвалюсь..."	26
"В этом нет моей вины..."	120
"Говорят, что красоты не стало..."	175
Голова Земли	392
"Гордиться? Чем?..."	76
Гуси ("В те дни, когда горят леса...")	71
"Да Винчи говорил..."	168
Двойник	384
"До всенародного признанья..."	56
"До жалости, до огорченья..." См. Русская сказка.	
"Долго поклонявшийся железу..."	183
"До того, как средь множества прочих..."	253
"До того, как с юга..."	60
Другу ("Не удивляйся, что умрешь...")	570
"Душа родная, что с тобой..."	23
"Душа томилась по живой природе..."	62
"Дымок свивается в колечки..."	98
"Если что случится..."	67
"Есть в дружбе..."	59
"Есть и на ярком солнце пятна..."	234
"Есть книг тома..."	225
"Еще недавно нам вдвоем..."	89
Еще о Золушке ("Когда неряха moet пол...")	74
"Есть такой порыв неодолимый..." См. Матери.	
Жар-птица	380
Женитьба Дон-Жуана (Песнь седьмая)	323
"Жизнь суэтна..."	356
"Заботясь о своем..."	54
Забытый мост ("Еще вчера манил размах вселенский...")	188
Завоеватель и мастер ("Лишь мастерству провозглашаю славу...")	367
Заграницное ("Хожу, гляжу...")	152
Залог величия	488
"За позднюю вину..."	117
"За что я мучусь..."	34
"Звезда на небе, как цветок..."	226
Звездная память ("Не пойму, что такое со мной...")	214
"Звереют жены..."	100
"Звери! Травы сминая..."	190

Земля ("Почуя сердцем...")	170
Земля и Вега	304
"Знакомо, как старинный сказ..."	128
Золотая жила ("О любви, о гордой жизни деда...")	271
 "И Бог, и черт..."	41
"И в жизни, и в теории..."	77
"Иду, кладу упрямый шаг..."	94
"Изо всего того, чем люди дышат..."	57
"Известный спор..."	58
"Из-за причины непонятной..."	109
"Измаянная тишиной..."	137
"Из ночи, из тьмы..." См. Третий петухи.	
"Имел бы я всевечный ум пророка..."	22
"И на мусоре цветы..."	61
"И все-таки пришла весна..." См. Сосна.	
 "Как второе пришествие..."	135
"Как в чаще, в юности тревожной..."	49
"Как наяву точь-в-точь..."	136
"Какое поле зреет в славе..." См. Поле.	
"Как прекрасен над лесом..."	247
Как сделать радугу ("Я секрет не берегу...")	244
"Как случилось, не заметил..."	88
"Как стану умирать..."	242
"Как только жизни заприметил край..." См. Бессонница.	
"Как умру, мое забудь ты имя..."	100
"Как у русского народа..." См. Старая сказка на новый лад.	
"Как хорошо, что за крутыми..."	102
Катализм	416
Кедровая доска ("Усохла плоть...")	222
К Западной Европе ("Мы азиаты? Что же...")	230
"Когда снега..."	235
"Когда мороз и снег идет..."	68
"Когда раздоры раздиром..."	202
"Когда судьба с тобой меня свела..."	103
"Когда люблю..."	105
Колумб ("Упрямый, он твердить не устает...")	184
"Ко мне приходит Муза чаще в дом..."	61
Корни ("Сибиряк, я рос в лесном kraю...")	24
Коршун ("Однажды обманул я коршуна...")	85
Красивым ("Люблю красивых...")	75
Критики ("Один ругал меня...")	56
К стихам ("Не радуясь высокому родству...")	250
"Кто любит счастье..."	59
"Кто-то здесь топориком постукивал..."	199

“Куда спешим?” См. Олимпийский мотив.	
“Куда я такой...”	138
Кузьмиха (“В моей деревне...”)	172
“К чему скрывать...”	63
 “Лицо тоскою выбелю...”	81
Лошадиный эмбрион	406
“Любви и ненависти в дар...”	243
“Любил, как сон, прелестную...”	127
“Любит совесть...”	58
Любка-Любочка (“Утром - Любкой, ночью - Любочкой...”)	156
“Люблю я день после дождя...”	217
“Любовь-восторг...”	108
“Любовь горела...” См. Второй огонь.	
“Любовь мне - как блистание...”	80
Людей не видя пред собой...” См. Слепой.	
“Лучше сразу бы сказала злое...”	113
 Магнитное поле стиха	504
“Мама, милая мамочка...” См. Хлебные карточки.	
“Мастерство заразительней многих зараз...”	211
Матери (“Есть такой порыв неодолимый...”)	112
Мать и сын (“Сном-чудоедем...”)	363
Мертвый лес (“Белыми стволами...”)	191
Мир (“Как многозначно слово мир...”)	218
“Мир дремучий...”	186
“Мне дорог смех...”	56
“Мне жизнь моя не темный лес...”	78
“Мне казалось, что ты молоды...”	164
“Мне о том слагать бы оды...”	97
“Мне память горше...” См. Озеро Кайдор.	
“Мне тяжело...” См. Надпись на камне.	
Мои метаморфозы	376
“Мой Джек, тебя я не учу.” См. Нечто о собаке.	
“Мой знакомый, захмелевши, тужит...”	42
“Молодая береза совсем не белая...”	81
“Молчи! Ты ссоришься со мной...”	99
“Мы не подумали о том...”	134
“Мы спорили о смысле красоты...”	141
“Мы постареем, может статься...”	50
 Надпись на камне (“Мне тяжело...”)	161
“На разлуке, на муке стою...”	115
“Нас грешник учит больше, чем святой...”	207
“Наше время такое...”	38
“На широком лугу...”	144

Наш Пушкин	490
"На родине моей повыпали снега..."	11
"Не бойтесь гневных, бойтесь добреньких..."	40
"Не все вам выдали..."	61
Недругам ("Все вами сделано...")	52
"Не заметил, где прдорог..."	61
"Не затем я горячее сердце ковал..."	101
" - Не изменяй! - ты говоришь любя..."	149
"Немало я видел красавиц бедовых..."	118
"Не пора ли, не пора ли..."	148
"Не собираюсь жить в раю..."	252
Нечто о собаке ("Мой Джек, тебя я не учу...")	72
"Не удивляйся, что умрешь..." См. Другу.	
"Не юлил он, как слуга..."	63
"Ни в благодушии ленивом..."	17
"Ну, полно - полно..."	159
"Ну что же, друзья-палладины..."	77
"Обидят. Оболгут. Не мищу..."	116
Озеро Кайдор ("Мне память горше...")	196
Олимпийский мотив ("Куда спешим?...")	249
Омуль ("Было некогда вдоволь...")	64
"Она, умевшая любить..."	59
"Он говорит и страстно и глубоко..."	62
"Они судьбу не выбирали." См. Русские поэты.	
"О Русь моя..."	28
О себе и близких	526
Осенние строки ("В глухи, в тиши лесной...")	90
"Отдам народу сердце, руки..."	39
"От житейской экспрессии..." См. Русские плотники.	
"Отшатнулся, будто спятил..."	233
"Пересохли жаркие ручьи..."	31
"Писатель некий..."	57
"Плачь. Пусть слеза прольется..."	165
"По воле, по страсти, по власти отца..."	36
"По главной сути жизнь проста..."	10
Погоня ("Вперед! Призывая в долины и горы...")	86
"Поздним вечером..."	245
"Пока горит моя заря..."	203
"Поколенья..."	55
Поле ("Какое поле зреет в славе...")	174
Почти по Фрейду	382
"Поэзией приписанный к векам..."	56
"Предо мною новый трудный путь..."	140
"Прекрасен мир..." См. Рождение стрекозы.	

Признание в любви (в сокращ.)	5
“Прилетел я доподлинно...”	216
Причта (“Там, на горе, построен будет храм...”)	79
Проданная Венера (“Я был у старших на примете...”)	256
Пророчество (“Я жить и мыслить устаю...”)	194
“Прощай! Нам слез не лить...”	114
“Прощай, село!..”	33
Психологический момент	503
“Пусть недруги бранят...”	55
 “Различий нет, а есть года...”	54
Реквием (“Пусть! Мы друг друга разлюбили...”)	110
“Родник струится...”	60
Рождение поэта	502
Рождение стрекозы (“Прекрасен мир...”)	220
“Рожью в клочьях тумана...”	51
Русские плотники (“От житейской экспрессии...”)	212
Русские поэты (“Они судьбу не выбирали...”)	48
Русская сказка (“До жалости, до огорченья...”)	82
 “Себе сказал и говорю другим...”	54
“Сегодня мысль необычайная...”	111
“Семнадцать... Двадцать...”	142
Сердца (“Все испытав...”)	53
“Скажу вам...”	61
Слепой (“Людей не видя пред собой...”)	27
“Слова - дрова...”	70
Смелость и безответственность	507
“Сном-чудоедом...” См. Мать и сын.	
Сны поэта	373
Сны с Тартюфом	470
Совесть (“Упадет голова - не на плаху...”)	18
“Со времен еще древнегреческих...”	180
“Сопротивляясь темной силе...”	166
Сосна (“И все-таки пришла весна...”)	201
С Пушкиным на балу	408
Старая сказка на новый лад (“Как у русского народа...”)	238
“С тех пор, как тобою поклялся...”	12
С тобой, Россия! (“Велик твой путь...”)	14
“Стоит в бересте...” См. Береза.	
“Стройным хвастая станом...”	151
 “Там, на горе, построен будет храм...” См. Причта.	
“Твердишь ты, что расстаться нам пора...”	99
Третий петухи (“Из ночи, из тьмы...”)	192
“Ты мне ужасен, Новый год...” См. Високосный год.	

"Ты у меня в гостях была..."	143
"Ты шепчешь, что в моей груди..."	104
"Угар любви мне мил и близок..."	147
"Упадет голова - не на плаху..." См. Совесть.	
"У крайностей один венок..."	62
"У многих народов..."	65
"У моей у любви, у страсти..."	129
"Уйти? Уйду..."	139
Хлебные карточки ("Мама, милая мамочка!...")	30
"Хочешь ведать, как писалось..."	58
Цыганка ("Я верю цыганке...")	150
Человек ("Природа не очень спешила...")	176
Человек из портрета	451
Чертово молоко	375
Черная прядка букета	426
"Что живешь..."	66
"Что пользы..."	55
"Что пчела врага карает..."	59
"Что сказать мне о двадцатом веке..."	57
"Что смерть моя..."	248
"Чужому в мире прошлого..."	
Эстетический момент	505
"Это, милые, не дискуссия..."	106
"Я ваших сочувствий не слушаю..."	63
"Я верю цыганке..." См. Цыганка.	
"Я видел: еще до рассвета..."	121
"Я гляжу на родные места..."	179
"Я жил - не заметил..."	32
"Я жить и мыслить устаю..." См. Пророчество.	
"Я не знаю сам, что делаю..."	93
"Я не люблю немые реки..."	200
"Я не старый, я усталый..."	205
"Я ночь люблю за то..."	69
"Я понимаю нетерпенье..."	46
"Я секрет не берегу..." См. Как сделать радугу.	
"Я снова жив..."	227
"Я уже не с вами..."	251
"Я шел тропой..."	124
"Я целовал твое письмо..."	126

СОДЕРЖАНИЕ

Признание в любви	5
Стихотворения (1936г. - 1984г.)	9
Поэмы	
Проданная Венера	256
Золотая жила	271
Бетховен	292
Земля и Вега	304
Песнь седьмая из поэмы "Женитьба Дон Жуана"	323
Терцины	
"Жизнь суэтна..."	356
Боткинский лист	359
Мать и сын	363
Завоеватель и мастер	367
Новеллы	
"Сны поэта"	373
Статьи	
Залог величия	488
Наши Пушкин	490
Рождение поэта	502
Психологический момент	503
Магнитное поле стиха	504
Эстетический момент	505
Смелость и безответственность	507
Из записных книжек	509
О себе и близких	525
Другу	570
Ю.Л.Прокушеv. Пророческое прозрение. К 80-летию Поэта.	572
Алфавитный указатель	584

Федоров В.Д.

Ф. 33 **Судьба мне подарила Русь: Стихотворения, поэмы, терцины, новеллы ("Сны поэта"), статьи.**
Составление Махаловой Т.И., послесловие Прокушева Ю.Л.
- Кемерово, "Сибирский писатель", 1998.
592 с., ил.
В пер., 2000 экз.

Выдающийся русский поэт, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР Василий Федоров (1918 - 1984г.) рождением, жизнью, творчеством связан с Сибирью, Кузбассом. Издание, вобравшее в себя разножанровые произведения, приурочено к 80-летию Поэта.

ББК 84.3/2 - Рос. - Рус.

Литературно - художественное издание

Василий Дмитриевич Федоров

Судьба мне подарила Русь.

Стихотворения. Поэмы. Терцины. Новеллы. Статьи.

Составитель

Махалова Тамара Ивановна

Книга иллюстрирована фотографиями, выполненными В.Н. Грязыхиным (на форзацах и на страницах 354, 508, 524), а также архивными фото, авторство коих не установлено.

Компьютерная верстка: Юрзин С.П.

ЛР № 030775 от 8.10.97.

Формат 84x108 1/32 Бумага офсетная

Гарнитура "Таймс", "Антиква". Печать офсетная.

Тираж 2000 экз.

Издатель: "Сибирский писатель"; 650099, Кемерово, пр. Советский, 40

Государственное издательско-полиграфическое предприятие "Кузбасс", 650066, Кемерово, пр. Октябрьский, 28.

